
Эльза Бадьева
ДОПУСК
НА МАГИСТРАЛЬ

ЭЛЬЗА БАДЬЕВА

# ДОПУСК НА МАГИСТРАЛЬ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство 1984

84Р7
Б15

Адресуется юношеству

**Бадьева Э. А.**

Б15 Допуск на магистраль: Повести, рассказы.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 336 с.

В пер. 80 к. 80 000.

Переиздание произведений для юношества свердловской писательницы, известной читателю по книгам «Во вторник после двенадцати», «Тень от Большой Сосны», «Возьми в дорогу удачу» и другим, изданным в разные годы в Свердловске. «Допуск на магистраль» — книга о нравственном становлении молодого человека, выборе жизненного пути.

Б $\frac{4803010102-035}{М158(03)-84}$ 62-84

ББК 84Р7

# ПОВЕСТИ

# ПЕТЬКА ТЕРЕХОВ ЕДЕТ НА БАМ

## Глава I
## И тогда он решил

Петька Терехов ехал на БАМ. Его не провожали оркестры, ему не говорили с трибун пламенных напутственных речей и восторженные девчонки не бросали цветов в окна вагона. А вагон не был набит веселыми, без устали поющими ребятами, в нем не бренчали гитары, не кричали со спин и рукавов штормовок яркие эмблемы и не перекрывало их пестроту четкое, громкое, как набат, внушающее интерес, уважение и зовущее в большую дорогу слово «БАМ».

Не было этого. А было горькое, досадливое ощущение вины перед матерью, которая негодовала и кричала, еще надеясь, что может не отпустить, а потом умоляла и плакала, уже понимая свою беспомощность. Было как-то неловко перед отцом, которого он не предупредил. Неловко за телеграмму, посланную ему в санаторий с вокзала, в последний момент,— короткую, резкую, как стук двери, когда ее закрывают стремительно, торопясь уйти навсегда. И еще неприятно было ему ощущение какой-то вороватости, появившейся в первый же день пути, в первый час, в первые же минуты...

Молоденькая щеголеватая проводница, похожая на стюардессу международного лайнера, проверяя его билет, равнодушно переспросила:

— До Большого Невера?

— Билет-то до Невера,— весело, даже, пожалуй, лихо возразил Петька,— а мне — на БАМ. Не подскажете, на какой станции лучше выйти? — И улыбнулся ей открыто, приветливо, чуть лукаво.

Она не приняла этой его улыбки, ответила откровенно насмешливо:

— Едешь на БАМ, а не знаешь, где это. Зачем едешь-то?

Это был выпад, оскорбление, но — самое неприятное — в этом была правда. И Петька, изобразив на своем померкшем сразу лице независимость, зашвырнул

на третью полку рюкзак, вынул пачку «Дорожных», неумело, но вызывающе кинул в рот сигарету и, нашарив в тесном кармане джинсов коробок спичек, ушел в тамбур.

Вот тут-то и навалились на него все эти чувства и ощущения, и он поначалу отбивался от них, и отбиться было возможно, потому что была и защита — неистребимое, какое-то фанатическое желание попасть на грандиозную стройку, стать там нужным, своим и работать, работать, прокладывать в таежном безлюдье стремительные, звенящие от морозов и будущих скоростей рельсы. В мыслях он опять, в который уже раз, видел и тайгу, и ребят в темных от пота штормовках, и ту самую, Байкало-Амурскую, которую не могли, не должны были построить без него.

Но щеголеватая проводница не оставляла его в покое. Открыла дверь в тамбур, повела выщипанной подведенной бровью, спросила высокомерно:

— Постель берешь?

Он кивнул, и она ушла, бросив через плечо:

— Много вас таких... Туда и обратно катаются...

Он не успел ответить, остался в тамбуре. Возвращаться в вагон, а значит, встречаться с проводницей еще раз, не хотелось.

И опять он вспомнил, как, прочитав в «Комсомолке» про БАМ, бежал сломя голову в райком, уверенный, что ему там обрадуются, даже, может быть, восхитятся: отличник-медалист, а вот... не в институт рвется, а тяжелую, простую работу просит, в медвежью глухомань готов ехать. Он уже представлял себе, как положит в карман новенькой штормовочки заветную комсомольскую путевку, как зайдет к ребятам проститься и случайно встретит Марину из десятого «Б» и этак запросто, между прочим объявит ей, что вот... едет...

Но в райкоме никого он не удивил и не обрадовал. Рыжая, веснушчатая девчонка в круглых очках придвинула Петьке стул, сама устроилась за своим инструкторским столом, поперебирала какие-то папки, словно готовилась к долгому разговору, а сказала всего одну фразу:

— Ничем помочь не могу.

И уставилась на него через стеклянные кругляши выжидающе.

Петька заметил, что ресницы у нее рыжие и глаза тоже какие-то серо-рыжие, а вместо бровей — два ред-

ких белесых кустика. Он попытался объяснить, как необходимо ему работать именно там, попытался убедить, что БАМ — его долг, его судьба... Она все это выслушала, угадала дальнейший ход мыслей и ответила непреклонно:

— К секретарю и в обком не ходи — бесполезно.

Потом раскрыла одну за другой все папки, разложила их на столе.

— Видишь вот...

Петька вгляделся. В унылых канцелярских папках лежали письма, телеграммы, заявления, и в каждом обязательной, неизменной, главной была фраза: «Прошу отправить на строительство Байкало-Амурской...»

Рыжая девчонка поморгала рыжими ресничками:

— А сколько, думаешь, у нас в стране райкомов?..— И добила Петьку вопросом: — А у тебя, собственно, какая строительная специальность?

Петька ушел, но не сдался. Он засел в библиотеке: рылся в подшивках, штудировал журнальные статьи, запоминал названия, цифры, научные, инженерные, экономические выкладки и обоснования. Перерисовал карту-схему будущей магистрали. Он следил теперь за газетами, вырезал фотографии, корреспонденции с мест события.

А потом он стал выбирать маршрут.

Проще всего было, минуя Тайшет и Братск, доехать до станции Лена и оказаться в Усть-Куте, откуда, как только наведут мост через Лену, потянут строители на восток рельсы новой дороги. Но «проще» Петьке не хотелось. Он вычитал как-то в газетах, что географический центр трассы — в районе поселка Тындинский, что к нему от маленького полустанка на Транссибирской магистрали ведут ветку и что называется полустанок, построенный в давние дореволюционные времена, не как-нибудь, а именно Бам. Последнее не то чтобы удивило Петьку — повергло в изумление. Почему? Откуда такое современное название? И вообще, что это за малый Бам? Газеты не давали ответа. И тогда он сразу решил: именно туда и поедет.

На картах названия Бам он не нашел, как ни старался. Пошел к железнодорожным кассирам, но и они, полистав свои справочники, развели руками: нет такой остановки. Посоветовали взять билет до Большого Невера, сказали: «Где-то там, близко». И Петька отнес в комиссионку свой ФЭД, увеличитель и даже франтова-

тую репортерскую сумку из желтой кожи, на которую заглядывались модничающие девчонки.

Рассудил так: «Заработаю — куплю. А пока не до фотографии. Жить придется в палатке, работать за троих».

Продали все это очень скоро, и Петька доволен был, что не надо просить денег у матери, но в то же время и стыдился тайной своей распродажи. Ждал удобного момента открыться, но его не было, и ему пришлось скрывать до тех пор, пока она сама не спросила, не выкрикнула в сердцах: «Собрался!.. На что поедешь-то?» Крик этот, отчаянный и чуточку торжествующий, выдавал слабую ее надежду: ну чем же еще его задержать?.. Она собиралась крикнуть еще, что не даст денег: «...и не думай, и не проси!..», но он опередил ее, сказал:

— Ты не ругай, мама. Я аппарат продал. На билет и на первое время хватит. До получки...

## Глава II
## Много света на Темной

И вот он ехал на БАМ. Ехал уже пятые сутки. Давно осталась позади Чита с симпатичным старомодным вокзалом, кедровыми орешками в станционном киоске и веселыми демобилизованными солдатами на перроне. Погоны и околыши на фуражках солдат зеленые — граница близко. Осталась большая станция со странным названием Могоча. Город из окна вагона был виден лишь десятком-двумя домов — современных многоэтажных, белых и розовых, ступеньками сбегавших по склону сопки и исчезавших где-то там, в низине, в руслах городских улиц. Над Могочей в разных местах висели сразу шесть вертолетов. Два из них, повисев, медленно и как-то вроде бы праздно стали заходить на посадку. А солнце в это время опустилось за соседнюю сопку и светило, пламенело оттуда, поджигало вечернее небо. Потемневшая сопка показалась Петьке похожей на гигантскую печную заслонку, которая с трудом сдерживает рвущееся наружу пламя.

В закатном красноватом свете играли бликами живописно сколотые вдоль полотна серо-розовые стены каменных коридоров. Отступив на почтительное расстояние, проплывали бесконечные сопки, еще зеленые, слегка подпаленные наступающей осенью. Кое-где редкими костерками пылали осины. То спокойно и плавно, а то словно спеша и потому спотыкаясь о камни, тек-

ли реки. А одна из них — Черный Угрюм — особенно долго текла рядом, и поезд, казалось, торопился убежать от нее: гремел над нею мостами, прятался в распадках меж сопок, а она настигала снова, появляясь вдруг совсем с другой стороны, и опять несла свои воды рядом с дорогой и к вечеру становилась действительно черной.

Петьке нравилась эта река постоянством, она успокаивала его своим верным соседством, а когда узнал он от попутчиков, что есть где-то еще и Белый Угрюм и что обе реки, сливаясь, дружно текут потом в одном русле, он усмехнулся самоуверенности катившего по рельсам поезда, возомнившего себя подгоняемым такой прекрасной рекой.

Чем ближе подъезжал Петька к заветным местам, тем значительнее казались ему приметы: крохотные полустанки и солидные станции, возникающие откуда-то из лесного безлюдья, хорошо накатанные шоссе и воздетые к сопкам стрелы подъемных кранов. Он запоминал удивительные местные названия — Нанагры, Чакурынь, Тахтамыгда...— и негодовал, прочитав на станционном здании «Темная».

Было еще светло, даже солнечно. Ладное, свежевыкрашенное здание смотрело на мир широкими опрятными окнами. С подоконников тянулись покрасоваться перед пассажирами большие ярко-красные соцветия гераней. Идеально чистые перрон и дорожки казались не выметенными, а вымытыми... И от всего этого исходила такая праздничность, что несправедливое название так и просилось переименоваться.

Кто и за что обругал так эту милую станцию? Кому, чем не угодила она?..

Петька было подошел к проводнице, обрадовался даже, что оказалось заделье поговорить с ней, но она мелькнула в коридоре своим форменным беретиком и исчезла, а вместо нее пошла обносить пассажиров чаем сухонькая пожилая помощница в белом переднике. Он спросил ее, но она не знала. Однако тоже заинтересовалась, высказала предположение:

— Не иначе какое темное дело случилось тут. Когда дорогу строили... Спроста так не назовут.

Она выставила на столик стаканы с хорошо заваренным чаем, отсчитала пакетики сахара, озадаченная, присела на лавку.

— Здесь ведь какие места раньше были? Ссыльные...

Ей не хотелось уходить.

— Вот еще есть станция Кличка. Так на ней раньше ссыльных перекликали. Приведут этап, соберут всех — перекличку делают. Декабристов вот так же...

Вернулась проводница, заглянула в купе. Спросила бесцеремонно, по-прежнему насмешливо:

— Надумал, где выходить?

Петька смолчал. Надумать-то он надумал, да не знал, верно ли.

— В Тахтамыгде выходи,— сказала она уже проще, доброжелательнее.— Был, правда, случай, когда на Баме экспресс остановили. На две минуты.

Она интригующе замолчала, подразнила Петьку этим своим молчанием. Он выдержал, не спросил. И проводница, которую все пассажиры, кроме Петьки, называли просто Лена, оценила его выдержку, рассказала, как везла из Москвы на БАМ ребят — участников XVII съезда комсомола. Повторила:

— Вот для них и остановили. По особому приказу министра.

Она пошла по коридору, и Петька слышал, как из купе окликали ее:

— Лена!

— Леночка!

— До Благовещенска сколько?

— В Большом Невере долго стоим?..

Женщина в белом переднике ушла вслед за Леной, предупредив Петьку:

— Через два часа твоя Тахтамыгда. Не прозевай.

Петька забеспокоился, запоглядывал на своего попутчика Валентина Фомича — командированного из Иркутска невозмутимого медлительного мужчину, аккуратно разложившего на салфетке домашние пирожки.

— Прошу вас,— приглашающим жестом показал Валентин Фомич на аппетитные подорожники.— А выходить все-таки надо в Сковородино.

И он обстоятельно объяснил, что Сковородино — крупная узловая станция и именно там, в здании вокзала, в комнате отдыха под порядковым номером «четыре», располагается штаб БАМстройпути. Что он сам это видел в прошлый свой приезд, даже заходил туда — просто так, из любопытства. Что делами с этой стройкой он не связан, никого в штабе не знает, но заметил, как тянутся туда со всех проходящих поездов ребята с рюкзаками да с гитарами, в кедах, в штормовках, налегке, словно туристы какие.

При этом он неодобрительно оглядел Петьку, будто не с ним третьи сутки ехал нос к носу в одном купе, остановил взгляд на его похудевшем за дорогу рюкзаке и что-то еще поискал глазами — наверно, гитару.

Петька думал, сравнивал скоропалительный, брошенный на бегу совет проводницы с обстоятельной информацией соседа и утвердился в намерении довериться Валентину Фомичу.

В Сковородино Петька приехал вечером. Выходя из вагона, кивнул въедливой, но все равно симпатичной, похожей на стюардессу проводнице, сказал:

— До свидания. Через год в отпуск поеду. В вашем вагоне.

Она улыбнулась, но ответила с прежней колкостью:

— Как бы не раньше... На обратном пути посмотрю — может, успеешь обернуться.

Не найдя слов в ответ, Петька скривился досадливо, подтянул лямки рюкзака и, простившись на перроне с Валентином Фомичом, решительно зашагал в вокзал, прямо к четвертой комнате. Нетерпеливо схватился за дверную ручку, рванул ее на себя, распахнул дверь и — замер перед рядами занятых отдыхающими кроватей.

А потом, проклиная обстоятельного Валентина Фомича, покупал он в кассе билет на обратный поезд, несколько часов валялся на деревянных эмпээсовских скамейках, торчал на перроне и наконец ехал каким-то медленным сборным поездом до той самой Тахтамыгды, которую с шиком миновал в экспрессе еще засветло. Оказалось, штаб давно переехал и права была проводница.

В загадочной ночной Тахтамыгде он ничего не разглядел, но, к счастью, натолкнулся в вокзале на двух парней с рюкзаками и гитарами и пошел с ними семикилометровой дорогой через лес, устало, тяжело шагая, боязливо прислушиваясь к тревожному шороху тронутых ветром деревьев, к хрусту веток под ногами спутников. Парни весело болтали, смеялись, а то и вскидывали гитары, бренчали на весь лес что-то модерновое. Были они здесь не новички, шли на Бам, чтобы добираться оттуда в Аносовскую. Ни много ни мало восемьдесят километров.

С этими ребятами Петьке явно везло. Где-то на полпути догнал их груженный матрацами и подушками автофургон, посигналил и, не дожидаясь «голосо-

вания», остановился. Шофер приоткрыл дверцу, спросил:

— На Бам, что ли?

— Дальше, в Аносовскую.

— Садитесь, по пути!

Все трое взобрались, плюхнулись на мягкое ватное великолепие, и тогда только ребята сообразили — заколотили по кабине кулаками, закричали что есть мочи:

— На Баме остановись! Скинем одного!..

Шофер коротко дважды гуднул — понял, мол, не орите! — и включил скорость.

## Глава III
## Вперед, на Тынду!

Петька впервые услышал этот клич во сне. Сам он, похоже, еще спал — обмякший, отяжелевший, блаженствующий в угретой тишине ватных матрацев, а слух его включился, настраивался на какую-то все ускользающую волну, и он помимо желания слышал, каким стуком, треском «фонит» эта волна и как прорываются сквозь шумный фон то далекие, то близкие голоса.

Просыпаться не хотелось. Не хотелось двигаться, менять положение, и он лежал навзничь, раскинув руки, тепло и уютно придавленный двуспальным матрацем.

Слух принял далекий летящий крик: «Вперед, на Тынду!», но сознание еще не сработало, и Петька продолжал оставаться в небытии, в неведении, вне времени и места, и только когда крик этот — резкий, пронзительный, торжествующий — повторился совсем рядом, он вмиг отбросил верхний матрац, вскочил и не выбрался, а вывалился из фургона.

Вдоль одноэтажной деревянной улочки по деревянным мосткам бежал лет шести мальчишка, размахивал хозяйственной сумкой и самозабвенно орал во все горло:

— Впе-ре-ед!.. На Тын-ду-у!..— А за ним бежали ребятишки помладше, стараясь не отставать и едва поспевая, и тоже крича на разные голоса одну-единственную эту фразу.

Петька прислонился к фургону и рассмеялся. И понял, ощутил, поверил, что он наконец на БАМе. И тогда только заметил с головой залезшего в автомобильный мотор шофера и припомнил разом ночной лес, фары попутного «газика», деловитое, доброе «по пути!» и удобную быструю езду, а потом вынужденную остановку и нервный, невеселый ход машины дальше, до поселка.

— Где аносовские-то? — вспомнил Петька и тронул спину шофера.

Тот вылез из мотора — не злой и не грязный, приветливо оскалился:

— Спать ты горазд! А парни ночью уехали. Попутка оказалась.

— Что, плохо дело? — кивнул Петька на открытый капот.

— Прокладку пробило. Ночью-то негде взять, а сейчас ребята из мехколонны выручили.

Он снова полез в мотор, сказал уже оттуда, не поворачиваясь:

— Заменил уже. Последние болты закручиваю.

— Спасибо тебе,— стиснул его сзади за плечи Петька.— Легкой дороги.

— Такой здесь нет,— весело обернулся шофер и сощурился.— Будет, однако.

Петька вспомнил, как ночью, когда дотянули наконец до Бама, этот же самый шофер отчаянно выругал его. Вспомнил и сказал:

— Ты... того... Извини меня. В другой раз встретимся...

— Ладно,— примирительно подтолкнул его локтем шофер.— Отваливай! Встретимся — видно будет.

Если уж начистоту, то за руготню эту Петька был ему благодарен. И винил самого себя.

Дотянули они тогда до Бама, завидели редкие уличные фонари — два-три на весь приземистый, затаившийся в темноте поселок, и он сразу хотел было пойти на эти огни, поискать прибежище. Стал торопливо совать шоферу трояк, неловко бормоча при этом слова благодарности. А тот, раздосадованный поломкой, откидывал капот своего забарахлившего «газика» и не слушал, не понимал, о чем речь. Аносовские ребята одернули Петьку:

— Не лезь под руку. Чего там тебе?..

Петьке не терпелось расплатиться. Он был благодарен и не хотел оставаться в долгу. Нащупал на шоферской куртке карман, затолкал туда деньги. Шофер заметил, вытянул обратно трояк, вложил Петьке в руку и поначалу сказал поучительно:

— От этого отвыкай. Здесь тебе не Садовое кольцо и даже не Чуйский тракт. И «газон» мой не такси в шашечку. Бывай здоров!

Петька все стоял около него в замешательстве, и

тогда шофер, обозлившись и на подкачавший свой «газон», и на зануду пассажира, отвесил в сердцах такое забористое ругательство, что Петька растерялся, а два других пассажира отошли в сторону.

Изругав Петьку, устыдив его и, между прочим, объяснив, что сам он не крохоборничать, а работать на БАМ приехал, что, слава богу, зарабатывает здесь не бедно, шофер поостыл и сказал всем троим:

— Лезьте обратно, спите. До утра нечего делать. И ты тоже,— особо обратился он к Петьке.— Куда пойдешь-то сейчас.

— ...Ну, ладно. Бывай! — попрощался Петька с шофером и вышел на дощатую бамовскую улицу.

Ребятишки уже неслись с тем же кличем обратно от магазина и волокли теперь сумку все вчетвером, взявшись по двое за каждую ручку. «Вперед, на Тынду!» катил уже не порожняк, а груженный хлебом и молоком состав.

Проводив его взглядом, Петька осмотрелся внимательнее. Ладные деревянные дома — щитовые, догадался он,— стояли один к другому, и над дверьми висели деловые, лаконичные, без всякого там дизайна вывески: «Столовая», «Магазин продуктовый», «Магазин промтоварный», «Общежитие», «Клуб»... И только одна — красочная, со смешным рисованным человечком и веселой надписью «Буратино». Во дворе дома с таким игрушечным названием — грибки, песочницы, качели — словом, универсальная, хорошо обжитая детсадовская площадка. Это Петьку удивило и даже вроде разочаровало. Он поискал глазами палатки строителей, не нашел, и это тоже ему, жаждавшему трудностей, не понравилось.

Голод давал себя знать. Раскрытая столовская дверь манила аппетитными запахами, но Петька, демонстрируя выдержку, не торопясь, прошел мимо. Первым делом надо было найти контору, или штаб, или... как там еще называется место, где оформляют новичков на работу.

Пока он так медленно прохаживался вдоль единственной, аккуратно спланированной улицы, его приметили бамовские девчата: видно, по неуверенности, по рюкзаку за плечом догадались, что новенький. Подошли, спросили как старого знакомого:

— Ты что, приехал только?

И догадались, что ему надо.

— Вот здесь,— та, что побойчей, показала на дом, возле которого они остановились,— ОВЭ. А там,— мах-

нула рукой в противоположную сторону — ГОРЕМ.

— Ну и что? — не понял Петька.— Мне-то зачем?

Он подумал: решили подшутить. И, чтоб не попасться на удочку, пошел себе дальше.

— Чудак человек! — догнала его бойкая девчонка.— Куда пошел? Этой дорогой не с рюкзаками — с ведрами ходят.

— Колодец, что ли, там?

Девчонка весело рассмеялась, а подруга ее осталась стоять в сторонке, и Петька заметил вдруг, что смеется только одна из них, а та, вторая, даже не улыбнется. Смотрит на него издали каким-то отсутствующим, затаившим не то печаль, не то тоску взглядом. Бойкая девчонка все смеялась — не могла успокоиться. Сквозь смех все-таки пояснила:

— За брусникой с ведрами ходят. Туда, в сопки...— Она махнула рукой вдоль по улочке и смеющимися глазами вновь прицелилась к Петьке.— Между прочим...

Своим беззаботным смехом и каким-то уж очень праздным видом она раздражала Петьку. Очевидно, раздражала и подружку: ни слова не говоря, та медленно повернулась и медленно пошла в сторону, противоположную брусничным сопкам. Спутница ее ничуть этим не огорчилась, даже вроде обрадовалась.

— Между прочим,— многозначительно повторила она и лукаво потупилась,— ГОРЕМ — это что, думаешь?

Ей явно не хотелось отпускать парня.

Не сомневаясь, что эта хохотушка морочит ему голову, Петька все же сказал:

— Женское общежитие, наверное.

Девчонка ойкнула и снова так весело, так заразительно рассмеялась, что Петька тоже улыбнулся, а подруга ее обернулась и остановилась, их поджидая. Тогда хохотушка энергично взяла Петьку под руку и пошла с ним шаг в шаг, не торопясь, точно прогуливаясь. Она не переставая говорила, а поравнявшись с подружкой, прихватила под руку и ее, а та, все еще удрученно молчавшая, неодобрительно глянула на нее из-под ресниц, а потом остановила изучающий взгляд на Петьке.

— ГОРЕМ — это строительный поезд,— просто сказала она.— Головной ремонтный... Вам туда и надо пойти.

Они проводили Петьку до двери с вывеской «ГОРЕМ-28. Участок № 1». Молчаливая девушка осталась на улице, а хохотушка потолкалась с ним вместе в уз-

ком, битком набитом людьми коридоре, заверила, что они еще встретятся, и ушла, растолкав парней, куривших у раскрытой двери. Только тогда Петька подумал, что с девчатами был невежлив — даже имен не спросил. Подумал и тут же забыл о них.

## Глава IV
## Вчерашний студент

В коридоре перед кабинетом начальника участка толпились такие же, как и Петька, отовсюду приехавшие ребята. Начальник еще не принимал. Шла пятиминутка.

Сквозь тонкие дощатые двери было слышно, как коротко, но обстоятельно говорили прорабы: об объемах предстоящих работ, о состоянии техники. Называли цифры, фамилии, марки машин... Звонил телефон, отрывая начальника от рапортов, и тот отвечал спокойным, прочным голосом — кому-то давал советы, распоряжения, либо говорил: «Да, да. Слушаю. Понятно» — и возвращался к рапортам. Но отрывали его все-таки редко. Видно, время это строго принадлежало планерке.

Наконец за дверью послышался шум отодвигаемых стульев, общий нестройный разговор, и ребята в коридоре оживились. Из кабинета стали выходить прорабы и бригадиры. Но тут, пробежав мимо толпившихся парней, к начальнику прорвалась какая-то женщина, панически прокричала:

— Александр Иванович! Столовую закрывают! Хлеба нет...

Выходившие руководители вернулись в кабинет, а начальник участка все тем же невозмутимо спокойным — без тени суеты или раздражения — голосом попросил:

— Не кричите. Закройте дверь.

Дверь притворили плотно, однако все оставалось слышно, и ребята тут же узнали, что в столовую не привезли хлеб, потому что пекарня неожиданно стала на ремонт, что к обеду не останется ни куска и кто-то решил: лучше не открывать столовую вовсе.

— Закрывать нельзя,— только и сказал Александр Иванович, но сказал опять-таки очень спокойно и убежденно и, видно, одним своим тоном успокоил запаниковавшую женщину и ребят в коридоре, не имевших еще отношения к стройке, но принимавших к сердцу ее заботы.

Петьке начальник участка уже нравился. Он не ви-

дел его, но представлял хорошо: такой голос мог принадлежать только человеку опытному — знающему, умеющему, надежному. За спиной у такого руководителя наверняка не одна большая стройка, и с людьми он, наверно, ладить умеет, и строгим бывает до непримиримости, и ценит, бережет добрых работников. Петька представлял и его внешность: крупный, неторопливый, такой же весь прочный, как и его голос.

А голос этот между тем доброжелательно и настойчиво вызывал через коммутатор ближайшие станции и поселки и, оставаясь спокойным, приобретал жестковатость и требовательность. Наконец начальнику удалось с кем-то договориться, кому-то он велел тут же брать машину, пару чистых мешков...

— В Солнечную поезжай. Выручат.

Кто-то, стуча сапогами, уже вылетал из кабинета, а начальник кричал ему вслед:

— Вот... деньги возьми! Двух десяток хватит?

И крик его тоже был без суеты, без нервов, успокаивающий.

Из кабинета начальника ребята выходили по-разному. Первый парень вылетел оттуда недоумевающе-обозленный, прихватил оставленный в коридоре свой чемодан, вырвал из кармана берет, угрожающе помахал им над головой: «Жаловаться буду!» Второй вышел торопливо, озабоченно, на вопрос ребят «ну как?» ответил уклончиво: «В мехколонну надо сходить...» Потом вошли в кабинет двое парней с путевками. Вышли довольные, деловитые, потопали через дорогу в общежитие, устраиваться. Кто проскользнул в кабинет после этих счастливчиков, Петька не видел. Слышал только негромкое, робкое: «Пусти, моя очередь...»

«Девчонка, что ли?» — подумал он и получил подтверждение: в кабинете возник жалобный, по-детски тоненький плач. Возник и тут же погас, словно расплакавшемуся ребенку торопливо сунули лакомство.

Девчонка долго не выходила, а когда наконец появилась в дверях, на лице ее не было и следов огорчения.

— Ревела-то почему? — спросил Петька, уверенный, что ее приняли.

— Заревешь,— призналась девчонка.— Поезжай, говорит, обратно. Специальность не подходит.

— А какая специальность-то?

Девчонка замялась:

— Ну, не подходит, и все.

Парни оживились, закидали девчонку вопросами:

— Балерина?

— Кондуктор?

— Манекенщица?

Она развеселилась, неохотно призналась:

— Животновод... Вот, говорит, и хорошо. Работай там у себя как следует. БАМ накормить — знаешь, сколько мяса нужно!

— Правильно говорит,— согласились с начальником парни, еще ожидавшие аудиенции.

— А я не только животновод, и строитель,— ликующе возразила девчонка.— Пока училась — три лета подряд в стройотряде. Бригадиром. Вот так! — И она победно прошла мимо оторопевших парней.

По мере того как очередь на прием к начальнику участка таяла, Петька все больше и больше волновался. До него оставались двое демобилизованных солдат и подозрительная компания неопрятных и вроде бы неумытых, с обветренными, опухшими лицами мужчин неопределенного возраста.

Солдаты, ожидая, покуривали, весело вполголоса переговаривались. Мужчины — все четверо — сидели на корточках вдоль стены и хмуро молчали. Петька нетерпеливо прохаживался по коридору, выходил на крыльцо. С крыльца было видно вытянувшееся под прямым углом к главной улице здание общежития. Одноэтажное, деревянное, щитовое, как и все другие строения. А слева, чуть в стороне, над красной коробкой аккуратного — кирпичной кладки — дома тянул свою длинную руку ярко-желтый подъемный кран, добавляя к отстроенным этажам еще один — пятый.

Сбежали с крыльца солдаты и, пожелав Петьке удачи, кинулись останавливать с грохотом проезжавший мимо тяжеловес МАЗ.

— Ну как? — крикнул Петька вдогонку.

— Порядок! — обернулся один из них, а другой уже забирался в кабину и тянул с собою товарища.

Не успел МАЗ отъехать, как вывалились в коридор из кабинета четверо тех, неумытых. Вывалились и не спеша зашаркали к выходу. «Быстро он их...» — отметил Петька и, сразу же оробев, толкнул дверь.

В простом и каком-то необжитом кабинете, кроме

стола и стульев, ничего не было. «Строители,— успел подумать Петька,— и кабинеты у них временные...» Прошел к столу, увидел начальника участка и очень удивился. Вместо солидного, пожилого человека — тяжеловесного, прочного, неторопливого — на него изучающе смотрел молодой, лет двадцати пяти, спортивно подобранный, легкий, не иначе вчерашний студент. И хотя сидел он за своим начальничьим столом спокойно, привычно и даже вроде удобно,— угадывались в нем постоянная готовность к движению, сдерживаемая энергия, вынужденность такого вот статичного состояния.

— Садись,— кивнул он на стул.— Рассказывай.

— Я приехал, чтобы...

— Знаю,— улыбнулся глазами удивительно молодой начальник.— Рассказывай о себе.

— Видите ли... Я сам...

Он не дал Петьке договорить.

— Тоже знаю: без путевки. Я не об этом. Где работал? Что умеешь? Родители есть?

— Откуда же знаете, что без путевки? — осмелел Петька.

— Прочитал,— серьезно сказал начальник участка и, заметив Петькино недоумение, уточнил: — Только что прочитал на твоем лице.

И оборвал «лирическое отступление»:

— Слушаю.

Он дорожил временем — каждой минутой, это Петька почувствовал сразу и потому ответил коротко, без обиняков. Добавил, правда, что согласен на любую работу, что он абсолютно здоров и вынослив, а если чего не умеет — научится.

— Вот, вот,— подхватил хозяин неуютного кабинета.— Надо выучиться. На плотника... каменщика... бульдозериста... На строителя. А сейчас нет для тебя работы. Напрасно приехал. Деньги на обратную дорогу есть?

Петька сжал задрожавшие губы.

— Механизаторов и тех некуда принимать. Шоферам отказываем. Представляешь, сколько парней сорвалось с мест, понаехало?.. Не представляешь!

Тревожно звякнул телефон, начальник сказал в трубку: «Терещенко». И слушал, разбирая лежавшие на столе бумаги. Экономил время. Потом сказал еще одно слово: «Ясно». Нажал на рычаг, связался с кем-то, приказал:

— Пошли механика в карьер. Срочно. Экскаватор встал.

И, пока слушал ответ, опять просматривал бумаги, делал какие-то пометки.

Петька упрямо сидел, хотя все уже было ясно. Подступало отчаяние. Он еще сопротивлялся ему, но сопротивлялся уже из последних сил.

— Не отремонтируешь — не будет балласта. Укладка встанет,— пригрозил Терещенко.— Ищи, ищи. Я подожду.

Он поднял от бумаг глаза, увидел растерянного, убитого Петьку, заметил, как пытался он выглядеть независимым и спокойным, и, не выдержав его встречного взгляда, снова занялся бумагами. При этом он не отрывался от трубки, раза два сказал телефонистке «говорим» и наконец дождался своего телефонного собеседника. Спросил его успокоенно, уже наверняка зная, что тот ответит:

— Нашел? Порядок. Отремонтируете — дай знать.

Положил трубку, опять глянул на Петьку. Глянул сочувствующе, дружески, а сказал резко:

— Помочь тебе не могу. Поезжай домой, учись, получай строительную специальность. Работы здесь на десяток лет. Успеешь...

Он проговорил все это залпом — хотел скорее кончить нелегкий для обоих разговор.

Казалось, мог бы уже и привыкнуть: каждое утро перед дверью его кабинета толпились вот такие же, откликнувшиеся сердцем, приехавшие издалека ребята. Он безошибочно отличал их от пустозвонов, мотающихся по белу свету в поисках «где лучше», от расчетливых дельцов, рванувших на горячую стройку в надежде «отхватить на машину», даже от умелых и работящих, но не в меру тщеславных парней, жаждущих известности и наград, а работу почитающих средством их приобретения. Он понимал их. Он радовался, когда кроме буйного искреннего желания строить они привозили с собой и умение. Он каждый раз преодолевал себя, прежде чем сказать таким «нет».

Терещенко встал, надел плащ, взял с подоконника кожаную, с короткими полями шляпу. Петька тоже поднялся. Он осознал вдруг всю нелепость своего положения, почувствовал обиду, незаслуженную, несправедливую: ведь не развлечения ради ехал сюда, не за рублем, не за славой! — и, обожженный этой обидой,

внутренне выпрямился, сказал не столько Терещенко, сколько самому себе:

— Отсюда я не уеду.

Начальник участка посмотрел на него пристально, с интересом. Промолчал. Первым шагнул к двери. Когда вышли на улицу, спросил:

— Петр Терехов? — и, по выражению Петькиного лица поняв, что правильно запомнил имя, посоветовал: — Сходи еще к Пестрецову. В отделение временной эксплуатации. Уверен, что бесполезно, но все-таки сходи.

И крупно зашагал к строительной площадке, поглядывая на верх кирпичной коробки, туда, где едва видны были каменщики, где трудилась не переставая длиннющая желтая рука башенного крана.

## Глава V
### Ожившие символы

Ничего Петька не добился и у Пестрецова. Сунулся к начальнику ОВЭ, когда тот одной ногой был уже где-то на звеносборке, когда топталась перед ним колоритная компания тех четверых. Переждал. Поговорил. Получил сочувствующий, доброжелательный отказ. Сам понял: в этой железнодорожной организации новичок-неумеха и вовсе не к месту.

Пошел в столовую, постучал в запертую дверь. Выпорхнула девчушка в белом халатике, укоризненно сказала:

— Долго спишь. Завтраком давно накормили.— И увидела его рюкзак.— Новенький? Тогда проходи.

Петька еще не переступил порог, а она уже кричала в раздатку:

— Люсь! Гуляш остался? А шницеля? — и торопила Петьку.— Что тебе, говори быстрей!

Видно, и она была занята не меньше здешних начальников, и Петька поел наскоро, не ощутив вкуса, и, только когда вышел, сообразил, что хлеба-то у них в столовой и правда нет. Гуляш этот он с капустными пирогами ел.

Самое время было вывернуть все карманы, пересчитать деньги и прикинуть, хватит ли на обратный путь. Но, по мере того как Петьку хлестали одна за другой неудачи, он вместо отчаяния обретал почему-то все большую стойкость и, как это ни парадоксально, уверенность в том, что все сделал правильно: не пошел в институт, приехал вот сюда на БАМ, где, оказывается, и без него

работников девать некуда. Правильно и то, что ходит здесь пока неприкаянным от одного начальника к другому, неизвестно, где будет ночевать, неизвестно, что ждет его завтра... Все, все правильно. Не по командировке ведь ехал, не по путевке.

Он зашел в магазин, оценил щедрость продуктовых прилавков, не устоял, купил сливочных тянучек. Заглянул в промтоварный. Увидел фотоаппараты, увеличители, поторопился уйти. Обошел поселок, спустился к станции. И тут обнаружил, что станции-то, оказывается, две, и обе с одним названием.

Первая — та, на которую он приехал: «Бам. МПС». Деревянный станционный домик на обочине старой Транссибирской двухпутки. Летят мимо нее в оба конца поезда — товарные, пассажирские, скорые... Покачивают на частых стыках контейнеры, платформы, рефрижераторы, спальные и международные вагоны. А рядом — какие-то запасные пути. Буднично, спокойно лежат себе на полотне, тянутся параллельно «рабочим», не остывающим от колес рельсам, постепенно от них отклоняются и вдруг красиво и круто поворачивают строго на север и уходят в тайгу, в сопки.

Петька пошел по этим «запасным» путям и сначала увидел платформы путеукладчика с готовыми, собранными уже звеньями, женщин, быстро и ловко работающих на звеносборке, а среди них ту самую хохотушку, которую посчитал за бездельницу. Она крепила к шпалам металлические накладки, и руки ее мелькали размеренно, бойко, словно играючи, а лицо было сосредоточенно и серьезно. Она не заметила Петьку, и он устыдился своего скоропалительного суждения о ней. Потом чуть в стороне на приколе увидел он сплотки жилых вагончиков с пристроенными тесовыми лесенками и даже крылечками, занавесочками на окнах и двумя тельняшками, рвавшимися с бельевой веревки. Увидел аккуратный, «с иголочки», передвижной полевой домик, яркий и тепло-желтый, как летний подсолнечник, подошел к нему, прочитал над дверью: «Станция Бам». Была помечена принадлежность станции: ОВЭ — отделение временной эксплуатации.

С этой точки и начиналась дорога на Тынду, к географическому центру будущей Байкало-Амурской. И Петька мгновенно вспомнил: вот здесь, на 7274-м километре от Москвы, 14 сентября 1972 года тепловоз 1272 прошел первые метры по новому станционному пути,

подтолкнул платформы с готовыми свежесшитыми звеньями, путеукладчик послушно подхватил первое, «серебряное» звено, уложил его на отсыпанное земляное полотно.

Он читал об этом в журнале, старательно выписывал цифры, даты, названия и там, в тихом зале библиотеки, воспринимал их высокими символами — почти абстрактными. А теперь он шел по тому «серебряному» звену, на том самом 7274-м километре, своими глазами видел стремительные, зовущие в путь рельсы новой дороги. И символы оживали на его глазах.

Поддавшись искушению, Петька открыл дверь станционного домика. В глубине его, за столом, уставленным телефонами, сидела женщина в железнодорожной шинели и кокетливом зеленом платочке и строго говорила по телефону. Перепачканный глиной, ловкий мужичок обмазывал только что сложенную великолепную печку с двумя чугунными конфорками. Женщина посмотрела на Петьку спрашивающе, а мужичок обрадованно позвал:

— Парень! Налей-ка воды. Руки грязные.

Петька зачерпнул из эмалированного ведра кружкой, подал, довольный, что его не шуганули отсюда. Поторопился объяснить:

— Работать приехал. Да пока не устроился.

— Едут ребята,— приветливо согласился мужичок и вернул Петьке кружку.— Особенно весной, летом... До сотни в день прибывало. Помимо отрядов. Ну и убывало...

Он осекся, углядев брошенный у входа Петькин рюкзак.

— Как цыгане лагерем тут стояли. Костры жгли.

Женщина — дежурная по станции, прихватив сигнальные флажки, вышла из домика, и Петька, почувствовав себя свободнее, спросил:

— Вы из строителей?

Печник больше не отрывался от работы.

— Мы здесь все строители, когда надо. А вообще-то я начальник станции.

## Глава VI
## След войны

Дрезина была новенькой, яркой, как станционный домик. На ее красной платформе стоял застопоренный — красный же — подъемный кран. Кабина была широкой, имела четырехсторонний обзор. Звали дрезину несколько панибратски — «агээмка», что озна-

чало на официальном языке АГМ, или автоматриса грузовая моторизованная. Она везла машиниста казаха Габдуали Жумадилова, его помощника Игоря Карнышева, парторга ОВЭ Владимира Ивановича Кузнецова, заезжего репортера, к которому парторг обращался официально «товарищ Поляков», и Петьку, прихваченного ими по доброте душевной. Петька ехал до головы укладки, чтобы добраться оттуда в поселок Аносовский, где, может, ему повезет больше.

Однако уже и сейчас он радовался и считал: повезло. Потому что нарядная быстрая агэмка катила их по новой — строго говоря, еще не существующей — дороге, той самой ветке Бам — Тында, которую ждал, как дождя в засуху, весь большой БАМ.

Петька смотрел на дорогу с восторгом, с чувством причастности и уже любил эту еще недавно чужую, трудную для строителей и сурово-красивую землю... На первых же километрах прямо с пути тяжело поднялся косач, отлетел недалеко и исчез в кустарнике.

— Подранок,— сказал парторг.— Подберем.

Остановили дрезину, поискали, пошумели, вспугивая. Косач затаился, пережидал.

— Собаку бы сюда! — подосадовал репортер.

Но собаки не было, и машинист, которого все — и он сам — звали на русский манер Гришей, легонько наддав контроллер, покатил агэмку дальше, а тетерев остался жить или умирать на свободе.

Конечно, Петьке хотелось ехать на открытой платформе, чтобы ветер в лицо и тайга не через стекло — рядом. Но Владимир Иванович бесцеремонно загнал его в кабину, сказал коротко: «Простудишься». А Петька услышал большее: «Простудишься — на стройку не попадешь». И безропотно повиновался.

Стараясь не мешать, не лезть на глаза, он стоял в уголке кабины, держась ближе к Игорю, русоволосому, светлоглазому, широкоплечему пареньку в великолепном расписном свитере, добродушием, открытостью, маленькой русой бородкой — всем видом своим напоминавшему удалых русских витязей времен Александра Невского. Удивительно был похож этот современный русич на кого-то из фильма или с картины о тех временах, и даже ультрамодные темно-вишневые бархатные джинсы с клешами и бесконечными латунными клепками не разрушали эту похожесть.

Петька знал Игоря почти сутки, с той самой минуты,

как засигналила на подъезде к временной станции дрезина и приветливый поммашиниста, увидев дежурную по станции, весело вскинул руку: «Привет, тетя Нина!» А через Игоря по-новому, не с налету, не со стороны увидел и узнал он за эти сутки БАМ, тех, кто пришел сюда первыми, кто одолел, казалось, самое трудное, на чью долю хватает этого трудного и сейчас. И был безмерно удивлен, открыв: не сегодняшние комсомольцы-добровольцы, новички сделали здесь «погоду», а те, кто уже «прошел по шпалам» прежде, чем понеслись по ним поезда где-нибудь на Хребтовой — Усть-Илим, на дорогах Тайшет — Лена, Кунград — Бейнеу, Макат — Мангышлак... В свое время и они были новичками-добровольцами с путевками комсомола, а то и без них, всего лишь с проездными билетами в один конец, легкими рюкзаками, несколькими кредитками в тощих карманах, но с неизмеримым — подмявшим все остальные желания — стремлением открывать, созидать, строить, сделать то, что в первую очередь необходимо стране.

Они строили прочно, надолго, жили этими стройками и даже в неудобствах, времянках не чувствовали себя временными. Заводили семьи, растили детей, возили их со стройки на стройку, а потом дети становились помощниками и такими же одержимыми, как их отцы. Кто такой Игорь? Сын железнодорожника-строителя, машиниста локомотива Иосифа Еремеевича Карнышева, младший брат железнодорожника-строителя, водителя автоматрисы Бориса Карнышева. А кто такой парторг Кузнецов? Сын кадрового путейца, возившего по железнодорожным стройкам всю свою большую семью, в которой нынешний парторг был пятым ребенком. А теперь сам он строитель, и его сын Володька хоть и мечтает о речном училище, а прикладывает руки к отцовской стройке: и лопатой, и ломом орудует, и тащит из-под насыпи каменищи — приваливает древки предупреждающих знаков, чтоб прочнее стояли. И кто знает, не завлечет ли его БАМ настолько, что поменяет он зыбкую голубую мечту на стремительный, дерзкий разбег «дороги века».

Петька знал теперь, какой незаменимый, великолепный работник Анатолий Демидович Тарасевич — тот самый начальник станции, которого принял он поначалу за печника. Когда вечером того же дня увидел его в коридоре конторы — в форме, «при полном параде», с золотыми нашивками, свежевыбритого, подтянутого,— не узнал сразу. А «тетя Нина» — Нина Ивановна Каспирович,

дежурная по станции, оказалась ветераном-строителем. Вместе с мужем, старшим дорожным мастером Иваном Ивановичем Кислым, прокладывала дороги в Белоруссии, Карелии, Сибири и Казахстане. На БАМ они приехали, отстроив дорогу Гурьев — Астрахань.

Легкая «агэзмка», пренебрегая ограничениями, обязательными для локомотивов, неслась крутыми извивами у подножия сопок, выскакивала на просторные поляны, на берега рек, оказывалась в коридоре великолепных своим мрачным величием придорожных скал. Она миновала расположенный чуть в стороне, в низине карьер, хорошо просматривающийся с дороги. Над карьером семью густыми облаками вилась пыль, семь ковшей экскаваторов метались над жадными, ненасытными кузовами самосвалов, нагружая их тем самым балластом, о котором заботился молодой начальник участка Александр Иванович Терещенко.

Петька поискал глазами, нашел в самом дальнем конце карьера еще одно облачко и успел угадать в нем контуры восьмого экскаватора. «Все работают,— отметил он про себя.— Починили...» И удовлетворенно улыбнулся, довольный и тем, что починили, и тем, что он как бы причастен к этому через услышанный телефонный разговор. Он снова подумал, что ничего еще не добился, что ему определенно и убедительно отказали повсюду и в Аносовский он едет на авось. И снова ни на миг не пожалел о содеянном. Потому что... ведь он не просто катил сейчас по дороге, которой не было еще для пассажиров и грузов,— он прикасался душой, разумом, всей своей начинающейся жизнью к явлению значительному.

Игорь предупреждающе подтолкнул Петьку, скосил глаза в сторону мелькавших за окном лиственниц. Парторг отодвинулся от стекла, сказал репортеру:

— Смотрите внимательнее. Слева будет просека старой дороги.

Тот выжидательно вскинул аппарат, замер, вглядываясь в желто-бурую, уже по-осеннему порыжевшую здесь тайгу.

Дорога торопилась к станции с горячим и неслучайным названием «Штурм»: брали ее строители как в бою — штурмом. Торопилась и в этой своей стремительности была необыкновенно красива. Аккуратно отсыпанная, словно демонстрирующая четкость своих линий и точность пропорций, с серебристо-серым отливом стали

на рельсах и мохнатым утренним куржаком на новеньких ровных шпалах, она вдруг как-то чуть подалась к востоку и открыла на мгновение неширокую просеку без дороги, без какого-либо следа ее, даже без колесной колеи или тропинки. Рассекала тайгу мертвая песчаная полоса, и угрюмо стояли вдоль нее расступившиеся сорок лет назад лиственницы.

О старой дороге, проложенной в тридцатые годы в этих местах как раз от Бама до Тынды, Петька немного знал. Читал в «Юном технике». Он попытался представить только что увиденную мертвую просеку такой же вот звенящей рельсами магистралью с дымками паровозов над тайгой, с веселым перестуком колес — и не смог. Попытался представить станции, не очень людные по здешним глухим местам,— и тоже не смог.

Перед самой войной прошли по дороге Бам — Тында первые поезда, а в 1942 году ее разобрали, перевезли через всю страну и уложили под Сталинградом Волжской рокадой. Вот, оказывается, как: не только люди уходили на фронт, не только пушки и танки... Поднялась с амурской земли проложенная великим трудом 180-километровая железная дорога и тоже ушла на фронт. Приняла на себя и огонь, и военные грузы, понесла, покачивая на своих частых стыках, смерть врагу, а в обратный путь повезла из пекла санитарные эшелоны.

— Станция Орлы,— услышал Петька и поразился тому, как глухо прозвучал голос Кузнецова.

— Где? — не понял он.

— Вот здесь...

Он ничего не увидел, кроме низкой сырой поляны, заросшей мелким кустарником, кроме фиолетово-красного свечения трав, и хотел было переспросить, но, уплывая назад, уже на отлете, поляна эта открыла вдруг развалины серого камня, правильными прямоугольниками торчавшие из земли.

— Орлы? — переспросил репортер, и удивительно гордое это название болью отозвалось в Петьке. «Вот она, станция»,— догадался он и потом, когда скрылась поляна, еще долго видел эти заросшие серые развалины — фундаменты двух-трех небольших зданий, по-видимому, деревянных, иначе уцелели бы и стены. И была для него эта умершая станция очевидными — достовернее документальных снимков — следами войны, отгоревшей на земле задолго до его рождения.

Новая дорога весело, звонко бежала то по старой

просеке, вновь отсыпанная на оплывшем, сравнявшемся с землей полотне, то по новому пути, пробитому в тайге, в сопках соответственно последним — проверенным-перепроверенным — указаниям изыскателей, а то выскакивала на высокий бетонный мост с лепным изображением Государственного герба и даты: 1934... Мосты тридцатых годов, в отличие от нынешних, были массивными, громоздкими и величавыми. Петька смотрел на них жадно, восторженно, потому что они, как и старые оплывшие протеки, были из легенды. Из легенды, которая оживала у него на глазах.

## Глава VII
## Остановка на плантации

...Они стояли на станции Мургыгит, по всем путям забитой вагонами, платформами, хоппрами-дозаторами, ждали «зеленой улицы», и репортер, довольный передышкой, закидывал парторга вопросами. Владимир Иванович отвечал коротко, репортеру этого было мало, и он переспрашивал, уточнял — пытал его беззастенчиво. Говорил:

— ...об этом подробней. О станции. Как ее открывали?

— Да так,— усмехался парторг.— Привезли первый вагончик, поставили и заночевали в нем вдвоем с начальником станции.

— А еще что? — недоумевал репортер.

— Ничего. Выспались хорошо.

— Ты думал: речи говорят, ленточку разрезают? — не выдержал всю дорогу молчавший машинист Гриша.— Некогда речи говорить. Строить надо.

— И верно,— кивнул парторг.— Путеукладчик дальше ушел. Когда мы проснулись — второй километр решетки укладывал.— И пояснил репортеру: — Решетка — это то же звено. Сшитое. И рельсы, и шпалы. Двадцать пять метров пути.

— Раньше рельсы короче были — двенадцать метров,— не утерпел, похвастал своими знаниями Петька.— Не годятся они для новых дорог. Высокие скорости, большие грузы...

— Верно, верно,— поддержал Владимир Иванович, а репортер чиркнул ручкой в блокноте. Петька от удовольствия даже порозовел.

— Долго, однако, нас держат,— проговорил на ходу парторг, спрыгнул с дрезины, ушел в станционный вагончик — тот самый, где ночевал в день открытия.

Петька тоже спрыгнул с дрезины, обошел стоявший впереди состав, увидел на вагонах размашистые, торопливые росчерки: «Вперед, на Тынду!» Вспомнил ребятишек, бежавших пс безымянной бамовской улице. На соседнем пути заметил платформы с огромными железобетонными деталями — пролетами мостов и четкую, красной краской надпись на них: «Комсомольцам БАМа от комсомольцев Красноярского завода МЖБК». На металле широких гофрированных водоводных труб, тоже дожидавшихся отправки дальше, прочел короткое, требовательное: «Даешь БАМ!» И снова: «Вперед, на Тынду!» Это уже на тепловозе, у самой его кабины.

Рассматривая аккуратную, тщательно выведенную масляной краской надпись, поднял глаза и обомлел. Заводской номер машины 1272! И сразу увиделись строки: «14 сентября... На 7274-м километре от Москвы... Тепловоз № 1272... Первое, «серебряное» звено...»

Тепловоз сердито, коротко рявкнул, Петька отпрянул, а машинист высунулся из окна и приветливо, весело рассмеялся.

Со станции медленно пополз странный громоздкий поезд с огромной стрелой, как бы лежавшей на его широкой подвижной спине. Этот поезд-кран торжественно прошествовал меж рядов обыкновенных платформ и вагонов и так же медленно скрылся за ближайшим извивом.

Знакомым голосом позвала «агээмка», и Петька подбежал к ней, столкнулся с Игорем.

— Предупреждений полно,— недовольно сказал тот, передавая машинисту путевые бланки. 52-й километр — работы, 63-й — тоже. Не разбежишься.

Со станции дрезина опять покатила бойко. Репортер стал расспрашивать Кузнецова об охотниках-орочах, домик которых видели они, проезжая, на взгорке. Одинокий, серый, с небольшой сараюшкой поодаль, сиротливо стоял он среди тайги. Бегали возле дома собаки, разбуженные дрезиной, а людей не было видно.

— Дома, однако,— уверенно заметил Гриша.— В тайгу без собак не ходят.

Кузнецов рассказал о братьях-охотниках: как неустроенно и нелегко они здесь живут и как цепко держатся за это свое одинокое жилье, как ворчат, что, мол, распугала дорога все их зверье — далеко в тайгу ходить надо. А еще рассказал, что дети этих малограмотных орочей все учатся. Дочь старшего брата Саши заканчивает в

Алма-Ате медицинский институт. Четверо ребятишек — школьники, в интернате живут. Двое пока дома — дошколята еще.

— Теперь ползти будем,— досадливо пробурчал Гриша и кивком показал вперед.

Недалеко, в низине, медленно, тяжело шел поезд-кран, видимо, не способный к быстрой езде, тем более на дороге, не сданной в эксплуатацию.

— Да,— согласился Кузнецов, подумал и попросил: — Останавливайся.

И обратился к репортеру, к Петьке:

— Идемте, голубикой угощу.

— А есть она здесь? — неуверенно огляделся по сторонам Гриша.— Может, дальше поедем?

— Здесь везде есть,— озорно возразил парторг.— Глуши мотор!

Они сбежали с насыпи, шагнули в мелкий кустарник и оказались на голубичной плантации, от которой, если смотреть издали, исходило виденное уже Петькой фиолетово-красное свечение.

Тронутые утренними заморозками, еще держались на высоких стеблях покрасневшие листочки, а крупные, набухшие, сизоватые, словно запотевшие ягоды осыпались, стоило дотронуться до них рукой. Их собирали горстями, они сыпались сами в ладони и могли бы вот так же сыпаться в корзины, кастрюли, ведра, но машинист Гриша оказался незапасливым — кроме закопченного чайника да пары стаканов, в его хозяйстве ничего подходящего не нашлось. И потому никто не собирал впрок, все просто ели — весело, с удовольствием, пачкая руки и губы, смеясь друг над другом, поскальзываясь на мягких травянистых кочках, торчавших над сырой топкой землей. Голубика была сочной и сладкой, отдавала нежной кислинкой и утоляла жажду.

— Ее можно и зимой собирать. Как клюкву,— сказал Игорь, пытаясь оттереть травой чернильно-синие пальцы.

И Владимир Иванович подтвердил:

— Собирают, когда время есть. Родным на Новый год посылкой куда-нибудь в Кострому отправляют. С пояснением: так, мол, и так, вчера, двадцатого декабря, ходили в лес по ягоды...

Когда Гриша снова тронул дрезину, путь впереди

был свободен. Поворотно-консольный кран — мощная махина грузоподъемностью 70 тонн, своим ходом прибывшая на БАМ из Нижнего Тагила,— неторопливо и деловито проходил «зеленой улицей» ближайшую станцию.

## Глава VIII
## Таежный напиток

На станции Пурикан, уютно закрытой со всех сторон сопками, светило солнце. Поздние осенние травы доверчиво млели в его тепле, железнодорожники улыбались, шутили, и даже окрестные рыжие сопки казались теплыми и веселыми. После озабоченного, забитого составами Муртыгита Пурикан казался спокойным и даже, пожалуй, праздным. У дверей жилого вагончика две женщины перебирали бруснику: перекладывали ее из ведер в трехлитровые стеклянные банки, засыпали сахаром. Неподалеку от них, прямо на рельсах, сидели трое мужчин, покуривали, заинтересованно слушали читавшего вслух, то и дело взрывались беззаботным, громким хохотом. Переспрашивали, перечитывали и хохотали снова, привлекая внимание, дразня безудержным своим весельем. У ног их, вальяжно растянувшись на солнышке, дремала собака. Из вагончика-станции доносилась негромкая, легко грустящая музыка: через окно виднелся транзистор, выпустивший свой единственный ус-антенну. К стоящему на запасном пути раскрытому вагону, миролюбиво, добродушно урча, подруливали машины, принимали в свои кузова ящики с консервами, печеньем, пивом, уходили по бугристой, тряской дороге вверх, к поселку. Над всем этим светило солнце, трепетало невидимое крыло теплого ветра и бухали, раскалывая сопки и воздух, недалекие взрывы. На них чуть слышно, тоненько откликались бутылки в ящиках, дрожал, покачиваясь, ус транзистора, да собака, не открывая глаз, поводила ушами. Люди не замечали взрывов, и когда Петька спросил женщин: «Что это?», те ответили буднично:

— Выемку рвут на восьмидесятом, за мостом.

Мост «держал» укладку — это Петька уяснил из разговоров еще дорогой. И его земляк, уральский поезд-кран, шел как раз к тому месту всего лишь затем, чтобы ухватить с платформы одну за другой пару гигантских железобетонных пролетов и опустить их легонько в сверхпрочные бетонные гнезда с точностью до миллиметра.

Туда же уехал на попутке и Кузнецов с репортером. Петька им позавидовал, но попросить, чтобы взяли, не осмелился. Почему не пустили туда дрезину, он не понял. Гриша объяснил коротко: «Нельзя» — и прямо на платформе «агэмки», на гудящем пламени паяльной лампы стал кипятить чай.

— А это можно? — не удержался, уколол его Петька

— И это нельзя,— не повел глазом Гриша.— Ну так что? Без чая оставаться?

Он колдовал над закопченным чайником, то убавлял, то прибавлял струю огня, сыпал заварку, довольно потирая руки. Кивал на дощатую времянку-столовую.

— У них что? Кофе, какао.

Петька смотрел на него и вспоминал, как вчера — ровно сутки назад — забрел он, раздосадованный неудачами, далеко за поселок, наткнулся в лесу на водокачку, познакомился со стариком машинистом. Тот присмотрелся к Петьке, пригласил за грубый, сколоченный из досок стол под открытым небом, взял с костерка такой же вот, как у Гриши, чернобокий чайник и налил до краев большую алюминиевую кружку. Придвинул коробку с пиленым сахаром, разломил каравай хлеба:

— На здоровье...

Напиток оказался золотисто-коричневым, аппетитным. Петька отхлебнул, обжегся, но дожидаться, пока остынет, уже не стал. Чай был вкусным, ароматным, чуть-чуть с горчинкой и каким-то многозначным, смешанным запахом трав, деревьев и ягод. Он выпил всю кружку, без остатка, и попросил еще.

— Пивал такой раньше? — спросил старик.

— Никогда,— признался Петька.

— Значит, нездешний.

Он сказал это с легкой грустью и словно бы с одобрением: мол, нездешний, а вот забрался сюда, в такую даль, глушь... Он сказал так, что Петька невольно сопоставил с местными, исконно русскими именами его чужеземное — Франц Думанский — и подумал, что непростая, видно, нелегкая судьба занесла этого человека в амурские сопки.

Деловито, мерно гудели машины, качавшие воду для поселка из глубокой артезианской скважины, чуткими к ветру вершинами переговаривался затаившийся лес, старый машинист деликатно молчал, а Петька, теперь уже смакуя, медленно допивал таежный напиток и отдыхал

притомившейся от неудач душой, набирался сил, обретал пошатнувшуюся было уверенность.

На прощание машинист спросил, не удержался:

— Не угадал, из чего чай? — Сощурился, попытал Петьку взглядом.— Не угадаешь. Из молодого багульника.

— Габдуали Умарович,— окликнул Петька быстроглазого, смуглого до черноты казаха и сам удивился тому, что запомнил, оказывается, его трудное имя.— Какой чай завариваете?

— Известно какой, цейлонский,— удивился вопросу Габдуали.— Высший сорт.— И окончательно вернул Петьку с таежной водокачки на Пурикан.

## Глава IX
### В опустевшем лагере

Вернулся убегавший куда-то Игорь, сказал, что машина со сменщиками пойдет в Аносовскую только к ночи, предложил Петьке:

— Пойдем, студенческий лагерь покажу.— И повел его по тропинке в лес — теплый, уютный, прошитый солнышком.

Лагерь был пуст: студенческий стройотряд Московского института инженеров транспорта уехал неделю назад, оставив после себя обрывки веселых, остроумных лозунгов и инструкций, добрую славу и десять километров великолепно отлаженного пути.

Игорь и Петька побродили между жердяными остовами палаток, наскоро сколоченными столами и лавками, заглянули в пустую теперь клетушку с двумя интригующими надписями на двери: «Хозяйство Баранова» и «Джаз-банда», попинали сапогами на полу поломанные кассеты, обертки от фотопленок, засвеченные листы бумаги. Полюбовались прибитой на дереве табличкой: «Ул. Образцовая, 11». Остановились у тесового окна самодельной столовской раздатки. Игорь рассказал, как повадился к студентам в лагерь годовалый медведь — доверчивый, любопытный сластена. Принимал от ребят дары, предпочитал всему остальному сгущенку. Высасывал банку медленно, словно бы продлевая удовольствие и, благодарный, довольный, уходил куда-то к себе в тайгу. Жил так, вольготно, в дружбе с миитовцами, все лето, а накануне отъезда ребят погиб от подлой, воровской пули одного бамовского шофера, прельстившегося легкой добычей.

Лучше бы Игорь этого не рассказывал, не портил

добрую песню, которую пели Петьке удивительные в своей солнечной рыжести окрестные сопки, весело раскалывающие тайгу, воздух и землю могучие взрывы, смешливо, доверчиво звенящие речки и стремительными стрелами пущенные из Бама в Тынду, поющие рельсы. Лучше бы... Но из песни слов не выкинешь. Даже когда оно вот такое — предательски черное.

Шофер этот, не зная потом, куда девать медвежье мясо, кидал его поселковым собакам, а те принюхивались, сторонились, не ели, и оно валялось, загрязняя задворки.

...Петька стоял, облокотившись о прилавок раздатки, смотрел на щелястые стены, солнечные полосы, ломившиеся снаружи в полумрак кухни, на веселый перехлест этих полос на полу и видел разорванные кули с остатками крупы, вермишели, гороха, пустые пакеты из-под специй и вдруг заметил в солнечном луче среди этого продуктового хаоса маленького полосатого зверька с легким пушистым хвостиком. Зверек стоял на задних лапках, в передних держал длинную макаронину и — хрум-хрум-хрум-хрум аккуратно и деловито откусывал ее, словно рубил на ровные дольки. Мордочка его при этом постепенно увеличивалась, раздувалась: наполнялись защечные мешочки.

Петька замер, а Игорь продолжал говорить вслух:

— Они здесь привыкли. Никого не боятся.

Бурундучишка метнулся и исчез, а за разорванным кулем Петька увидел еще трех.

— Тот тоже вернется,— сказал Игорь, заметив, что Петька огорчился.— Спрячет добычу и прибежит. За новой порцией. Зима-то ведь длинная...

Бурундучишка действительно снова возник, вытянулся столбиком и, как трембиту, поднял в лапках длинную макаронину: хрум-хрум-хрум-хрум.

«Да ведь студенты свои продуктовые остатки нарочно рассыпали»,— догадался Петька.

На солнечном Пурикане по-прежнему царило благодушие.

Поборов неловкость, Петька подошел к мужчинам, читавшим книгу. Они потеснились, приняли его в свой круг, и он, послушав немного, тоже стал хохотать вместе с ними и, когда кончился веселый рассказ, тоже просил, как все:

— Иван Петрович, еще! Почитайте...

Однако в станционном вагончике, требовательный, нетерпеливый, заверещал звонок. Иван Петрович скинул очки, сунул книгу парню в распахнутой штормовке и сапогах-бродня́х:

— Читай, Слава. Я сейчас.

И уже кричал в оглохшую трубку:

— Дежурный по станции Лукьянов слушает. Понял вас. Принимаю.

Только тут все заметили, что парень в броднях стоит с удочкой, что холщовая сумка у него слегка обвисла от мокрой живой тяжести, а сам он, загорелый, светловолосый, улыбается виновато, стеснительно. Повскакали с рельсов, полезли в сумку.

— Принес? Покажи...

— Да так... Мало. Не клюет,— отбивался Слава и все-таки открывал сумку, выкладывал на ладони пару сытых уснувших хариусов.

— Не клюет,— повторил он, оправдываясь.— Уходит в глубокие места. Осень...

— А Ковалев? — спросил с порога отговоривший свое по телефону Иван Петрович.

— Ковалев дальше ушел. Он принесет. Он всегда приносит,— заговорил Слава, и все согласились: видно, Ковалев этот и впрямь был на Пурикане самым удачливым рыбаком.

Дежурный по станции снова устроился на прежнем месте, снова взял книгу. «Виктор Драгунский. Рассказы»,— успел прочесть Петька.

— «Волшебная сила искусства»,— с удовольствием оповестил слушателей Иван Петрович, надел очки, и доброе лицо его в предвкушении новой веселой истории стало лукавым.

## Глава X
## Суп харчо на станции Пурикан

— Ну как? — спросил машинист тепловоза Борис Васильевич Фролов.

Петька блаженно зажмурил глаза и выразительно поднял вверх большой палец. Сказать он не мог: рот был занят.

— То-то...— согласился машинист и попросил помощника: — Саша, налей-ка ему еще.

При этом он внимательно, неотрывно смотрел в окно и вел тепловоз, тянувший платформу с мостовым пролетом, медленно, аккуратно, следом за тем самым пово-

ротно-консольным поездом-краном, с которым Петька уже встречался. Они как раз огибали сопку, и был хорошо виден не только поворотно-консольный, но и человек, шедший впереди него прямо по полотну. Было похоже издали, что человек этот, едва заметный по сравнению с поездом, держит в руке невидимую веревочку-поводок и как игрушку тянет на ней гигантский состав. Решетка была только что положена, едва подсыпана балластом — последние сотни метров пути.

— Кофе пей,— заметив, что Петька прикончил суп, повелел Борис Васильевич.— Сам наливай. Кружки в ящике стола, ложки — там же.

Петька обдал тарелку кипятком, вымыл ее, свесившись в открытое окно, выплеснул воду. Не удержался, спросил:

— Кто вам такой суп харчо варит?

— Сами. Когда Борис Васильевич, когда я,— откровенно довольный похвалой, отозвался грузный, крупный и притом удивительно легкий в движениях помощник машиниста Александр Федотович Зиновьев.— Вот здесь и готовим.— Он показал на маленький угловой столик, за которым обедал Петька и на котором стояли электрическая плитка, белая эмалированная кастрюля.

— На Пурикане тоже сегодня суп харчо,— сказал еще Петька, вспомнив, как оставляли его обедать и как уютно, по-домашнему, пестрела клеенка на грубом самодельном столе, как раздражающе-аппетитно пахло в сколоченной на скорую руку времянке, служившей на Пурикане и столовой, и кухней, и клубом одновременно.

— Фирменное блюдо локомотивников,— улыбнулся машинист.— Кто там у них сегодня готовил? Москаленко?

Если опытный машинист локомотива Георгий Никитович Ковалев был лучшим на Пурикане рыбаком, то Петр Тихонович Москаленко — тоже великолепный машинист — был непревзойденным поваром. Готовил он искусно, талантливо, колдовал над большой белой кастрюлей получше любой хозяйки и, когда спрашивали у него, откуда такое умение, охотно объяснял: «Жена научила». И добавлял неизменно: «Она у меня красивая».

Он, видно, тосковал по своей жене, оставшейся в Минеральных Водах, где машинист работал до БАМа, и торопил дорогу, потому что, приближаясь к Тынде, приближала она и день их встречи. Не в походный домик-

вагончик хотел Петр Тихонович привезти свою красавицу жену, а в прочный, теплый, удобный дом, какие строят в поселках.

Только начальник станции да главный кондуктор обосновались на Пурикане надолго. Это их жены заготавливали на зиму бруснику и ходили за ней в тайгу так же просто и буднично, как городские хозяйки — в соседний овощной магазин. А машинисты локомотивов и их помощники мысленно уже прощались с живописными окрестными сопками и речкой Ольдой, из которой вытаскивали на досуге жирных непуганых хариусов и которую Петр Тихонович упорно называл Мацестой, доказывая, что вода в ней особая: «Без всяких порошков мазутку отстирывает».

На очереди было рождение новой станции — Янкан, и локомотивам, работающим на укладке, предстояло перебираться туда.

А пока были только Янканский хребет, Янканский перевал, трудные, не пройденные еще путеукладчиками, хопрами-дозаторами и путевыми рабочими километры. И был вот этот, не наведенный еще мост без реки, к которому подошел наконец эскортируемый тепловозом поворотно-консольный кран.

— Отсюда быстро уедешь,— остановив тепловоз, пообещал Борис Васильевич.— Машин много ходит.

Машин действительно было много, и большинство уходили в Аносовскую. Но уехал Петька от моста уже за полночь. После того, как при свете прожекторов вытянул поезд-кран свою богатырскую стрелу-ручищу, ухватил с платформ одну за другой железобетонные махины пролетов, бережно и легко перенес их высоко над землей и опустил в бетонные гнезда опор с точностью до миллиметра. К тому времени прибыли с Пурикана на смену Борису Васильевичу и Саше Георгий Никитович Ковалев и его помощник Владислав Пронин, тот самый светловолосый, загорелый паренек-рыбак в сапогах-броднях, недовольный своим уловом. Они встретились с Петькой, словно со старым знакомым. Удивились: еще не доехал? Неужели машин не было?

— Интересно,— оправдываясь, кивнул Петька на освещенный прожекторами белый новорожденный мост.

— Это верно,— согласился Ковалев.— Это всегда интересно.

А Слава сказал дружески:

— Насмотришься еще.

Он верил в Петькину удачу. Он сам приехал на БАМ без всякого приглашения. Услышал о стройке, собрал рюкзак и положил на стол начальника далекой отсюда узловой станции Микунь заявление. Конечно, у него — специальность, у него — потомственная привязанность к железным дорогам: отец — машинист 1-го класса, старший брат окончил МИИТ, второй брат — Харьковский институт инженеров транспорта. Но у Петьки есть то, что не менее важно, чем «потомственная привязанность». Потребность. Не просто желание быть причастным к самой громкой, популярной стройке, а именно потребность вложить свой труд в дело сотен, тысяч единомышленников, потребность работать на самом горячем, необходимом стране объекте. Это Владислав угадал в Петьке сразу и потому поверил в его удачу.

Они стояли около тепловоза. Ковалев, ухватившись за поручни и уже собираясь взбежать в кабину, пошучивая, переговаривался с Фроловым. Петька держался возле Славы.

— А знаешь, у него ведь сын — помощник машиниста,— почему-то сказал Слава о Ковалеве.— И тоже, как я,— Владислав.

## Глава XI
## Веселый и обреченный поселок

Аносовская видела вторые сны, когда шофер Володя Захаров — красивый черноглазый и чернобровый парень из Подмосковья — остановил машину у самой двери гостиницы. Он вышел вместе с Петькой, провел его к дежурной и ушел лишь после того, как тот получил место.

Петька уже знал, что через четыре часа Володе снова в рейс, что вторую неделю работает он без сменщика и что жена Володина сердится: почти не видит мужа. «И сегодня не увидит,— подумал он с сожалением. А еще подумал: «Какая она, Аносовская? Что ожидает здесь завтра?..»

В комнате было темно. Он не стал зажигать свет, чтобы не разбудить соседей. На ощупь разобрал постель и блаженно вытянулся под чистой, чуть влажной простыней, заменявшей пододеяльник. Он хотел подумать о тех девчонках, встретившихся в поселке Бам, с какой уверенностью сказали они: «Еще встретимся...» Стал вспоминать их, но лучше запомнил, оказывается, только одну — ту, которая все время молчала и смотрела на него из-под тяжелых темных ресниц. Стал вспоминать

и заснул, не успев ухватить какую-то неясную, не оформившуюся еще мысль, однако очень важную и приятную.

А утром открылась ему Аносовская во всей своей деревянной красе, вольно и высоко разместившаяся на сопке. Стандартные щитовые домики выстроились аккуратными улицами, здания конторы и клуба стояли через дорогу, пристально рассматривая друг друга глазами-окнами. Двери столовой, магазинов, школы и детского сада, едва закрывшись, открывались снова, на маленькой площади разворачивались машины — кто-то приезжал, кто-то уезжал. Было людно и на первый взгляд немножечко бестолково. Но только на первый... Потом становилось видно: шумный, людный молодежный поселок занят делом. Парни в штормовках с надписью через всю спину «Брянск — БАМ» отделывали клуб, утепляли контору, зашивали досками поселковую теплотрассу: готовили Аносовскую к суровой амурской зиме. Нацелившись в небо, высилась над поселком огромная, словно готовая выстрелить труба котельной, обещая, что зима эта не будет для аносовцев бедствием.

Петька прямиком подался в контору, но никого, кроме секретарши да ее двух подружек, там не застал.

— Все уехали на укладку моста,— едва увидев его в дверях, выпалила секретарша и, уверенная, что он тут же уйдет, затараторила с подружками.

Петька представил, как на том самом мосту ловкая машина укладывает путевую решетку, как потом тепловоз, ведомый Ковалевым и Славой, подталкивает по этой решетке путеукладчик, а тот, подхватив еще одно звено, опускает его впритык — рельс к рельсу — уже на полотно за мостом, и все вокруг — а народу там сегодня опять много — облегченно вздыхают: можно идти дальше, мост больше не «держит»...

— А когда будут? — спросил Петька, имея в виду руководителей знакомой ему по первому участку организации ГОРЕМ-28.

— Полубинский, секретарь партбюро, сейчас подойдет.

Он остался в приемной и невольно услышал разговор.

— ...там, в загсе, даже фужеров нет. Мы ходили,— жаловалась девчонка, ярко-рыжая, крашеная, в сиреневом — тоже ярком — пальто.

— А мы с собой брали. Шесть штук. И вы возьмите.

Это наставляла ее вторая — беленькая, тоненькая, с хвостиком волос, перехваченных на затылке черной

аптекарской резинкой. Возле своей вызывающе многоцветной подруги она выглядела естественной, натуральной и потому очень милой.

— Когда дадут хлеб, ты кусай больше Славки,— серьезно советовала она.— Или отломи незаметно и — в рот.

— Это уж обязательно,— заверила рыжая и поинтересовалась.— Не знаешь, бамовские где регистрируются?

— На Сковородку ездят,— вставила молчавшая до сих пор секретарша.— У них поселкового Совета нет.

Петька вспомнил Сковородку: как ворвался там в комнату отдыха, как томился в ожидании поезда.

— Приходите,— сказала рыжая.— А то обидимся.

— Не обещаем,— почему-то уклонилась милая беленькая собеседница.— У нас дела.

Поднялась, стала застегивать скромное, сшитое по фигурке пальто, и Петька увидел на ее пальце золотой ободок обручального кольца. Хотел спросить про хлеб: где и зачем кусают его, обряд, что ли, такой? Но не успел.

— А вы что тут сидите? — увидела его вдруг секретарша.— Полубинский давно пришел. По коридору — направо.

От Полубинского Петька ушел ни с чем. Те же вопросы, те же доводы, те же советы...

Не зная, куда податься, что делать, постоял на высоком конторском крыльце. Далеко вокруг видны были и вершины, и склоны, и подножия соседних сопок. Аносовская господствовала над ними, она была в двух километрах от будущей станции, на самой верхней отметке трассы Бам — Тында.

И опять, как на Пурикане, как и в поселке с громким, набатным именем Бам, испытал Петька огорчительное недоумение при мысли о том, что все это временное и не дальше чем через три-четыре года снесут, разберут, вывезут заботливо поставленные здесь клубы, школы, гостиницы, столовые и такие уютные сейчас дома с большими двух- и трехкомнатными квартирами.

Останется на месте Аносовской пустынная большая поляна, поднимутся на ней папоротники, зацветет по весне холодным фиолетовым пламенем таежный багульник, оплетет землю жесткий глянцевитый брусничник.

А потом потянутся к солнцу молодые лиственницы, разрастутся, окрепнут. Вернет тайга распуганное строителями зверье, и ничто уже не напомнит забредшим сюда грибникам да ягодникам сегодняшнего поселка. Впрочем, нет. Останутся фотографии, картины, очерки и стихи, останется добрая человеческая память. И кто знает, может, останется кто-нибудь из нынешних аносовцев работать и жить на таежной маленькой станции Янкан, которую, возможно, и назовут тоже по имени здешнего первопроходца Николая Павловича Аносова.

Бесследно исчезнет деревянный городок Бам. Двести человек — работники узловой станции Бам и их семьи — будут жить в современных пятиэтажных домах. Школа, детский сад, клуб, магазины, гаражи, котельная, столовая, бытовой комбинат — все это тоже будет новым, основательным, удобным и обязательно красивым.

А уютный Пурикан станет всего лишь разъездом. Но и на нем не останется времянок. Их место займут прочные, из железа, бетона и камня, здания со всеми удобствами.

Вроде бы и нечем тут огорчаться. Все правильно: построят здесь и уйдут бамовцы на другие участки. А все-таки жалко было Петьке обреченные на снос, такие людные, деловитые, веселые, живописные временные поселки.

Неуверенно, словно боясь покидать горемовскую контору, сошел Петька с крыльца, остановился перед доской показателей управления строительства Бамстройпуть. Обрадовался, увидев, что участок Терещенко на первом месте и перевыполнение у него по всем показателям ого какое солидное!

Тут же и одернул себя: ну чего обрадовался? Какое тебе до них дело?.. Но не радоваться, не интересоваться тем, с чем сталкивался он, набивая себе шишки, Петька уже не мог. С каждым своим шагом по этой земле, с каждым часом, проведенным на БАМе, он прикипал к стройке. Он чувствовал ее ритм, ее голос, он уже знал, что не только она нужна ему, но и он, Петька Терехов, нужен этой огромной, уникальной «стройке века», как называли ее газеты. И если до сих пор БАМ не принял его, так это всего лишь по недоразумению. Впрочем, недоразумение серьезное.

Его кто-то тронул за руку. Петька оглянулся. Парень, только что обивавший дранкой наружную стену конторы, стоял рядом.

— Закурить хочешь?

Петька вспомнил, что с того демонстративного курения перед заносчивой проводницей не притрагивался к сигаретам. Потянул из кармана пачку, но парень опередил, и он взял у него, прикурил от зажженной им спички.

Они познакомились. Сели перекурить на ступеньку. И Володя Мальков, плотник из Брянского отряда, угадав Петькино состояние, узнав о его неудачах, пообещал:

— Я тебя с ребятами познакомлю. Из мостопоезда. Друзья мои. Может, что и придумаем.

Спросил:

— Куда ты сейчас?

— Не знаю,— признался Петька и вспомнил, что не завтракал.— Поесть надо.

— Сегодня у нас концерт на девяносто первом. У мостовиков. Хочешь поехать?

— Хочу.

— Приходи через пару часов в клуб.

Они притушили сигареты, и плотник взялся опять за работу, а Петька пошел в мехколонну, решившись еще там попытать счастья.

## Глава XII
## «Серебряное звено»

— Эй, парень,— услышал за спиной Петька, но даже не оглянулся. Никто его здесь не знает — и он никого.

Взял со столика чистый поднос, ложку, вилку, продвинулся вдоль раздатки. Залюбовался девчонками в белых крахмальных колпачках.

Были эти девчонки похожи и колпачками, и одинаково подведенными глазами, и царственно мягкими жестами. Они не просто подавали тарелки со щами и бифштексами, они одаривали ими проголодавшихся на трудной работе парней. И парни принимали из их рук дары почтительно, благодарно. Не было обычной столовской суеты, утомительного шума и специфического кисловато-капустного запаха.

Петька потянулся к витрине и снова услышал совсем рядом:

— Эй! Парень! Едешь на девяносто первый?

Обернулся, узнал Малькова и будто проснулся. Растерянно посмотрел на пустой поднос, на богато уставленную закусками витрину.

— Тогда давай,— заторопился Мальков.— Машина у клуба.

Он вышел, а Петька несколько секунд поборолся с искушением принять из рук девчонки-раздатчицы исходящий жаром бифштекс и, облизав пересохшие враз губы, кинулся за Мальковым.

У клуба стоял крытый брезентом «зилок», трое незнакомых парней грузили в него музыкальные инструменты.

Петька догнал Малькова, и они вместе подошли к машине, вслед за парнями запрыгнули через борт.

— Надежды особой нет, но кто знает...— туманно объяснился Мальков, и Петька благодарно кивнул.

Дорога была горбатая, тряская, инструменты жалобно позванивали туго натянутыми струнами и блестящей медью тарелок. Чуть слышно гудели барабаны, хлестали по брезенту ветки придорожных лиственниц, словно срывали на упрямом «зилке» свое недовольство людьми, врезавшимися в тайгу этой кривой дорогой, похожей на рубец от раны, полученной самой природой.

Сквозь деревья неровно светило солнце, то пропадая, то вспыхивая. И казалось Петьке: невеселый осенний лес прячет от них солнце. Ребята в кузове шутили, пробовали петь, тормошили его: «Подпевай, парень!» А ему было не до песен. Было тревожно-неспокойно, раздражал, казался нелепым и неуместным этот вышедший из повиновения, звенящий на дорожных горбах оркестр. Пугали ожившие ветки лиственниц, как через строй прогонявшие машину, и солнечные помехи, словно непонятные, предупреждающие о чем-то сигналы природы. Было беспокойно, неуютно от мысли, что и там, на девяносто первом, никто не обрадуется ему, и опять придется клянчить: «Примите...», а ему в ответ, как в мехколонне, могут крикнуть: «Что ты умеешь? Движок заведешь?..»

Машина остановилась внезапно, и в кузов полыхнуло просиявшее полуденное солнце, и лиственницы присмирели, будто не они только что наотмашь хлестали по заскорузлому брезенту.

Петька спрыгнул на землю, и тревога его отошла, приутихла. На расчищенной от леса площадке, заросшей красноватым брусничником, тронутой кое-где матовой сединой лишайников, стояли вагончики. В центре — являющий собой сцену огромный автоприцеп с опущенными бортами. Пробитая в тайге дорога выходила

на этот строительный пятачок, приткнувшийся в распадке между двумя сопками, делала разворот у их подножий и словно затягивала дорожной петлей «объект девяносто первый», названный так потому, что находился он на девяносто первом километре будущего железнодорожного пути Бам — Тында.

В центре «петли» шла работа. Стучали отбойные молотки, гудел уникальный, впервые применяемый на строительстве турбобур, подходили самосвалы, разворачивался неповорота бульдозер. Рабочих было немного. Они казались возле механизмов маленькими, беспомощными, но лишь до тех пор, пока не садились за штурвалы и рычаги управления.

Петька остановился возле большого фанерного щита, прочел: «Мост, 91-й км. Строительство ведет мостопоезд № 34. Сдача под укладку — сентябрь 1974 г. Окончание работ — декабрь 1974 г.»

Рядом курили двое парней: шофер «зилка», который привез Петьку, и строитель-мостовик, большеглазый, чернявый, как и все на объекте — в робе, потертых джинсах и резиновых сапогах. Только у ворота из-под рабочей куртки пестрела сине-белыми полосками тельняшка.

— Ну как? — спросил шофер.— Остановили плывун?..

— Одолели,— ответил мостовик так, словно речь шла о победе над врагом.— Вычистили котлован. До мерзлоты.

Он говорил обстоятельно, по-хозяйски, он имел на это право, и Петька ему завидовал.

— Здорово он вас прижал...

— Кто?

— Плывун-то.

— А-а!.. — досадливо махнул рукой мостовик. Видно, «прижал» плывун основательно.— Теперь вот компрессор надо. Полтора метра осталось...

— А грунт?

— Какой там грунт! Дресва со льдом идет. Вечная мерзлота...

Они заметили Петьку, посмотрели на него без особого любопытства. Решили, видно, что он свой, бамовский.

— «Буржуйку»-то привезли? — вспомнил шофер.

— Ага. В будке поставили. Теперь греемся по утрам, портянки сушим.

Парни затоптали окурки и пошли вниз, к котловану.

— Ребята,— окликнул их Петька.— Где тут у вас... прораб или... начальник какой?

— А зачем? — приостановился мостовик.

— Да я... работать приехал,— подошел Петька.— Строить.

Парни заулыбались. Мостовик понимающе оглядел Петьку, сказал:

— Видать, не сегодня приехал. И не по путевке.

— По велению сердца,— добродушно вставил шофер.

— От ворот поворот дали?

Петька смолчал.

— Понятно. Знакомо,— продолжал улыбаться строитель.— Здесь тоже поворот дадут. Не механизатор, специальности строительной нет. Так ведь?

— Так,— нехотя согласился Петька и вдруг сорвался.— Что у вас тут, простой работы нет, что ли? Вон отбойными молотками долбят,— кивнул он на котлован.— Хитрое дело?..

— Сейчас долбят, а после обеда бульдозеристов сменят. Так можешь?

— А зачем? Плохая организация труда, если вам с места на место прыгать приходится.

Парни перестали улыбаться, смотрели настороженно.

— А еще БАМ! — запальчиво крикнул Петька.— На всю страну шум подняли...

Он понимал, что несправедливо и глупо кричать на этих парней, он и рад был остановиться, но копившаяся все эти дни обида прорвалась, захлестнула, и его понесло:

— Заелись вы тут!.. Техники понагнали, магазины от сгущенки-тушенки ломятся... Клуб отгрохали... А руки рабочие уже не нужны?..

Он выбросил перед собой руки, разжал ладони и, покраснев, тут же спрятал их за спину. Петькины руки никогда еще не были рабочими. Они только хотели трудиться, рвались к кирке, лопате, отбойному молотку, грезили штурвалом машины, но при том лишь условии, что и стародавней киркой — если такое возможно,— и современным штурвалом они будут работать не где-нибудь, а вот здесь, в тайге, в мерзлоте, на стройке, которую по небывалой степени трудности назвали уникальной.

Парни все смотрели на него настороженно и выжидающе, будто понимали, что неприятная эта сцена — всего лишь разрядка. Но едва он снова раскрыл рот, строитель оборвал резко:

— Замолчи. Хватит! — И обернулся к шоферу: — Довели парня...

— Откуда будешь? — примирительно спросил шофер.

— С Урала.

— Ваших здесь нет. Брянские, москвичи, из Гомеля много... Мостопоезд этот из Улан-Удэ.

И только тут все трое заметили, что ни турбобур, ни бульдозеры не работают, самосвалы стоят вереницей вдоль дороги и вновь подъезжающие шоферы безропотно глушат моторы. У длинных обеденных столов, срубленных здесь же, меж лиственниц, хлопочут девчата, добровольцы помощники из строителей тащат от машины большущие белые кастрюли, корзины с хлебом, тарелками. Подходят едоки, устраиваются, как на пикнике — кто на пеньке, кто под деревом, хотя и за столом на скамейках хватает места. Едят и поглядывают на сцену-автоприцеп. А там уже и микрофоны установлены, и усилители, и ударник пробует свой громоздкий инструмент.

— Пошли,— дружески подтолкнул Петьку строитель в тельняшке.— Как зовут?

— Петром.

— Василий,— сжал Петькину руку шофер.— А это — Олег Костюков, механик с мостопоезда,— представил он товарища и лукаво сощурился.— Тоже, между прочим, без путевки приехал.

Олега отозвали музыканты, шофер пошел к своему «зилку». Петька подсел к ребятам, только что отобедавшим, устроившимся на бревне перед сценой.

Усилители разносили по тайге бешеную ультрасовременную музыку; самодеятельные артисты, не боясь конкуренции, крутили перед концертом пленку с записями американского джаза.

Внезапно джаз захлебнулся, и на сцену вышел длинноволосый пижон в лаковых щеголеватых ботинках и вызывающе элегантном костюме.

Петьку покоробило. Он покосился на сидящих рядом мостовиков, удивился их благодушию и заметил на сцене среди музыкантов еще одного «волосатика». Не удержался, проворчал: «Ничего себе!..» Но справедливо отметил, что этот, второй,— в резиновых сапогах, старых джинсах, свитере и рабочей куртке. Великолепная, аристократических форм электрогитара выглядела в его руках полоненной чужестранкой. Рядом стоял механик Олег, как был — тоже в сапогах и куртке и тоже при-

жимал к груди лакированную талию электрической «Тоники».

— Наш коллектив называется «Серебряное звено»,— сказал ведущий-пижон и свободно прошелся по краю автоприцепа.— Мы выбрали это имя потому, что с «серебряного» звена, уложенного 14 сентября 1972 года бригадой Ивана Зелицкого, начиналась наша дорога. Потому, что «серебряное» звено ляжет на первом метре Западного участка. И «серебряным» звеном назовут то, последнее, уложить которое удостоятся чести лучшие строители БАМа. Это символ будущей магистрали, символ крепко сбитого коллектива...

Парень говорил, а Петька слушал и ловил себя на том, что перестает замечать его «девчоночьи» — до неприличия мягкие и волнистые — волосы, не обращает внимания на пижонский костюм. «Клубный работник»,— сказал он себе и этим окончательно оправдал парня. А тот объявил номер и ловко спрыгнул с прицепа.

— Кто он? — все же не удержался Петька.

— Да Гриша Лобода,— ответил сосед по бревну.— За энергохозяйство здесь отвечает, на бетономешалке работает, опалубку ставит.

— А тот?

— Черный?

— Ну да. Волосатый тоже.

— Валера Стасенко. Тоже ставит опалубку, бетонирует... Из одной бригады они. А это — плотник, Володя Мальков. Из Брянска.

— Этого знаю,— кивнул Петька.

Валера, потряхивая черными волосами, лихо пел «доморощенную» бамовскую песню на слова Володиного друга, тоже плотника, Николая Захарова и словно отвечал ею тем, кто сетует: «Не та молодежь пошла...»

Кто сказал, что стали мы другими?
Я в обиду это не беру.
А не мы ли Зею перекрыли,
Лену, Волгу, Ону, Ангару?..

Притихшие, слушали песню столовские девчонки, парни, только что трое суток воевавшие с плывуном; казалось, слушала и молчаливо стоявшая техника — все эти мощные МАЗы, КрАЗы, «Уралы», краны, бульдозеры, гордость мостовиков — экспериментальная бурильная установка, первая в стране с производитель-

ностью, в шесть раз превышающей возможности своих предшественниц.

Рядом, на срезанном гребне сопки, лежало аккуратно отсыпанное полотно будущей трассы. Оно обрывалось, и от него через распадок к соседней сопке шагали, словно гигантские журавлиные ноги, опоры будущего многопролетного моста.

Нам идти навстречу новым песням
За еще не сбывшейся мечтой,—

дружно пело все «Серебряное звено».

Если надо, мы проложим рельсы
Меж Венерой, Марсом и Землей.

«Самоуверенные парни,— с восхищением думал Петька.— Дерзкие. Наверно, от слова «дерзать». И работящие. Такие проложат рельсы». Он чувствовал себя с ними в одном звене. Не чужим, не лишним, а таким же, как все здесь, бамовцем. И пусть придется еще поискать себе места на этой большой стройке, он не уйдет отсюда. Петька теперь это твердо знал. Не уйдет до последнего, «серебряного» звена.

## Глава XIII
## Вот оно где, начало

И тот день подходил к концу. Петька вышел из клуба, где от нечего делать помогал Володе Малькову сколачивать книжные стеллажи, и вместо того чтобы направиться в гостиницу или наверх — в общежитие мостопоезда, где жили ребята из «Серебряного звена»,— почему-то пересек улицу, поднялся на ступеньки конторского крыльца, хотел было открыть дверь, но она вдруг распахнулась сама, и навстречу Петьке выбежала запыхавшаяся, заплаканная девушка. Она отшатнулась от него, сбежала вниз и, все так же всхлипывая, побежала по улице. Петька узнал в ней ту самую, молчаливую подругу веселой, надоедливой хохотушки, встретившуюся ему в поселке Бам.

Он остался стоять в нерешительности, готовый броситься за ней следом, едва она позовет. Но девчонка даже не оглянулась, даже, возможно, и не узнала его, и Петька с беспокойством подумал: «Несчастье у нее? Умер кто-нибудь?..»

Решил зайти в контору, узнать — откуда она выбежала, расспросить о ней. Снова подошел к двери, и снова она открылась сама, а в проеме показался Терещенко

Александр Иванович, очень молодой начальник первого участка. Он увидел Петьку, узнал и, похоже, обрадовался.

— Работаешь? Нет?.. Зайди к парторгу, у него...

— Заходил,— не дослушал Петька и обреченно махнул рукой.

Следом за Терещенко показался на крыльце и сам Полубинский. На Петьку не обратил внимания, а Терещенко придержал, о чем-то стал ему говорить, рассмеялся. Он загородил дорогу, и Петька не решался потревожить его. Отошел в сторонку. Но тут парторг обернулся, позвал:

— Товарищ!.. Вы хотели...— И вывернул из кармана лист бумаги, развернул, стал цеплять на гвоздики, торчавшие на двери.— Вот, читайте.

Посторонился, давая Петьке подойти. Потом сказал:

— Надумаете — заходите. Я скоро приду.

Они оба ушли, а Петька прочитал:

**ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ**

**В Новосибирской технической школе открываются курсы автокрановщиков.**

**В Иркутской — шоферов, бульдозеристов, трактористов, грейдеристов, скреперистов и машинистов башенных кранов. Желающим обратиться в отдел кадров.**

Он рванулся в отдел кадров, решая на ходу: конечно, в Иркутск, там есть выбор,— и теряясь от возможности этого выбора. Пока шел — сообразил: шоферов на БАМе и так много. Да еще приедут. Значит, на бульдозер. Или на трактор.

В коридоре возле отдела кадров стоял шум. Перебивая друг друга, спорили две девчонки, а парень пытался их успокоить, но тоже кричал и этим только подливал масла в огонь.

— Пусть уезжает, пусть! Много их здесь таких. Понаехали, по чемодану косметики привезли... Не работать, а женихов искать! — выкрикивала одна из девчонок, и Петька сразу понял, о ком речь.

— А ты разберись сперва,— не уступала вторая.— Да она печи топила, все лето щепу собирала, на штукатура хотела учиться — в Тынду просилась. Теперь уедет. Обиделась.

— Ну и пусть, пусть уезжает! Видали таких!

— Да перестаньте вы! — заорал парень, и из отдела кадров выглянул рассерженный лысый мужчина:

— Не мешайте работать!

— Если хочешь знать, Ленка эта от несчастной любви сюда, на БАМ, убежала, — торжествующе кинула под конец исходившая злобой девчонка.

И тогда Петька сорвался с места, словно им выстрелили, пулей пронесся по коридору, слетел с крыльца и помчался в ту сторону, куда несколько минут назад убежала заплаканная девушка.

Ему навстречу попалась какая-то женщина — единственная пожилая из всех, кого он здесь видел, и Петька спросил ее на бегу:

— Где Лена, не знаете?

Потом уж подумал: кто эта Лена? Откуда женщине знать о ней? Но женщина крикнула вслед:

— В гараже она. Просит шоферов до станции довезти.

Гараж был на краю поселка, и Петька помчался туда. О себе он уже не думал. Не беспокоился. Он знал, что уедет с БАМа. В Новосибирск или лучше в Иркутск, в школу механизаторов.

Уедет, чтобы вернуться.

Чтобы, вернувшись, сесть за штурвал и успеть еще поработать где-нибудь на подступах к Тынде. А потом вместе со всеми выйти на большой БАМ, где местами есть уже просеки, есть временные автомобильные дороги, есть поселки, но нет пока ни одного метра пути.

О себе он сейчас не думал. Он беспокоился о девчонке, которую видел всего два раза, о которой ничего не знал и которую не хотел потерять.

## Глава XIV

**Из писем Лены Мироновой Петру Терехову**

*15 января 1975 года*

...Вот уж удивил ты меня своим новогодним поздравлением! И откуда узнал, что не сбежала? Собиралась ведь. Не думай только, что ты повлиял. Много возьмешь на себя.

Просто остыла тогда, успокоилась, а девчонки, те, что в конторе шумели, нашли меня и попросили не обижаться. Сказали: плохо думали обо мне, потому что верили слухам, а меня не знали. Выходит, узнали теперь... А я думаю, их просто парторг пропесочил или еще кто... Не хочу вспоминать.

У нас ЧП. На 111-м километре из скалы вдруг пошла вода и хлещет вовсю, заливает дорогу. Лед — выше головки рельса. Потревожили ее, скалу-то. Взрывали, выемку делали. А теперь бригады дежурят, лед скалывают. Тепловозы едва проходят.

Мы с девчатами ездили туда в выходной лед рубить. Сами, по своей инициативе. От воды пар идет, и она будто не застывает. Мороз —47°...

*18 февраля 1975 года*

...Спрашиваешь про того парня, который «хоть кем» на работу просился, когда мы за направлением для тебя в контору ходили? Смех, да и только! До сих пор уборщицей в общежитии работает. Чистота у него — как на корабле. Он ведь из морячков, с флота приехал. Правда, он еще на пятиэтажке вместе с каменщиками работает — постигает специальность на практике.

Говорят, в бригаду его хотят взять совсем, только технику безопасности сдать надо. Сдают в Тынде в рабочие дни, на поездку не меньше двух суток надо, а комендантша не пускает. Боится, что сдаст, уйдет к строителям и она потеряет лучшую уборщицу.

А вообще-то уважают его. Никто не смеется.

Укладка идет на 130-м километре. ЧП на 111-м продолжается. Воду остановить не могут. Наледи по трассе на этом участке высотой до двух метров.

Пиши, как идет учеба и есть ли у вас кто еще с нашего, Центрального?..

*24 февраля 1975 года*

...А откуда ты знаешь, что станцию Беленькую открыли? С кем еще переписываешься?

Про свою работу не скажу. Вот уверюсь, что я тут не «временная», определюсь совсем, тогда... А пока — пользу приношу, и то хорошо. БАМ люблю, а себя на БАМе — нет.

До Тынды осталось 48 км, а пока стоим из-за моста. Опять мостостроители держат: не успевают. Ну, мы, правда, не бездельничаем, кроме укладки полно работ.

Нет, тайга сейчас не такая, как ты думаешь. Черная совсем. Снегу мало, лиственницы голые, и сопки выглядят хмуро.

А тебя после курсов куда пошлют? БАМ ведь большой.

Воду на 111-м остановили...

*10 апреля 1975 года*

...Осталось — 16 км! Мы уже знаем, что 9 мая в Тынду придет первый поезд. Сквозной: от станции Бам на старом Транссибе до будущей столицы будущей Байкало-Амурской. Соединятся две великие дороги. И в этот день в Тынде будет большой митинг. Уложат «серебряное» звено, скажут речи, назовут лучших. А сколько труда надо, чтобы эти 16 км рельсового пути собрать, уложить, поднять домкратами, подправить, подбить, выровнять и т. д., и т. п. Но все будет сделано, и поезд придет в День Победы — это точно. Все готовы работать сколько надо, лишь бы успеть в срок. А ведь этот «срок» сверх всякого срока приходится. На пять месяцев раньше плана.

В клуб ходим каждый раз, хоть и устаем. И артисты приезжают, и лекторы, и из Дома моделей были — показ устраивали. Мы с Наташкой догадались — взяли аппарат да все модели и сфотографировали. Вадим нам отпечатал, так теперь покоя нет. Девчата прибегают срисовывают, шить будут. К празднику в Тынде готовятся. Ну, мы с Наташкой — тоже.

А у вас в группе, выходит, и девчата есть? Или это преподавательницы такие молоденькие?

Наташка одного с этой фотографии узнала. Он из Брянска. Зовут Сережа (во втором ряду пятый). Точно?..

*14 апреля 1975 года*

...Раз уж так настаиваешь — скажу. Работаю теперь на звеносборке. Вместе с Верой. Звеносборка давно переехала. Всю зиму пакеты шили в четырех местах. Сейчас в двух, потому что и укладка идет в двух. В голове и где наледь, на 111-м. Обходную дорогу там снимают, укладывают по главному пути. Мост построили, вот к нему и ведут.

У нас все еще зима. Вчера выпал большой снег, и сопки сразу стали светлее, наряднее. А настроение все равно весеннее, ведь по календарю через две недели — май.

Посылаю снимок. На нем рядом со мной Вера. Ты ее, наверно, помнишь. В тот день, когда ты приехал, мы с ней тебе контору ГОРЕМа показывали. В поселке Бам...

*12 мая 1975 года*

...Вот так, Петя. Сказали — и сделали. Пришел первый поезд в Тынду... 8 мая! Праздник у нас был самый большой за все время.

Ты, наверно, уже читал обо всем этом и по телевидению в последних известиях мог посмотреть. Здесь столько было корреспондентов, фотографов, кинооператоров! (Даже, может быть, мы с Натальей и Верой попали на пленку.) Но я тебе все-таки посылаю праздничный номер нашей газеты «Байкало-Амурская магистраль» — в ней самые точные и подробные сведения, и, как видишь, снимков полно. Хороший подарок сделали бамовцы стране к 30-летию Победы! Небось завидно, что без тебя?..

*1 июня 1975 года*

...А настроение — нет, не всегда у меня хорошее. Это только по письмам не видно. Сегодня вот, например.

Приехали сюда в командировку горемовские парни, которые прошлым летом в Аносовской рядом с нами в общежитии жили. Встретились мы с ними случайно, в столовой. Пообедали вместе, поболтали, а стали прощаться, они и говорят: «Пойдем посмотрим, где тут у вас знаменитое «серебряное» звено уложили». «У вас»! Понимаешь? Будто сами они не бамовские, а со стороны откуда. И так мне не по себе стало! И так я вдруг поняла, что обидели их, и крепко обидели.

Эти ребята вели укладку по трассе. На всю стройку как передовики гремели. Прошли большую часть пути. А потом их оставили на развитии — укладывать маневровые, запасные пути на станциях и т. д., а дальше по трассе повели укладку другие. Тоже работяги что надо, и темп у них, и качество, и взаимовыручка. Они и подошли к Тынде и «серебряное» звено укладывали. Герои дня. О них повсюду писали.

Но ведь не будь тех, горемовских, которые через Янкан тянули да работали за троих каждый,— не быть бы к Дню Победы в Тынде первому поезду.

Я помню, как они всех удивляли не только качеством и быстротой укладки, а еще и дьявольской выносливостью. Ведь, бывало, сутками не уходили с укладки. Если невмоготу становилось — поочередно по двое спали тут же в тайге и — опять за работу.

Представляешь, о них даже и не вспомнили на митинге ни в речах, ни в приказах. На праздник не пригласили. Справедливо такое?

Конечно, на празднике я ни о чем об этом не думала, а теперь считаю: надо было объединить обе бригады, и пусть бы они вместе уложили «серебряное» звено. Как считаешь, права я?..

*4 июля 1975 года*

...Теперь уж совсем переехали. Тында какая-то пестрая. На левом берегу — старый поселок. Дома деревянные. На правом — наш, бамовский. Вагончики, сборные дома, «бочки». Река большая, хорошая. Холодная, правда. Но в жару, говорят, купаться можно. Кругом сопки. Есть здесь стадион, парк (оставили кусок тайги в поселке строителей), есть большой клуб, деревянный. Людей полно, а машин, кажется, еще больше. И все прибывает и прибывает техника — отечественная, японская, немецкая...

Идут дожди...

*14 июля 1975 года*

...Нам на пятерых дали ПДУ. Мы расшифровали так: передвижной домик, утепленный. Не домик, и не дом даже, а хоромы! Две комнаты — 18 и 10 метров, кухня со всякими полками и полочками, туалет, прихожая со шкафами и застекленная веранда. Мечта! Цивилизованные горожане позавидуют!

Привезли наш ПДУ, сгрузили, а собирать некому. Хорошо, ребята-москвичи выручили. (Здесь рядом большой отряд Главмосстроя стоит.) Они после работы пару вечеров потрудились — заработали от нас приглашение на новоселье. Жаль, погода дождливая. И дом собирали под дождем.

А лозунг теперь у нас знаешь какой? «Есть Бам — Тында, даешь Беркакит!» Укладка пойдет дальше на север...

*27 июля 1975 года*

...Дожди льют! Со всего неба тучи сходятся и опрокидываются над нашим Центральным участком. Просушиться не успеваем. Ручьи превратились в реки, траншеи заливает, размывает дорогу. Путь дает осадку, вагоны стали сходить с рельсов. И в такую-то погоду Верка вздумала выходить замуж!

А грибов тут... Нигде никогда столько не видела, можно косить. И голубика уже синяя, поспевает.

Шьем пакеты на Беркакит. Уложили три километра...

*20 августа 1975 года*

...Так и свадьбу играли — под дождем. Молодых из загса везли в «Магирусе». Красивый, оранжевый, кабина — на четверых! Отдали им десятиметровку, Наташка перешла к нам, в большую комнату. По-прежнему живем «колхозом».

А знаешь, кто он, жених-то? Морячок-уборщица. Теперь на автобазе работает...

*14 сентября 1975 года*

...Звеносборка теперь здесь, в Тынде. Пакетов нашили на 8 километров. В среду (17-го) начнется укладка на все три направления. Опять понаехали корреспонденты, начальство.

...А мы-то до чего хозяйственные: брусники с сопок наносили целую бочку. Большую. На всю зиму хватит и еще останется. Здесь ее берут не по ягодке, а механизированно. Такими ручными комбайнами, самодельными. Грабельки и бункер. У нас комбайна нет, да нам и не надо. Мы «по ягоды» ходим для удовольствия. А «комбайнеры» — урожай собирают. Солнца теперь полно. Здесь, оказывается, осень всегда золотая...

*21 сентября 1975 года*

...Вода у нас артезианская, вкусная. Даже звери оценили. Один медведь — очень коммуникабельный — каждый день приходит пить воду на водокачку. Речная ему теперь не нравится. Машинист не против. Выдолбил ему колоду, меняет воду, чтобы свежая была. Рядом, на пенек, сахар кладет. Мы говорим: «Заваривали бы чай, неприлично такого гостя пустой водой потчевать». А он смеется: «Вот спрошу, какой он чай больше любит — «Грузинский» или «Цейлонский»,— тогда и заварю».

Медведь его не боится: молодой, доверчивый. А главное — машинист не боится медведя...

*20 октября 1975 года*

...Вернулась из отпуска, а у нас — новый жилец: спит на моей кровати бабуся лет восьмидесяти — для БАМа явление исключительное. Оказалось, к Вере прабабка из Смоленска прикатила — на зятя и на стройку посмотреть.

Привезла она с собой мешок картошки, из собственного огорода, представляешь? Ей этот мешок и не поднять. Да она и не поднимала его ни разу за дорогу. Рассказывает, что на всем пути добрые люди попадались. Как услышат, что она — на БАМ, сначала дар речи теряют, а потом за мешок этот хватаются и тащат куда ей надо — в камеру хранения, к поезду, к автобусу.

Вообще-то с картошкой это она неплохо придумала. Все у нас тут есть — и мясное, и молочное, и фрукты, а с картошкой неважно. Та, что бывает,— мелкая, пятнистая, невкусная. Нажарили мы бабусиной картошки, гостей созвали и праздник в честь передовой, современной прабабки устроили. А потом Вадим попросил машину, посадил гостью в кабину самосвала и покатал по Тынде, показал все. Особенно ей наши бочки-магазины понравились. Она их сначала за «гаражи для самолетов» приняла. И ведь точно: на ангары похожи.

Девчата вручили мне пять твоих писем, заставив сначала пять раз сплясать. Я их весь вечер читала...

*28 октября 1975 года*

...Почему же ты не пишешь, куда вас распределяют? Неужели не знаешь до сих пор?

Здесь, в Тынде, работы все больше и больше. Строят девятиэтажки. Путь ведут и на Беркакит, и на запад по Большому БАМу — двухпутку. На восток тоже скоро потянут. А в самой Тынде путей! Сосчитать не берусь. Огромная станция будет. Узел. И сейчас с левого берега посмотришь — внушительное зрелище. Пути забиты составами. Сотни вагонов. (Железнодорожники говорят — плохо, когда забиты. Надо, чтобы оборот постоянный был.) Тепловозы новенькие, нарядные. Санитарный поезд — чуть в стороне.

Представляешь, вагоны — палаты, вагоны — врачебные кабинеты, операционная, рентген, лаборатория... Я раньше думала: санитарные поезда только во время войны бывают. Даже жаль, что ничего не болит, нет причины сбегать туда. Посмотреть хочется.

Когда построят больничный городок, поезд снимется и уйдет по трассе туда, где нет медицинской службы. А сначала он в поселке Бам стоял. Помнишь, когда мы с тобой вечером ходили вдоль путей, ждали твоего поезда, то возле него все время останавливались и поворачивали обратно. Я еще сказала: «Отгадай, что за состав — в окнах свет, а тепловоза нет и табличек на ва-

гонах не видно». Ну, тебе разве до того было? Ты меня воспитывал, с дезертирами сравнивал. До сих пор не понимаю, почему я от тебя все это выслушивала. Наверно, потому, что ты уезжал (ты, а не я! Пусть даже на курсы, но ведь уезжал, а я-то, дезертирка, оставалась все-таки), и я не собиралась когда-нибудь увидеть тебя снова. А теперь вот увижу. Ты ведь к нам, на Центральный, вернешься. Хоть и не пишешь, а понять можно. А раз на Центральный, то Тынду — столицу БАМа — не обойдешь. Оформляться придется здесь — все отделы кадров, все начальники теперь в столице собраны.

*3 ноября 1975 года*

...У нас ЧП местного значения. Ударили холода, и по вине Веркиного морячка трубы отопления разморозились. В нашем домике водяная система обогрева: в плиту вмонтирован котел. Исправить пока не могут. Холодище. В чайнике вода замерзла. Мандарины на полу в коробке как камни-ледышки. Есть нельзя. Сижу в шубе, в варежках и жду, когда привезут железную печку — то ли голландку, то ли «буржуйку». Она, конечно, нарушит наш прежний комфорт, но другого выхода нет.

На днях объявился тут один парень знакомый. В школе вместе учились. Теперь он в Ново-Тындинском, в Свердловском отряде работает. Прочитал в газете заметку про звеносборщиц — а нас там всех из бригады по имени-фамилии назвали и указали, кто откуда приехал,— прочитал и решил проверить, совпадение это или на самом деле я здесь.

Нашел меня, с «колхозом» нашим познакомился. Звал в отряд на Октябрьские праздники. Хвастал, что у них красота: в домиках мебель полированная, красиво, чисто, тепло. А главное — народ подобрался хороший, живут дружно. Они тут две станции должны построить: Кувыкту, в 40 км от Тынды, и Хорогочи — еще на 30 км к западу по трассе.

А я ведь и не знала, что наши уральцы здесь так близко. Думала, кроме тебя, и земляков нет. И что парень этот на БАМе — удивилась. Такой всегда маменькин сынок был.

Ну, он не очень-то передо мной погордился. Все-таки он на БАМе всего полгода (как и весь СМП «Свердловск»), а я, можно сказать, ветеран.

Ушел он, а мне так захотелось к землякам! Может, и верно, съездить на праздник...

Все. В окно вижу — сгружают печку, волокут к нам.

Желаю весело провести праздники и не завалить экзамены.

Лена.

*17 декабря 1975 года.*

...Молодец, Петро, так держать! На БАМе нужны только отличники...

Съездила в СМП «Свердловск». Красотища — в кино можно показывать. Общежитие из домиков-контейнеров собрано. Каждый контейнер — комната. При желании комнат может быть десять, двадцать, хоть сто. Выглядит общежитие как современная гостиница. Удобно, компактно, красиво и... тепло. А тепло здесь у нас все равно что здоровье. Если оно есть (на улице уже до —52° доходило), то жить можно и можно работать на морозе, зная, что дома тебя ждет тепло.

У нас здесь при встрече вместо обычного приветствия или дежурной фразы «как живешь?» спрашивают: «Дома тепло? Печка не дымит?» У многих эти проклятые печки дымят, коптят — дышать нечем. То ли мы их топить не умеем, или уголь такой... Не приспособились еще.

У свердловчан отопление центральное. И вообще мой одноклассник ничего не наврал. Полировка у них, поролон, линолеум цвета легкого загара. Из таких же контейнеров контора, только там комплект мебели другой: шкафы, полки, письменные столы... Все это для них сделала Свердловская мебельная фирма и контейнеры свои, уральские. Хорошо их экипировали в дорогу, подумали о строителях те, кому положено. «Буржуек» с коленчатыми трубами в окне и там не видела.

Ездила и в Кувыкту. Там тайга, гуще, крепче, серьезнее как-то. Меньше лиственниц, больше сосны. И есть место, где прямо так, дикарями, растут голубые ели. В тех местах прежде золото мыли. Нашли на берегу реки железную тачку образца прошлого века и лотки для промывки. Первые экспонаты будущего музея...

*24 декабря 1975 года*

...А я думаю, это мое письмо — последнее. Потому что курсант П. Терехов направляется в распоряжение БАМстройпути. У нас разведка работает, и донесение получено. Или, может, ты не сразу сюда, а сначала домой съездишь?

Мороз здесь сейчас — 47°. Но ветра нет, тихо. И мы работаем. Жалко терять время. Хотя железо в такой мороз только коснись — кожу сдерет.

31-го поедем с Наташкой в СМП «Свердловск» встречать Новый год около голубой елки...

## Глава XV
## Бурятский сувенир

— Вот чудак,— изумился Потанин.— Сколько времени потеряешь... Давай со мной — к вечеру гарантирую ужин в «Юности». Кафе такое есть в Тынде. Слыхал?

Петька понимал, что Потанин прав: времени он потеряет действительно много. И устанет, и неудобств натерпится, но отказаться от своей затеи не мог.

Он давно это решил и вот сейчас с нетерпением ждал посадки, боялся, чтобы не закрыли аэропорт, чтобы не подвела погода на трассе. А Потанин не хотел лететь без него и все уговаривал, упрашивал, сулил комфорт и веселье.

— Ну как? Убедил?

Петька покачал головой: нет, мол, не убедил. И отошел, послонялся по забитому людьми залу ожидания, обнаружил в уголке сувенирный киоск и задержался там надолго, рассматривая оригинальные бурятские поделки, чучела белок, изящно и трогательно ухвативших лапками кедровые шишки, панно-аппликации из кусочков меха, талантливой, тончайшей работы украшения из забайкальского нефрита... Белок, отстрелянных кем-то для изготовления чучел, ему, пожалуй, было жаль: пусть бы живые прыгали себе по живым веткам и грызли настоящие лесные орешки.

И когда продавщица бесстрастно, не глядя доставала их с полки для очередных покупателей, а потом, ухватив за головы, толкала в коробки, закрывала крышкой, обвязывала бечевкой, у него было такое ощущение что именно она, а не охотники, убивала их вот сейчас, тут же, у него на глазах.

Потанин тоже подошел к киоску, и у него тоже разбежались глаза.

А Петька все стоял и не выпускал из рук чурбачок черного мореного дерева, искусно превращенный художником в добродушного деревянного старичка. Продавщица поглядывала на Петьку с нетерпением, говорила глазами: «Покупай или уходи».

— Кто он? — как о живом спросил о старичке Петька,

Продавщица удивилась, не сразу поняла его. А поняв, чуть приметно улыбнулась, перевернула вещицу, но на этикетке, кроме цены, ничего не значилось.

— Лесовик,— сказала она.— По-бурятски...— Но не могла вспомнить бурятского слова и достала с полки еще одного точно такого же и все-таки другого деревянного старичка.— Последние. Будете покупать?

Петька достал деньги. Их было немного. Только-только добраться до места да перебиться до первой получки. Но старичок лесовичок хоть и пробивал заметную брешь в бюджете, стоил того, чтобы два-три дня попоститься.

— Какого берете? — не торопя Петьку, а даже както участливо спросила продавщица и, повернув обоих к себе, коротко и оценивающе глянула в их темные, морщинистые лики.

Второй лесовик был посуровее, поосанистей, вроде бы и не рядовой, а какой-нибудь старший, начальствующий над остальными. Но Петька уже не мог изменить тому, которого первым взял в руки.

— Не передумал? — без всякой надежды еще раз спросил Потанин и, заметив, что тот в ответ лишь усмехнулся, широко размахнувшись, ударил ладонью в его ладонь.— Бывай... До встречи.

Петька пожал руку. Сейчас ему не хотелось в попутчики ни Потанина, ни кого другого. В самой затее — добраться опять до «исходной точки», до первого бамовского поселка на Центральном, где полтора года назад впервые открылась ему магистраль, и проехать снова тот путь по свежим, не сданным еще в МПС рельсам, посмотреть, как там все стало, сравнить, ощутить масштаб сделанного, увидеть и то, что знакомо только по письмам Лены... В этой затее не было места ни для кого, кроме Петьки.

Он чувствовал себя несколько виноватым перед товарищем, хотя еще там, на курсах, заказывая через секретаршу билеты, они выбрали разные рейсы и Петька объяснил, что хочет проехать по новой ветке. Почему? Да просто так, посмотреть. Он не любил говорить о прежних своих мытарствах.

Сам Потанин не был на БАМе новичком. С полгода проработал вальщиком, еще столько же плотничал в Аносовской, «пробовал» себя и понимал, что главное его дело — в другом. Влекла техника, и многое он уже умел — водил мотоцикл, трактор и за рулем «газика» не

терялся, но прав водительских не имел и подготовки специальной — тоже.

Петька догадывался, что Потанин, пожалуй, знаком с Леной Мироновой. Даже наверняка знаком: в Аносовской все знали друг друга. Но он никогда не спрашивал о ней. Не хотел — боялся услышать что-либо обидное. А сам Потанин не говорил об аносовских девчонках. По крайней мере, Петька слышал от него только об одной — нормировщице из Тынды, его землячке.

Он сел в освободившееся кресло, развернул и внимательно рассмотрел покупку.

Из куска тёмного мореного дерева лукавыми добрыми глазами глянул на него бурятский лесовичок — успокаивая и приободряя. А Петька тихонечко рассмеялся: не удалось-таки ему в одиночку отправиться к изначальной точке своего БАМа. Ну да лесовичок — не Потанин. Мешать не будет. Ему можно довериться даже в сентиментальном желании — повторить прежний путь в новом своем качестве и тем самым как бы поправить, что ли, то, прежнее, начало...

## Глава XVI
## Опять Тахтамыгда

...И опять магистраль началась для него с Тахтамыгды.

Ил-14 сел, взвихрив снег, понес на хвосте белый, клубящийся шлейф, развернулся, подрулил поближе к заправке и погасил моторы. Шлейф опал, рассыпался, а на поле, просторном и белоснежном, с которого, казалось, не успели еще убрать праздничную новогоднюю скатерть, появился маленький, старомодный автобус. Он ходко, приветливо побежал напрямик к самолету, оказавшись возле трапа чуть раньше, чем стюардесса открыла люк. И Петька увидел сначала аккуратненький голубой его коробок, а потом уже холодное, безмолвное и, казалось, бескрайнее поле. Услышал сначала добродушное жужжание старенького мотора, а потом уже свистящий, недобрый голос ветра.

Гостеприимность местных аэрофлотцев показалась Петьке хорошим предзнаменованием и выглядела так, будто на этот раз здесь, у порога БАМа, его уже ждали и встретили, несмотря на мороз.

Аккуратный домик аэропорта манил угадывающимся теплом и уютом, и можно было бы скоротать там, в мягком кресле, за чтением газеты, время до поезда, но водитель автобуса предложил:

— Могу подвезти к станции. Есть желающие?

И Петька проехал прямо туда, кинул вещи на традиционную эмпээсовскую скамейку, подошел к расписанию.

Ждать оставалось около часа.

Парни в рабочих дубленках нараспашку и девушка в короткой кроличьей шубке, кокетливой шапочке и высоких модных сапожках — очень какая-то городская, приезжая — сидели на скамьях напротив друг друга и говорили громко, не замечая вошедшего. Девушка была в центре внимания и оттого немного смущалась, но разговор вела бойко. Двое парней пытались угадать, кто она, третий молчал, уткнувшись в какую-то брошюрку, а она посмеивалась, отрицательно покачивала головой: нет, не журналистка, не инспектор, не повар, не парикмахер, не экономист... И наконец сказала:

— Эпидемиолог. Из НИИ.

Этого парни не ожидали и развеселились.

— Вот уж кто здесь нам не нужен, так это э-пи-де-ми-о-ло-ги,— добродушно заявил самый говорливый, самый бородатый и, как заметил Петька, самый молодой из них.— Меняйте профессию, девушка, переучивайтесь на повара. Путь к сердцу бамовца...

Петька сел поодаль, но так, чтобы видеть их всех. На него по-прежнему не обращали внимания, и он был доволен. Рассматривал бамовских ребят без прежней зависти, с интересом, доброжелательно и чувствовал себя почти что равным. Они работают здесь, ну и он — не случайный. Направление в кармане. Экскаватор, бульдозер — это теперь «по его части». Конечно, могут загнать в карьер — тоже работа, без которой магистраль не построишь, но лучше бы, конечно, в десант, на трассу...

Девушка горячо толковала о важности своей профессии и не вообще, а применительно к БАМу.

— Здесь же города будут,— волновалась она, словно открывала ребятам нечто новое.— Большие, перспективные. Мы должны все предусмотреть...

— И эпидемии — тоже? — ввернул бородач.

Она пригвоздила его презрительным взглядом:

— Невежда. И эпидемии — тоже. Чтоб никаких неожиданностей...

— Д-да-а...— протянул второй, менее общительный парень: на него это произвело впечатление.

— А вы что же, одна, или много вас, из НИИ,— попытал ее юный бородач, и она ответила ему, но обра-

щалась при этом больше к другому парню, молчаливо сидевшему напротив, изредка листавшему брошюру. Он отличался от всех и тем, что вместо ушанки надета была на нем, в тон свитера, вязаная спортивная шапочка.

— Пока одна,— не без гордости заявила девушка-эпидемиолог.— По договору кое-что надо проверить. А весной все приедем. Экспедицией.

— Где квартировать будете? — Бородач, видно, боялся, что девушка потеряется для него на тысячекилометровых бамовских пространствах.

— Как всегда: поставим палатки, разобьем лагерь... где захотим,— слегка рисовалась она перед ребятами. Однако поправилась: — Где надо будет.

«Ишь ты,— подумал Петька.— «Где захотим... Как всегда...». Небось первый год работает.

С шумом открылась дверь, снегом и холодом ворвалась в помещение зима, напомнив, что «за бортом» больше сорока, и тут же растворилась, растаяла в спокойном тепле, исходившем от большой печки-голландки, как бы подпиравшей потолок в углу напротив окошечка кассы.

Вошел еще один парень, одеждой похожий на тех, что уже сидели в зале, но по тому, как он вошел, как, недоверчиво оглядевшись, выбрал удобное местечко за печью, как тщательно складывал там вещи и только потом поздоровался с парнем в шапочке, и даже по тому, как тот парень ему ответил, Петька догадался: похожесть-то тут всего лишь внешняя.

Было видно, что вновь пришедший недоволен встречей, не хочет разговора. Он повернулся к ребятам спиной, закурил и так стоял, пока молчавший все время парень не окликнул его:

— Черненко! Куда путь держишь?

— А то не знаешь? — огрызнулся Черненко.— Восвояси держу путь. Обратно.

— Бежишь, значит.

— Зачем бежать — еду. Спокойно, культурно, с плацкартой...

Этот, новый, вел себя нагло и сам это понимал, но остановиться уже не мог.

— Наработался! Вот она у меня где, ваша стройка! — Он полоснул ребром ладони по горлу.— Да я эту деньгу где хошь возьму.

— Обиделся?

— Озлобился,— уточнил бородач.

— Так тебя же за дело...

— Да не потому! — отмахнулся Черненко и с издевкой повторил: — За де-ло... Никто же не пострадал. На полдня ремонта.

Девчонка-эпидемиолог слушала разговор и все посматривала на парня в шапочке. Он сунул брошюрку в карман, выпрямился, словно стряхнул с себя долгое молчание, и повернулся к Черненко.

— Помнишь, Антонов предупреждал: «не за длинным рублем...» Это поначалу расценки «дикие» были. Начало-то всегда трудней.

— Что мне Антонов? — Черненко изобразил презрение.— Я им — работу. Они мне — деньги. Вынь да положь. В ГОРЕМе вон колесные платят, а у нас нет. Девки-малярши и те у них получают. А я как на трассу уеду — неделю мотаюсь. Да ну вас всех к лешему! — Он сплюнул на окурок, прижал его задубелым пальцем под край подоконника.

Петька вышел на улицу. Сыпал густой, медленный январский снег. По-хозяйски укрывал-укутывал маленькую деревянную Тахтамыгду и этот, деревянный же станционный домик, единственный «зал» которого был и кассовым, и залом ожидания, и камеры-автоматы металлическими сотами прилепились там же, к одной из стенок.

Конечно, случается, уезжают и с БАМа... Петька допускал такое. Ему только было жаль, что до поры до времени эти ненадежные люди занимают на стройке чьи-то места.

За спиной громыхнуло, и из двери со всеми своими кошелками вывалился Черненко и, матерясь, крупно, вразвалку от тяжести в обеих руках, пошагал через дорогу к Дому приезжих.

— ...Правильно: бич, захребетник,— говорил тот, в шапочке, когда Петька вернулся в зал ожидания.— Только ведь и он работать умеет... Место себе в жизни ищет. Может, здесь бы нашел.

— Так верни,— пошутил бородач.— Не поздно.

— Поздно,— серьезно ответил парень.— Не вернется. Самолюбивый. И насчет колесных он прав. Непорядок...

Он опять вытянул из кармана брошюрку — очень занимала она его. Услышал, как выжидающе замолчали остальные, пояснил:

— Сейчас вроде в министерстве вопрос решается.

Ребята обратили внимание на Петьку. Бородач позвал:

— Давай к нам!

И когда Петька подсел — протянул сигареты, спросил, даже не усомнившись в том, что он — бамовец:

— Из отпуска? Из каких мест?

А Петька не стал объяснять, кивнул, что, мол, да, из отпуска. Спросил в свою очередь, откуда они, и узнал, что с Золотинки (это на северной ветке, ближе к Беркакиту), что сюда заезжали товарища повидать (женился на местной, сейчас здесь в отпуске) и что еще у них есть дело в Сковородино, куда и отправляются через двадцать минут с ближайшим поездом.

Чуть пристукнув, открылась касса.

— До станции Бам, — попросил Петька, и все эти смешки, шуточки, озлобленный Черненко и лукавая, симпатичная девушка, ребята из Золотинки — все отошло, перестало занимать его. С этой минуты он смотрел только на часы и подсчитывал: пятнадцать плюс двенадцать — через двадцать семь минут он выйдет на ТОЙ платформе... Пять плюс двенадцать... Три плюс... Он смотрел на часы и в поезде — стоя в тамбуре, лицом к окну, пытаясь узнать места и не узнавая. Зима переодела придорожную тайгу и окрестные сопки.

Двенадцать минут пути тянулись долго, но наконец истекли, Петька соскочил на перрон и остановился. Изящные, одетые зеленой штукатурной «шубой» многоэтажки на высоком — чуть не в два этажа — цоколе (северное исполнение!) стояли фасадом к станции. На слабом закатном солнышке бликовали каким-то чудом не застывшие стекла широких окон корпуса узла управления. Красовалась коробка нового здания вокзала. В сторонке, среди деревьев, просматривалась нестандартная усадьба детского сада. Там же, за наезженной тяжелыми машинами дорогой, лежал разросшийся, ближе подступивший к станции поселок, и высоченная труба котельной, несмотря на свой рост, курилась по-домашнему уютно, обещая Петьке тепло и добрый прием.

## Глава XVII

## Допуск на магистраль

— К нам?

— В Тынду. Оформляться.

Лицо мужчины было знакомо.

— Только что поезд ушел.

— А следующий?..

— Спроси у диспетчера. Вот сдадим в МПС, пойдут пассажирские, тогда расписание в новом зале повесят.

«Кто же этот мужчина?» — не мог вспомнить Петька,

— Второй раз сюда пожаловал? — открытое широкое лицо, доброжелательная улыбка...

— Второй. Учиться ездил.

— Шофер, что ли?

— Машинист бульдозера.

— Такие здесь нарасхват.

Блестящие черные глаза озорно, прицельно сощурились, и Петька мгновенно вспомнил оранжево-красную «агээмку», остановку на щедрой голубичной плантации и такой же вот ободряющий, дружеский взгляд.

— Владимир Иванович! — обрадовался он.— Здравствуйте!

— Здравствуй,— рассмеялся Кузнецов. Он не помнил Петькиного имени, но это не имело значения.

Они стояли на морозе посреди поселковой улицы, и только что Петька поеживался, а тут сразу перестал чувствовать холод, хотел продлить разговор. Но Кузнецов махнул рукой в сторону ближайшего дома, сказал:

— Зайди в гостиницу, договорись. Переночуешь, утром уедешь. А лучше — самолетом.

— Дорогу хочу посмотреть,— признался Петька.

— Тогда другое дело,— все так же понимающе улыбался Кузнецов.— Счастливо тебе.— И пожал руку.

В гостинице девчонка-комендант проверила документы и устроила Петьку на единственной свободной кровати, предупредив: «Только до утра. Хозяин из рейса вернется». А утром, еще в темноте, едва не заблудившись среди новых улочек и закоулков, составленных из вагончиков и сборных домиков, он добрался до станции. Увидел в свете прожекторов над дверью заветную вывеску «Станция Бам. ОВЭ» и удивился. Вагончик был не желтого цвета, а синий, обшарпанный... Перекрасили? Поставили другой? И, войдя, первый взгляд бросил он не на дежурного, сидевшего за столом перед телефонами, а на печку — плиту самодельной кладки, от которой приятно тянуло теплом.

Печь была та самая, с двумя конфорками и широкой железной трубой. Именно ее, заканчивая работу, обмазывал глиной печник, оказавшийся начальником станции... И дежурную Петька узнал: «тетя Нина», Нина Ивановна Каспирович. Она была чем-то озабочена: звонила по телефону, проверяла накладные, вызывала сопровождающих грузы.

Петьку она не узнала, но помочь — помогла. Разрешила ехать в тепловозе и с машинистом переговорила:

«Возьми парня. В Тынду едет, оформляться». И тот не возражал: «Пусть садится».

Эта фраза — «В Тынду, оформляться» — оказалась прямо-таки паролем, открывавшим Петьке не только гостиничную дверь, кабину тепловоза, столовую во время перерыва, но — и самое главное! — человеческие сердца. С первых шагов по студеной, промерзшей за зиму бамовской земле Петька чувствовал: всякий, кто слышал от него этот «пароль», неизменно проявлял уважительный интерес, чем мог помогал, оказывал гостеприимство.

Два спаренных тепловоза бесшумно подошли к станции. Человек восемь пассажиров тут же забрались во вторую «половинку», а Петька рискнул «попытать счастья». Ухватился за поручни головной кабины ведущего.

— Куда тебе? — заступил дорогу помощник машиниста.

— В Тынду, оформляться,— сказал Петька, и это был допуск на магистраль.

Помощник подумал и отступил, пропуская.

Поезд тронулся мягко, почти незаметно. Набирая скорость, плавно свернул на север и привычно, уверенно покатил к первым на соединительной ветке станциям. В кабине стало уютно от мягкого света приборов на панели управления, от ровного дыхания мощных двигателей за спиной, в машинном отсеке.

— Если повезет, вечером будем в Тынде,— пообещал помощник машиниста, предупредив: — За Янканом — ограничения.

Голос показался Петьке знакомым, но он не обратил на это внимания — во все глаза смотрел через ветровое стекло на дорогу, высвеченную сильным прожектором, но, кроме самих путей — ровно положенной колеи, как по лесенке стремительно бежавшей впереди тепловоза по заметным в мелком снегу шпалам,— ничего не видел. Только угадывалась в темноте сгущенная чернота лиственничной голой тайги да закрывающие по сторонам небо покатые спины сопок.

Проскочили Девятый километр — ни огонька не светилось в карьере, будто его там никогда и не было. Укладка ушла за две сотни километров, и теперь ее снабжали балластом другие карьеры, открытые там, поблизости. Не останавливаясь прошли Штурм — плавно, летяще, на большой скорости, как ходят поезда по давно обкатанным хорошим дорогам.

Петька все время стоял между креслами у ветрового стекла, как у огромного телеэкрана. Поммашиниста поглядывал на него изучающе, и Петька, чувствуя это, тоже косил глаза в его сторону: помощник связывал его, беспокоил.

— Чайком бы побаловаться,— не отрывая взгляда от полотна, сказал машинист, и помощник поднялся со второго кресла, ненадолго зажег свет, порылся в шкафчике, достал пачку чая.

— Садись сюда,— показал Петьке на освободившееся свое место.

При свете Петька постеснялся обернуться и рассмотреть парня. А тот рассмотрел.

— Садись,— повторил он и спросил весело: — Меня не помнишь?

Петька, уже устроившийся в мягком винтовом кресле, быстро повернулся. Парень, озорно щелкнув включателем, улыбаясь, постоял перед ним: на, мол, смотри. Узнавай. И так же неожиданно вырубив свет, ушел в заднюю кабину кипятить чай.

Петька его не признал, но испытал удовольствие от того, что не в первый раз уже узнают его здесь, на БАМе. Видно, запомнился он («намозолил глаза!») в тот приезд. Впрочем, может, помощник и путает его с кем — мало ли тут ребят прошло-проехало перед его глазами...

Машинист сидел в своем кресле легко, привольно, будто отдыхал. Рука словно ласкала контроллер. Дорога впереди была на редкость прямая, и он, видно, сбросил с себя постоянное напряжение, расслабился. Полуобернувшись к Петьке, спросил:

— Знакомы, что ли? Земляк?..

Петька не успел ответить. Вернулся помощник, предвкушая горячий завтрак, довольно потер ладони, объявил:

— Тушенку разогрел, чай готов. Туда пойдешь или принести?

— А ребята поели?

— Уже. Они нам кофе оставили.

— Нет, давай чай. А им мандарины отнеси. Нашел там?

— Да есть у них мандарины,— сказал помощник так, как Петькина мать сказала бы о картошке.— Я им грибов отнес.— Он помолчал и хитровато осведомился: — Кто это тебе маринованные грибки поставляет?

— Иди, иди,— прогнал его машинист.— Чай осты-

нет.— Он сидел уже прямо, подавшись слегка вперед, и широкая сильная рука его лежала на контроллере властно.

Дорога пошла петлять, то справа, то слева обегая невысокие сопки и капризные извивы замерзшего Ольдоя. Петька не увидел, а угадал, как с ходу прошли они Муртыгит. Мелькнули входные и выходные огни, сигнальный фонарь дежурного по станции. Рассвет уже чуть потеснил ночь, разбавил ее голубовато-сиреневым мягким свечением, но не открыл глазам изменений, которые уже были на станции. Петька ожидал увидеть Муртыгит, как прежде, забитый составами, шумный, перегруженный, многолюдный и, открыв окно, высунулся, пытаясь разглядеть удаляющиеся переплетения станционных путей. Но там, позади, за хвостом их собственного состава, казалось, ничего не было, кроме домиков и жилых вагончиков, да ближе к лесу темнели на снегу под непроснувшимися кранами прямоугольники только-только выходивших из земли цоколей многоэтажек.

«Неужели Муртыгит?» — не поверил себе Петька и поднял стекло.

— Неужели Муртыгит? — спросил он машиниста, но тот не расслышал — двигатели гудели громко,— переспросил. А поняв, кивнул.

— Он самый. А что, не признал? Бывал здесь раньше?

— Бывал... Шагу негде было ступить,— прокричал Петька.

— Так это когда-а-а,— протянул машинист.— Год назад?

— Полтора.

— Ну, тогда запарка была. Разгружать негде, да и впрок многие присылали. Старались: раз для БАМа,— значит, скорее. А не всегда это надо. Надо — чтоб в срок. Теперь-то давно «расшились». Порядок на дороге.— Последнее он сказал по-хозяйски деловито, даже чуть хвастаясь.

Помощник притащил чайник, консервы. Попросил Петьку:

— Достань-ка там ложки. В ящичке.

Петька взялся было за ручку, но парень гаркнул:

— Не тронь, куда ты!..— потянул такую же ручку слева, открыл бытовой шкафчик. Загремел в нем ложками, вилками.— А это,— он показал на ту, что торчала рядом,— аварийное отключение дизеля.

Петька запоздало испугался, ушел с кресла.

— Да ты не бойся. Запомни только. А то остановишь на полном ходу.— Он разложил снедь, тронул за плечо машиниста: — Остынет...

— А сам?

— Уже. С той бригадой.

Он сел вместо машиниста за панель с приборами и спокойно взял управление. Машинист так же спокойно принялся за еду, присев на откидную скамеечку, а Петьку усадив обратно в уютное кресло.

— Был такой случай,— добродушно рассказал он, показывая Петьке пример хорошего аппетита.— Тоже вот, вроде тебя, ехал один. Сидел тут же. Из любопытства открыл один ящичек, другой... Потянул третий... Дизель — как оборвало. Тишина. Встали. Что случилось? И он перепугался. Не понял, что сам виноват. Не обратил внимания, что за ручку ухватился. Не сопоставил... Мы по машине лазаем, ищем. И встали-то на таком месте, на подъеме. Потом, когда трогали, растянули состав. Было дело... Да ты ешь,— спохватился он, придвинул Петьке банку с тушенкой.— Не смущайся.

Петька стал рассматривать эти самые ручки и выдвижные ящички у столика, встроенного в углу перед сиденьем помощника.

— Видишь,— показал машинист,— одного цвета, одной формы, рядышком... И написано — едва увидишь. Конструкторы — или кто там, оформители? — виноваты.

Уже заметно светало, но в кабине по случаю завтрака горел свет, и успокоившийся, разомлевший от еды Петька, уже не стесняясь, рассматривал и машиниста — молодого еще, но начинающего грузнеть, и его помощника — мягкого в обращении, симпатичного... знакомого — да, да, явно знакомого Петьке парня.

Покончили с едой, убрали со столика. Машинист закурил, и Петька, втянувшийся за время учебы, закурил тоже.

Помощник продолжал вести тепловоз. Машинист, видно, доверял ему — сидел себе, спокойно покуривая, не смотрел ни на дорогу, ни на приборы. Может, чувствовал машину по звуку двигателя...

— К Пурикану подходим! — крикнул помощник Петьке.— Эй, парень!..

Петька вскочил, приник к стеклу, вспомнил разом и Пурикан — уютный, солнечный, гостеприимный, и железнодорожников, сидевших прямо на рельсах с книж-

кой Драгунского и по-детски беззаботно хохотавших... И высокого, в болотных сапогах парня с удочкой, с мокрой от свежего улова сумкой.

— Слушай! — рванулся к нему Петька.— Вспомнил тебя! Помощник у Ковалева. Владислав. Слава...

И в это время издалека поплыли в морозной матовой дымке два вагончика, сиротливо и неуютно стоявшие в снегу на фоне сумрачной черной тайги, и возле одного — человек с сигнальным флажком, случайный, нелепый и одинокий в вековечной власти словно бы и не разбуженной здесь природы.

— Пурикан,— крикнул Слава и дважды коротко просигналил — победно и властно напомнил суровой здешней природе о силе человека, как будто этим хотел оберечь от нее того, кто стоял со свернутым желтым флажком у самого полотна.

— Это все? — в недоумении прокричал Петька.— Весь Пурикан?

— Разъезд,— спокойно сказал машинист.— Построят потом что надо. А пока — двое живут. Муж и жена. Дежурные. Сменяют друг друга.

Вот как... Было здесь горячее время: рядом — укладка, выемку в скале рвали, мост наводили... Временная станция, поселок. Лагерь студентов в лесу. Теперь: один вагончик — служебный, другой — жилье. И — вдвоем на всю тайгу... Жутковато.

## Глава XVIII
## Терехов! К директору...

Осенью семьдесят четвертого в Аносовской Петьку волновала близость Янкана. Глядя на окрестные сопки, он спрашивал у ребят, где, в какой стороне будет станция? И ему говорили: там, километрах в двух... Показывали куда-то на бесконечную, одинаковую тайгу, взбегавшую к вершинам сопок.

Он смотрел, напрасно пытаясь за что-нибудь ухватиться взглядом, и оставался по-прежнему в неведении: так где же он все-таки, этот будущий железнодорожный Янкан?

...Янкан был впереди: крутой подъем, перевал и «сырой» еще, не доведенный до кондиции путь.

Поезд пошел медленнее — двум «ТВ-3» труднее стало тянуть тяжелый, длинный состав. Машинист вел сам, гудками, а то и по рации переговариваясь с бригадой из второй машины. Управление велось синхронно, и это требовало немалого искусства. На извивах-петлях, высо-

вываясь в окно, Петька видел почти весь изогнувшийся подковой состав, и все-таки каждый раз хвост его оставался где-то внизу, за поворотом, недосягаемый глазу.

Уже наступил день — белый, безветренный, оцепеневший в сорокашестиградусном морозе. Открылись распадки, сопки, и даже солнце угадывалось за наслоением облаков. Природа казалась спокойнее, добрее, чем ночью. Но была и тревога. Она слышалась Петьке в натруженном гудении двух сильных машин, в гудках-переговорах тепловозов, в озабоченности перепачканного маслом помощника. Он то и дело уходил в машинный отсек, возвращался, тер руки ветошью, ворчал: «Масло прет с гидравлического...» И уходил снова. Дважды из-за этого масла останавливали состав, обе бригады колдовали в машинном над гидравликой и каждый раз трогались с предосторожностями, опасаясь растяжки.

Пока шли, вернее, ползли на Янкан, на виражах особенно хорошо просматривалась колея, и Петька поражался: рельсы казались волнистыми, не было в них стремительности, привычной натянутости двух параллельных струн. У подхода к мосту, который при свете прожекторов ночью наводили у Петьки на глазах, с осени оставалась просадка, и это место проходили теперь «на цыпочках».

А дальше была выемка — высокая, живописная, скальная... Понятно, почему ее тогда, в сентябре семьдесят четвертого, так долго и сильно рвали. Сейчас она искрилась изморозью, с одной стороны плавно, бережно обнимала дорогу, выводила ее на самый гребень хребта и, заканчивая свой извив, открывала взору Янкан-станцию. Здесь Петька никогда не был. Знал только, находясь в Аносовской, что предусмотрена она проектом где-то недалеко, километрах в полутора-двух от поселка.

Янкан принял не сразу. Стояли перед красным сигналом светофора, ждали. Слава, несколько раздраженный помехами в пути, был не в духе и на расспросы Петьки — как жизнь, что нового? — неопределенно пожимал плечами: ничего, мол, но могло быть и лучше. От разговора о себе уходил, рассказывал о других:

— Ковалев?.. Георгий Никитович «серебряное» звено в Тынде укладывал. С бригадой Гуреева. Как часы сработали. А Петр Тихонович... Помнишь Москаленко? Суп харчо на Пурикане варил — объедение... Так он уехал. Обратно, на Кавказ. К своей красивой жене.

— А хотел ее сюда привезти,— вспомнил Петька.

— Хотел. Квартиры не мог дождаться.

Он подчеркнул это — о квартире,— не обвиняя, а сочувствуя Москаленко. Петьке почудилось, что и сам Слава чем-то обижен. Хотел вызвать на откровение.

— Полтора года назад ты вроде веселее был...

— Спрашиваешь! Тогда на укладке работали. А когда укладка, самые трудные будни — праздники. Сейчас — грузы таскаем. Нужное дело, да не то. Укладку другие ведут.

Говорил он с заметной горечью, и Петька его понимал. Вспомнил опять ночь, высвеченную прожекторами, махину ПВК — поезд-кран, только что положенные пролеты моста и дружеское участие Владислава, искренне желавшего ему удачи. Теперь Петьке самому хотелось успокоить его, хотя бы словами. И он сказал банальную, в общем-то, фразу, какой успокаивали в свое время его, какую говорят всем, кому не удается попасть на самые горячие точки магистрали.

— БАМ-то большой,— сказал он.— Успеешь еще...— и почувствовал неловкость. Кого он, собственно, успокаивает? И кто он сам, чтобы позволить себе это? Владислав Пронин — бамовец со стажем и уже сейчас имеет право говорить: «Мы проложили дорогу». Ведь Бам — Тында — вот она, работает, тащит несметные грузы для магистрали...

— Да ладно,— согласился Слава.— Это я так... Вот, братья приехали. Теперь почти вся семья здесь.— И рассказал, что Александр — в Кувыкте, прорабом, Геннадий — в Тынде. А на днях приезжает, отслужив в армии, младший, Иван.

Петька вспомнил, что и отец у Владислава — машинист первого класса. Династия... Кстати, спросил о машинисте, который сейчас вел состав — как фамилия, давно ли Владислав ездит с ним.

— Фамилия? — удивился он.— А ты не знаешь? Слепцов...— И выжидающе уставился на Петьку.

Тот промолчал. Слепцов так Слепцов — мало ли какие бывают фамилии.

Но Владислав чего-то ждал от него и, не дождавшись, грубовато спросил:

— Газет не читаешь?

Все, что касалось БАМа, Петька читал жадно. Конечно же не пропустил и многочисленные корреспонденции с митинга, посвященного открытию рабочего движения на ветке Бам — Тында. И все-таки он не знал, что

если машинист Ковалев на торжественной укладке завершающего, «серебряного», звена управлял тепловозом, а бригадир Гуреев, «пришивая» со своими ребятами это звено к полотну, вбил последний, «серебряный», костыль, то машинист Анатолий Слепцов, с которым Петька сегодня гонял чаи, привел в Тынду первый — «сквозной» — поезд.

Он конечно же понимал, что не каждому выпадает такая честь, а уж кому выпадает, тот наверняка этой чести достоин. И радовался тому, что еще увидит Слепцова.

Они все сидели, покуривали, толковали, как старые приятели. Петька достал свои «корочки», не без гордости показал. Наткнулся в кармане на сверток с бурятским сувениром, пошутил:

— Хороший человек. Уль-Тынг. Счастье приносит...

Владислав бережно-уважительно взял его в руки, стал рассматривать. И тут громыхнула дверь, звенящий женский голос позвал:

— Терехов! Есть здесь такой?

Петька обернулся, не понимая, в чем дело.

— К селектору! — крикнула женщина.— Из Тынды звонят.— И исчезла. Спрыгнула со ступенек, проваливаясь в снег, побежала вдоль состава.

Петька стоял в растерянности, а Владислав, посмеиваясь, показывал на лесовичка:

— Это он. Счастье приносит... Кто у тебя в Тынде?

— Никого,— ответил Петька.— Перепутали...

— Иди, иди,— подтолкнул Владислав.— Дежурная по станции приходила. Шутить не будет.

Петька сунул лесовичка обратно в теплый карман и побежал за ней следом, все еще недоумевая, уверенный: не его это, ошибка... Но когда влетел в просторный вагончик-станцию, когда брал долго ждавшую его на столе трубку, уже догадывался: Лена... Неужели она? Как нашла?..

В трубке зашумел-заворчал нарочито сердитый мужской голос:

— Катаешься там, старик, на работу не торопишься...

— Кто вам нужен,— не понял Петька.— Я посторонний.

— Посторонний уже? Ну, хорош...

— Потанин! Ты, что ли?.. Ну и ну...

Потанин был скуп на слова. Ничего не объяснил, торопился.

— Ладно, старик. Пока. Тут вот тебе пару слов хотят...

И тогда он услышал Лену. Запомнившийся с первой встречи округлый, быстрый говорок, характерное придыхание. Знакомы, значит, понял он.

— Как поедешь-то? — смеялась в трубку Лена.— Мост на сто девятнадцатом провалился.

Ну и шуточки здесь, на БАМе.

— Отремонтируем и проедем,— не растерялся Петька.

— Не слышу! Не слышу! — закричала Лена.—Ты, когда говоришь, клавишу там, на трубке, нажимай. Нам разрешили... Что? — спросила она кого-то рядом и ответила послушно: — Сейчас... Петь! Петя! — закричала опять.— Все! Нельзя больше... До свидания. Спасибо,— поблагодарила она того, рядом, видно, диспетчера. И в трубке зашелестело, защелкало. Связь оборвалась.

Петька вышел из вагончика сияющий.

## Глава XIX
## По соседству с Аносовской

Локомотивные бригады менялись именно здесь, на Янкане. Передав сменщикам длиннохвостый тяжелый состав, а с ним и свои обязанности, машинисты и помощники с обеих машин уходили отдыхать в Аносовскую, название которой не было теперь для Петьки абстрактным, будило воображение и рисовало легендарный образ горняка — инженера Николая Павловича Аносова, здесь, на Янкане, и в долине Джалинды сто лет назад открывшего золото.

Стояла она недалеко, за лесом, и Петьку тянуло туда, хотелось глянуть на светлые ее дома и прямые улицы, узнать, что изменилось, как смотрится она в зимнюю пору. Хотелось отыскать журналиста и плотника Володю Малькова, Гришу Лабоду, Валеру Стасенко, Олега Костюкова — «дерзких» парней — мостостроителей, артистов из «Серебряного звена», которые, впрочем, наверняка работали уже где-нибудь севернее или восточнее Тынды.

Если бы поезд уходил по расписанию и времени до отхода хватало, Петька сбегал бы по морозу в поселок. Но гарантии, что успеет вернуться, не было, и он, чуть проводив Слепцова и Славу и успев при этом ознобить уши, вернулся на станцию, уже сейчас довольно большую, с высокими коробками будущих домов, голубыми, зелеными, желтыми временными домами-вагончиками.

Высоченные краны поднимали из земли фундаменты еще двух то ли служебных, то ли жилых зданий. Особняком стоял под крышей внушительный остов из железобетонных опор. Чем он после окажется — узлом управления? Пакгаузом?.. На путях дожидались отправки взобравшиеся сюда, на гребень, с разных сторон и словно бы уставшие от подъема составы. С севера шел порожняк, с юга — всевозможная строительная техника, железобетон, сборные дома, товары для строителей... Но больше всего — техника.

Ко всему этому вплотную подступала тайга. Вернее, она отступила ровно настолько, чтобы люди могли поставить здесь не «маленькую, таежную», как он считал раньше, а самую крупную от Бама до Тынды станцию, и не собиралась отходить дальше, превратившись в ее живописную оправу.

В станционном вагончике было людно. На лавках вдоль стен сидели, грелись ребята-составители. Ожидала машину на Аносовскую многодетная семья с десятком сумок и чемоданов. Глава ее, по-видимому, кадровый строитель, уже бамовец, ездил встречать жену и троих детей к транссибирскому экспрессу и вез их сюда самым лучшим образом — в кабине тепловоза.

Дети сидели как воробьи на морозе — нахохлившись, безучастные, сонные, измотанные трудной дорогой. Отец обеспокоенно названивал в Аносовскую — справлялся о машине. А женщина — неприметная, маленькая, но уж наверняка смелая и решительная, иначе не отважилась бы на такое путешествие, да еще зимой — стояла у окна и с любопытством разглядывала невеселый в эту пору, неприветливый янканский пейзаж.

Дежурная по станции, женщина накануне пенсии, передавала смену длинноволосому и какому-то несерьезному на вид парню. К изумлению Петьки, он оказался не просто очередным дежурным, а начальником станции и носил фамилию звонкую, веселую и, пожалуй, весеннюю — Березко.

Березко был недоволен работой женщины, сдавшей дежурство: загородила составами вагоны с грузом на Тынду, а их надо цеплять к прибывшему поезду. Не отправила порожняк на Бам, хотя была такая возможность. И, наконец, плохо протопила печь, выстудила вагончик.

В сердцах он громыхнул холодным чайником, заглянул зачем-то в давно остывшую печь, будто искал там остатки былого тепла, и не выдержал:

— Веселое дежурство предстоит!

Между тем его предшественница собралась домой и теперь раздумывала: бежать через лес или дождаться машины. Березко уже не обращал на нее внимания. Проверял какую-то документацию, записывал что-то в журнале. Оторвался, спросил, ни к кому конкретно не обращаясь:

— Как на сто одиннадцатом?

— Да все так же,— ответил парень из составителей.— Порожняк с Беленькой перегоняли, так машинист говорил.

Только что сменившаяся дежурная будто и не слышала вопроса. Она казалась удивительно случайной, чужой в этом служебном вагончике. Более чужой, чем только что приехавшая женщина и даже ее младший, лет четырех, мальчонка. Петька подумал, что дежурная, пожалуй, не любит свою работу и занимается ею, только чтобы дотянуть до пенсии и получить приличное — а оно таким и будет — пособие. БАМ для нее сейчас выгоден, хотя она БАМу вряд ли нужна. Но... именно она бежала по глубокому снегу вдоль путей далеко за станцию для того, чтобы позвать Петьку к селектору. И он видел за этим доброту, которую ценил в людях.

Березко еще оторвался от бумаг, сказал Петьке:

— Сейчас отправлять будем. Идите...— И сам, позвав составителей, тоже пошел к забитым вагонами путям «разбираться на месте». Покрепчавший мороз, безветренный и потому не обжигающий сразу, леденил както исподволь, сковывал, перехватывал дыхание, отнимал силы.

## Глава XX
## Чертов мост

— Самый опасный мост,— сказал машинист, не Слепцов, а другой, сменивший его в этом кресле. Сказал негромко и вроде бы самому себе, но Петька услышал. И услышал ответ:

— Чертов мост, чего же ты хочешь?..

Возле машиниста стоял ехавший с Янкана путевой мастер, которого и он, и помощник называли просто Володя. Все они внимательно смотрели вперед.

Петька ждал этого моста. Он помнил все до мельчайших подробностей: вытекающую из тайги наезженную КрАЗами и «Уралами» дорогу, вагончики строителей, уникальный турбобур, автоприцеп, превращенный в сцену, самодеятельных артистов, так и не сменивших

робы, резиновые сапоги и щит с надписью: «Мост, 91-й км. Сдача под укладку... Окончание работ...»

Он был тогда далеко впереди укладки — трудный, с мерзлотой, с плывунами, с огромным объемом работ. Он потом «держал» строителей, этот мост посуху, переброшенный над распадком между двух сопок, и его сначала обошли, положили временную — обводную — дорогу, а теперь поезд шел к мосту по главному пути, и Петька таращил глаза — боялся просмотреть, упустить даже самую малость. Боялся не узнать «объект девяносто первый», как называли его парни-строители из мостопоезда номер тридцать четыре.

Но сразу узнал. Далеко внизу, под мостом, вознесенным над распадком на высоких прочных опорах, вытекала из тайги на поляну заснеженная, не тронутая колесами дорога. Сверху было заметно, что поляна — всего лишь вырубка, бывшая строительная площадка. На ней еще оставались какие-то столбы. Петьке показалось даже, что он видит грубо сколоченный стол, на который девчата метали тогда исходившие паром миски со щами...

Поезд шел по мосту очень медленно, на ощупь, словно пересчитывая всеми колесами уложенные на постоянных опорах железные ребра временных конструкций. Шел долго. Мучительно долго. И пока последний вагон не оказался на твердом земляном полотне, никто в кабине тепловоза не проронил ни слова.

Зато потом все оживились, помощник с путевым мастером заговорили на охотничьи темы, и Петька понимал, почему.

Вдоль дороги, на снежной целине, как на белом листе бумаги, читались всевозможные — длинные, круглые, в одинарную, двойную и чуть ли не в тройную строчку — следы. Сам он был в этом смысле безграмотен, спросить стеснялся, но, поскольку охотники говорили о диких козах, зайцах, лисах, медведях, о тетеревах и куропатках, пытался угадать, кому из них какие отпечатки принадлежат.

— Тетерева да куропатки все покрытие с дороги растащат,— смеясь, показывал кондуктор на массу следов, ведущих к полотну.— Камешки на путях собирают. Удобнее, чем из-под снега в тайге.

От самого Янкана вблизи, параллельно новой колее, тянулось как бы разорванное и сшитое железобетонными мостами полотно старой, довоенной дороги, вызывая сомнение: а надо ли было вновь рубить лес, возить землю,

отсыпать, строить мосты... Ведь не ради автодороги, возникшей на старой просеке, сделано это?

— Нет, конечно,— пояснил Петьке разговорчивый путевой мастер.— На новой меньше уклонов, меньше кривых. Значит, больше скорость, больше безопасность. Отсюда — на глаз — не видно. Кажется, обе дороги в одних условиях...

Они так и бежали рядом до самой Заболотной — дружно и родственно. Одна — пострадавшая от войны, скромная, готовая служить людям в любом качестве. И другая — получившая известность еще до рождения, красивая, звонкая, с большим и завидным будущим, призванная разбудить и открыть людям богатый, но до поры до времени скупой и суровый край.

К вечеру становилось еще холоднее, в кабине чаще включали калорифер, прежде чем опустить стекло и, высунувшись, оглядеть нетронутую первозданную красотищу, Петька стягивал на подбородке ушанку, поднимал куцый цигейковый воротник. Лицо тут же обдавало холодным, режущим жаром, перехватывало дыхание, стыли во рту никогда не болевшие здоровые зубы. Бесконечные, со всех сторон закрывающие горизонт сопки казались собранными сюда со всего света, и трудно было поверить, что каждая когда-то кем-то открыта и названа. Впрочем, в этих местах сколько угодно сопок, на которых не бывали даже охотники.

Обжигаясь морозом, принимая в распахнутую душу гармоничное великолепие природы, Петька вдруг ухватил глазом что-то постороннее. Какое-то несоответствие. Ухватил на мгновение, тут же потерял, но за его спиной произнесли: «Сто одиннадцатый», и он все понял. Лена писала: наледи...

Вода пробивалась из земли, из-под снега и льда, парила, растекалась на бугристой, желтоватой поверхности, неотвратимо наращивая слой льда такими же нездоровыми, отвратительными оплывами. Эту изъязвленную коросту долбили ломами и кайлами солдаты-строители, чистили уже пробитую траншею, пытались отводить по ней вроде бы и не подвластную законам физики воду.

В полдень держалось здесь минус сорок три, сейчас, к вечеру, температура упала ниже, а вода сочилась, лилась, текла по участку, и мороз, коварства которого не выдерживало железо, был бессилен унять ее.

— ...А в прошлом году? — спросил Петька у помощника машиниста. Тот только махнул рукой.

— В прошлом вагончики по маковку в лед вмерзли. Да и сейчас: тепловозы идут, а машины стоят. Совсем залило автодорогу. До поверхности моста сорок сантиметров осталось...— Путевой мастер Володя знал все и, пока ехали до Заболотной, рассказал не только про эту зимнюю речку, как злого джина выпущенную неосмотрительными строителями из-под земли, но и о тех беспрерывных летних дождях, которые, как писала Лена, могли соперничать с тропическими ливнями.

Дожди эти наделали дел: образовали раковины на подходах к мостам, залили станционные вагончики, легкомысленно поставленные в низинах, попортили связь. Другими словами, обнаружили все самые уязвимые места. И это было, пожалуй, не столько плохо, сколько хорошо. Природа сделала проверку на качество работ. Строители приобрели опыт.

Станция Заболотная, как и Пурикан, промелькнула двумя маневровыми путями, двумя вагончиками, над трубами которых, вытянувшись двумя длинными шестами и не шелохнувшись в безветрии, стояли дымы. И опять машинист сбросил скорость, «на цыпочках» (пять километров в час) стал подходить к очередному мосту — тому самому, на сто девятнадцатом.

«Провалился»,— смеялась по селектору Лена. Ну, не провалился, конечно, понимал Петька, но что-то с ним есть, с этим довоенным еще мостом. Тепловоз тянул состав со скоростью медленного человеческого шага. Володя в одном форменном пиджачке — то ли не успел, то ли забыл накинуть полушубок — выскочил прямо в снег, убежал вперед. Ходил там по мосту, толковал с инженерами-мостостроителями, потом поднялся в заднюю кабину, попросил машиниста, ехавшего там пассажиром, последить за приборами на щитке: боялся саморасцепа.

Белая и черная стрелки манометра чуть вздрагивали, но вели себя, в общем, прилично. А сам Володя, высунувшись в окно, зорко следил за вагонами.

Наконец люди с моста ушли, и на него осторожно вполз первыми своими колесами тяжело груженный состав. Он тянулся по мосту бесконечно долго. Машинисты и помощники на двух тепловозах работали напряженно и... ювелирно. Путевой мастер так и стоял без пальто, до пояса высунувшись из окна. И даже Петька, бесполезный сейчас, безответственный пассажир, ощущал не только тревогу, но и болезненное мускульное

напряжение во всем теле, словно и он тянул — вытягивал с неблагополучного моста груженный машинами тяжелый поезд.

Состав, изогнувшись подковой, двигался почти незаметно, и все-таки наступил момент, когда последний вагон с кондуктором на тормозной площадке благополучно миновал ненадежное пока, подлежащее модернизации «искусственное сооружение».

Не успели бригады отдохнуть на участке более благополучном, как снова — скорость до пяти километров, внимание — на приборы и стовагонную змею состава. Снова мост, на этот раз новый, на сохранившихся старых опорах, высоченный, пятипролетный... Его наводили в декабре на таком же безветренном, как сейчас, но более жестоком морозе. Минус шестьдесят показывал северный — особый — термометр, потому что обычный, предел которого пятьдесят — пятьдесят пять градусов, здесь не годится.

## Глава XXI
## Конец пути — начало дороги

Двенадцать часов в пути. В кабине тепловоза. А всего Петька не спит уже тридцать четыре часа. Путевой мастер Володя, заприметив его состояние, гонит в заднюю кабину: «Иди, парень, вздремни». Там свободны оба кресла — все «пассажиры» собрались здесь, возле машиниста, ждут отправления, пошучивают, обсуждают состояние пути.

— В прошлом году от Заболотной до Беленькой по десять раз состав разорвет. Рельсы горбатились и косили.— Это говорит кондуктор со станции Тында, бывалый человек, общительный.

— В прошлом году... А сколько же шел от Бама до Тынды первый состав?

— Сутки,— спокойно отвечает машинист.— Дошли до Заболотной и ждали...

— Чего ждали? — не понял Петька.

— Приказа двигаться дальше.

А он-то думал: бежит этот первый, «сквозной» поезд по свеженькой ветке во всю прыть и точнехонько прибывает в Тынду к самому митингу. Глупо, конечно, думал. Проложили дорогу — это верно. Дорогу все еще строят — это тоже верно. Подгоняют, выравнивают путь, переносят с проектов на «местность» разъезды и станции,

монтируют автоматическое управление... Подбирают и учат кадры.

Когда все будет сделано, передадут ветку МПС. И тогда уж не проехать в тепловозе, запросто беседуя с машинистом. Пассажирский поезд, плацкарта, купе... «Постель берете?.. Вагон-ресторан открыт до одиннадцати...» Какой подарок — видеть рождение дороги! Какое счастье — быть ее строителем!

Он ушел все-таки в пустую кабину, сел в кресло перед приборным щитком. Поезд тронулся. Многолюдная, заставленная жилыми вагончиками Беленькая, словно прощаясь, тянула вслед стрелы желтых огромных кранов.

Похоже, он задремал. Проснулся от характерного перестука колес, бегущих по мосту, и удивился: колеса бежали по мосту бойко и весело. За окном поднимались высокие и крутые сопки, изящно изгибалась самоуверенная река Тында.

Нет, спать было нельзя. Он стал думать о Лене. (Имя-то ведь прямо бамовское: Лена — река, Лена — станция. Западный участок...) О ее нелепом и очень милом звонке. (Надо же — упросила диспетчера, разыскала на линии... С Потаниным они, должно быть, просто знакомы. Кстати, почему его все зовут только по фамилии?..) О том, что завтра он разыщет ее.

Поезд шел великолепно. Забылась тревога, пластунские переходы всех чертовых мостов. Впереди была Тында — город строителей, столица всей магистрали, резиденция начальников и кадровиков, которые теперь не скажут ему «нет».

Пришли Володя и кондуктор из Тынды. Петька поднялся было, но его усадили обратно, устроились: один — на откидном, другой — в кресле помощника. За окном было уже темно, и приборы уютно, мягко светились в полумраке кабины. Все стрелки жили, пульсировали, повторяя показания приборов головной кабины, молча докладывали о состоянии механизмов, наличии горючего, масла, воздуха (в тормозной системе). Все было в норме. Трудный рейс заканчивался благополучно.

На гвоздике у окна висел чей-то транзистор. Петька снял его, поймал «Маяк». Песня о веселой и грустной девчонке... Опять — Лена. Это — о ней.

Ремешок от кожаного чехла транзистора упал на стекло манометра, Петька стал подбирать и замер от

неожиданности: стрелки вздрогнули и безжизненно опали, скатились по циферблату влево. Состав продолжал идти, дизель работал ровно.

Он постеснялся сказать. Кто знает, может быть, так и надо... И вместе с тем прекрасно понимал: что-то произошло. Пока раздумывал, уловил: поезд сбавляет ход. Но еще раньше поняли, в чем дело, кондуктор и путевой мастер. Не дожидаясь остановки, спрыгнули с тепловоза. Высунувшийся вслед за ними Петька видел, как с обеих машин прямо в глубокий снег, в ночь попрыгали и железнодорожники, ведущие состав, и пассажиры — тоже, впрочем, железнодорожники. Покричав что-то друг другу, все, кроме главного машиниста, убежали в хвост состава искать оторвавшиеся вагоны. Нашли не скоро, а потом километра два медленно пятились, цепляли, и опять увлеченный делом Володя бегал в одном пиджачке, а когда вернулся — долго вытряхивал снег из валенок.

— Надо же! — недоумевал он.— Боялись растянуть на мостах, а потеряли хвост у самой Тынды.

На ЧП потратили часа полтора, лишившись при этом доброго расположения духа. Подходили потом к станции тихо, словно бы виновато. А она не торопилась принять, и поезд остановился у переезда.

Кое-кто сошел. Петька же остался в тепловозе. Города он не знал, ночью идти было некуда, и самым разумным казалось доехать до станции. Там, может, и скоротать ночь.

Он перешел в головную кабину и стоял у окна один, рассматривая недалекие огни Тынды. В кармане дремал уставший за день бурятский лесовичок, неожиданно получивший имя Уль-Тынг, и Петька ощущал его угластое деревянное тело. Надо было затянуть рюкзак, найти книгу, которую он так и не раскрыл в дороге, но не хотелось уходить от окна, и он все стоял, смотрел на невидимый в ночи город и думал о том, что вот кончается для него этот путь — Малый БАМ, небольшая веточка Большой Магистрали. Кончается в Тынде. И с Тынды начинается ЕГО ДОРОГА.

Поднялся в тепловоз машинист, тронул его плечо.

— Пришли за тобой,— сказал он.— Встречают...

Петька кинулся затягивать рюкзак, но в кабину уже входил шумный, улыбающийся Потанин.

— Привет, старик! Что не выходишь?

Он кинул рюкзак на плечо, Петька подхватил чемо-

дан, скороговоркой попрощался с бригадой и, вдруг разволновавшись, остановился в дверном проеме.

Потанин уже был внизу, держась за поручни, ждал Петьку. А рядом стояла девушка в отороченной мехом шубке, пушистой песцовой шапочке и, несмотря на мороз, в высоких модных сапожках. Она чем-то напомнила Петьке Тонечку из НИИ, быть может, сапожками, но Тонечка тут же забылась, а Лена подошла ближе и сказала просто, улыбчиво:

— Ну вот... Приехал.

# ПОРТРЕТ НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

## Глава I
## Совесть требует

Его звали Григорий. Григорий Руденко. Веселый, бедовый парень с озорными, насмешливыми серо-зелеными глазами. Казалось, глаза эти не умеют ни грустить, ни сердиться, и только Марийка знала, как мгновенно могут они выцветать, гаснуть под нарочито равнодушным ее взглядом.

Он любил эту шуструю черноглазую девчонку — дочь старого плотника Степана Кравчука. Для нее воровал в церковном саду груши, из-за нее подрался с местным сердцеедом Петром Спасским, о ней писал украдкой стихи. А когда решился на свой первый в жизни самостоятельный шаг, к ней одной пришел посоветоваться. Пришел вечером, когда старый Кравчук был дома. Степенно, как солидный, уважающий себя человек, поздоровался со всеми и почтительно попросил хозяина:

— Мне бы вашу дочь... для серьезного разговора.

Марийка покраснела и, отвернувшись, закрыла лицо передником.

Григорий стоял у порога решительный и серьезный, мял в руке новенькую, с лакированным козырьком фуражку и выжидающе смотрел то на Марийку, то на ее отца. Кравчук спрятал в усах веселую ухмылку, деловито сказал дочери:

— Ждет тебя человек... Ступай. Только передник-то не забудь снять.

Марийка не знала еще, как это объясняются в любви. Не знала как «предлагают руку и сердце». Но в ее представлении жених всегда выглядел серьезным и степенным, точь-в-точь таким, каким на этот раз предстал перед отцом Григорий. Она сняла передник, накинула на плечи шубейку. Испуганная, смущенная, вышла следом за Григорием на улицу. Через заснеженные огороды спустились к реке, остановились возле перил на скрипучем дощатом мостике, и Григорий сказал:

— Думаю я, Марийка, самостоятельную жизнь начать.

У нее часто забилось сердце.

— С отцом своим еще не советовался, хочу знать, что ты скажешь.

Григорий взял Марийку за руку, и она не отшатнулась, не отодвинулась от него, только насторожилась и с каким-то радостным испугом ждала, что скажет Григорий дальше. Она подумала даже: а что скажет сама? Что ответит? Наверно, совсем не ответит. Ведь она, Марийка, не знает еще, любит ли Григория.

Низко мела по застывшей реке сухая снежная поземка, далеко за продрогшей рощицей догорали слабые отсветы зимней зарницы. Григорий заглянул Марийке в глаза и сказал:

— Ты ведь, конечно, знаешь, что́ там, на Урале, затевается. У горы Магнитной...

Это было так неожиданно, что Марийка отняла руку и отступила на шаг.

— Ты что,— по-своему истолковал ее удивление Григорий.— Не слыхала?

И он торопливо, горячо стал объяснять, что еще в восемнадцатом году на заседании Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин говорил об огромных рудных богатствах Урала, и в первую очередь горы Магнитной. Об использовании этих богатств. Конечно, в те годы только планировать можно было. Не до строительства... Знай лишь от белой сволочи отбивайся...

Григорий говорил это серьезно и деловито. Таким, как сегодня, Марийка никогда прежде не видела его. Она всегда считала Григория своим сверстником, а он будто намного старше. Всегда болтала с ним о веселых пустяках, а его занимают, оказывается, такие проблемы...

И ей стало стыдно своего недавнего желания услышать от Григория ласковые слова.

— Ну а теперь — сама знаешь...— на этот раз он покосился на нее с неуверенностью,— решение ЦК партии есть. О строительстве комбината.

Да, Марийка знала. Слышала от отца. Но ведь Урал — это так далеко от Украины! Там будут строить заводы, добывать железо из какой-то Магнитной горы... При чем же здесь Григорий, при чем она? И будто угадывая ее мысли, Григорий коротко закончил свой длинный и особенный разговор:

— Решил я туда поехать. На строительство. Совесть требует.

Он сказал это так твердо, что Марийка поняла: решил. И не советуется он с ней, а просто делится. Просто хочет, чтоб знала об этом его решении.

— В райком заявление отнес. Может, через неделю уезжать,— спокойно добавил Григорий.

Через неделю он действительно уехал. И не один, а во главе целой компании сельских хлопцев, среди которых был даже Петр Спасский. Последние дни перед отъездом все они держались вместе. Измозолили географическую карту, выучили наизусть города и станции, которые предстояло проезжать. Из рассказов, из книг набрались знаний об Урале. Больше того, еще не уехав из родного села, они, казалось, полюбили далекий холодный край, куда прежде ссылали каторжников и куда никто не уезжал по доброй воле.

На вокзале Григорий у всех на виду поцеловал Марийку и громко предупредил:

— Построим город — за тобой приеду. Так и знай!

## Глава II
### Годы, события

Стали приходить письма. С дороги, со штемпелем далеких станций и городов. И наконец с места. С места письма шли бесконечно долго. И особенно тщательно был выведен на них обратный адрес: «Уральская область, Магнитострой...»

Марийка нетерпеливо раскрывала треугольники, торопливо прочитывала густо исписанные листы, прятала их в книжках на этажерке, потом доставала, перечитывала, прятала снова. Это были даже не письма, а, скорее, странички из дневника. И рассказывали они о событиях так подробно, что Марийка будто сама видела людей, о которых шла речь, видела небо, под которым они живут, землю, на которой строят крупнейший в стране комбинат. И если бы даже не читала в газетах, она не упустила бы ни одного события из тех, что происходили на стройке.

*1929 год, март.*

...Степь. Угрюмая, холодная, бескрайняя. 145 километров от последней железнодорожной станции. Оседает потемневший мартовский снег, тает под тусклым, невеселым солнцем, смешивается с рыжей глинистой грязью. Бездорожье...

И по этому бездорожью, по этой неприветливой степи идут люди, тянутся подводы. Стонет недобрый ветер, угрюмо вздымаются над степью голые, безлесые горы. К подножию одной из них — самой мрачной и самой большой — днем и ночью стекаются со всех сторон люди. Русские, киргизы, татары, казахи, украинцы... С Дона, с Днепра, с Кубани, с привольной и полноводной Волги. Выгружают с разбитых дальней дорогой телег и местных уральских тарантасов полотняные палатки, по-хозяйски осматриваются.

Да, невесело.

Григорий выбирает для палатки место повыше, натыкается на тяжелые, осклизлые от талого снега глыбы — не то камни, не то огромные комья земли. Чуть не падает и со злостью пинает край глыбы тупым носком сапога.

— У, черт!..

Подходит Венька Чуйков — новый дружок Григория, рыжий разбитной парнишка. Приседает на корточки и чуть слышно благоговейно произносит:

— Смотри-ка ты! Руда...

Григорий тоже наклоняется. В изломе глыба тусклого пепельного отлива с крохотными зернами кварца.

— Окисленная...— завороженно шепчет Венька.— И на самой земле. Богатство-то какое!..

Он тагильчанин, потомственный металлург. И отец и дед работали на старом демидовском заводе, а сам Венька полтора года был подручным сталевара, так что по части металлургии он для Григория авторитет.

И Григорий проникается еще большим уважением к земле, на которой стоит, к хмурой горе Магнитной, так неприветливо встретившей новоселов.

*1929 год, май.*

...У подножия горы Магнитной вырастает палаточный городок. Строители расчищают площадки, роют котлованы, сколачивают бараки-времянки. От станции Карталы тянут к Магнитке железную дорогу, а пока 145 километров бездорожья все еще «отделяют строителей от мира». Подводы идут медленно, застревают в грязи и не успевают подвозить инструменты, материалы, продовольствие.

А потом приходит в палаточный городок весна. Приветливее выглядят под ласковым солнцем унылые горы, буйной зеленью одевается степь. Длиннее становятся

дни, больше успевают строители сделать дотемна. Приходит к новоселам лирическое настроение, и по вечерам слышит бескрайняя степь привезенные сюда со всей страны песни. На тридцати шести языках.

Григорий слушает их и думает о Марийке, при свете керосиновой лампы пишет ей длинные письма. А иногда уходит с Венькой и Абдуллой Аламовым — колхозным пастухом из-под Казани — через степь, через мелкий, похожий на ручей Урал в старую казачью станицу Магнитную. Там любят старики рассказывать хлопцам о давних временах, когда по царскому указу переселили сюда казаков из далеких придонских степей и велели строить крепость, которая охраняла бы оренбургскую пограничную линию.

Казаки приехали с семьями, обосновались и полтора века враждовали с местными белорецкими мужиками, работавшими под горой. Летом те долбили кайлами руду, ссыпали в кучи, зимой везли санными обозами за сто верст, к заводу. Казаки же считали, что гора на их земле, и не разрешали вывозить руду, хотя сами ею не пользовались. Избивали возчиков, опрокидывали сани... И только когда прибывало из Белорецка заводское начальство, когда выкатывали казакам бочку водки и подносили коменданту крепости подарки, конфликт улаживался. До другого раза.

...Григорий, Венька и Абдулла сидят где-нибудь на завалинке добротного высокого пятистенка, смотрят, как разгорается и притухает в темноте тяжелая казацкая трубка, и слушают о походе Пугачева, о том, как брал он в 1774 году крепость Магнитную и как на Белорецком заводе работные люди отливали для пугачевского войска пушки. Железо для этих пушек выплавлялось, между прочим, из руды горы Магнитной.

Григорий старается представить себе этот Белорецкий завод с одной маленькой домной, с тесовым забором вокруг дымных цехов, и не может. Другая картина занимает воображение. Просторные, светлые корпуса... Высокие, чуть не под облака трубы... Умные, сильные машины... Переплетения подъездных путей... И — город! Настоящий большой город на месте этой бескрайней степи. С прочными каменными зданиями, красивыми улицами, площадями, бульварами.

Парни возвращаются домой и по дороге наперебой мечтают. Абдулла закатывает до колен штанины, захо-

дит в прохладный мелководный Урал, сыплет татарской скороговоркой:

— Кто-нибудь потом меня не поверит, что по Урал пешком бегал. Кто-нибудь потом от один берег до другой на пароход плыть будет.

— Почему «кто-нибудь»? — поправляет Григорий.— Мы же сами и не поверим.

Проходят брод, натягивают сапоги и продолжают мечтать:

— Сейчас вроде по комбинату уже идем.

— Нет, по городу. Комбинат правее будет.

Хмурая, голая, лежит под черным небом уральская степь, а ребята видят в этой степи огни будущего комбината, зарева над гигантскими домнами. В мертвой, застывшей тишине слышат дыхание машин, гул мартенов... Больше того, они слышат шелест листьев на тех деревьях, которые будут расти вдоль широких и стремительных улиц нового города...

*1929 год, сентябрь.*

...Жители палаточного городка строят к зиме бараки. Строят быстро, но живут по-прежнему в палатках, потому что со всей страны прибывают энтузиасты и гостеприимные «старожилы» отдают бараки новоселам.

Григорий, Венька, Петр Спасский и Абдулла Аламов вот уже шестой месяц живут в одной палатке. Спят по двое на одних нарах, едят по двое из одного солдатского котелка. Сегодня они должны были переселяться в барак, который выстроили вместе с бригадой плотников. Еще вставляли стекла и навешивали двери, когда Петр перетащил в крайнюю комнату (подальше от кухни!) все их нехитрые пожитки. Но в этот день приехали волжане-каменщики...

Встретили каменщиков, как и других, по-деловому. Наскоро пожали им руки, дали работу. Разную, непривычную, так как кладка еще не велась. Густо, как солдат в казармы, расселили в четырех «резервных» комнатах этого самого барака. И все-таки на всех места не хватило. Пятеро новичков топтались в коридоре, сидели на стружках, опилках, еще не убранных строителями.

Григорий постоял возле них, поговорил, покурил с ними, потом пошептался с Венькой и подвел новоселов к своей комнате:

— Устраивайтесь...

Он открыл только что навешенную дверь и нос к носу столкнулся с улыбающимся Петром. Увидев за спиной Григория компанию вновь прибывших парней с котомками и чемоданами, Петр перестал улыбаться. Зло, грубо спросил:

— Куда это? На готовенькое?..

Парни попятились, а Петр тоном победителя прокричал им вдогонку:

— Ишь, понаехали!.. А где спервоначалу-то были? Голубчики...

Григорий закрыл дверь, шагнул к Петру, взял за грудки и, ни слова не говоря, тряхнул его. Потом молча собрал вещи всех четырех и отнес обратно в палатку.

Когда Петр полез вечером на нары, Григорий, не говоря ни слова, поднялся, перешел к Веньке и Абдулле, и они стали спать втроем на одних нарах.

*1930 год, март.*

Закончено строительство железнодорожной ветки Карталы — Магнитогорск. В степь, где год назад паслись табуны диких лошадей, приходит первый поезд. Собственно, это уже не степь, а гигантская строительная площадка. Первый поезд встречают не только строители. На лошадях, на волах, на верблюдах приезжают посмотреть на невиданное зрелище жители далеких башкирских аулов и казачьих станиц. Многие видят паровоз впервые и шарахаются от его пронзительного гудка. С этой минуты, не переставая, стучат по новым рельсам колеса, идут на стройку поезда, груженные лесом, конструкциями, оборудованием. С этой минуты ленивей и раздражительней становится Петр Спасский. Ребята замечают, каким лихорадочным взглядом смотрит он иногда на убегающий из Магнитки стальной путь, с какой завистью провожает глазами порожняк.

*1930 год, май.*

Снова приходит весна и на этот раз застает Григория, Веньку, Абдуллу и Петра в теплой, сухой комнатушке обжитого уже барака. Все они по-прежнему много работают. Григорий по-прежнему пишет Марийке длинные письма и прикидывает в уме, когда наконец можно будет съездить на родину. Всего на три дня. За ней, за Марийкой. Венька просвещает Абдуллу в области металлургии, а Петр откровенно ненавидит неустроенную барачную жизнь, черновую работу, фанати-

ков строителей. Если бы не было стыдно перед Григорием, он давно бы уехал. Ушел бы пешком по бездорожью, когда еще не ходили поезда, когда первая железнодорожная станция была еще в 145 километрах отсюда.

Он возвращается с работы усталый, раскисший, злой, жалуется на несправедливость мастера, на твердый грунт (лопату сломаешь!), на то, что по утрам заморозки, а днем жара, что он сдохнет от цинги, потому что нет здесь ни фруктов, ни овощей.

Венька хватает кепку и уходит из дому. Петр продолжает ныть, и Григорий не выдерживает. Распахивает настежь окно, подталкивает упирающегося Петра и кричит:

— Хлюпик! Слюнтяй! Смотри, паразит, что делается!

За окном — стройка. Зияют гигантские котлованы, поднимаются к небу остовы будущих цехов, растут корпуса первых двух домен. Снуют машины, подводы, трудятся десятки тысяч людей.

Петр отстраняется, осторожно, неумело оправдывается:

— Я ведь с Украины. Тоскую здесь. Не могу...

— А я, по-твоему, откуда? — взрывается Григорий. — Здесь родился? Я, думаешь, не тоскую? Яблоневые сады по ночам снятся. За кринку парного молока, кажется, душу б отдал... Только — ни черта! Пусть яблоневые сады здéсь цветут!

Петр отступает в угол, смотрит оттуда злыми холодными глазами и говорит упрямо, ненавидяще:

— Сказки! Такой собачьей житухе конца-краю не будет.

Григорий, как и Венька, тоже хватается за кепку, но у порога резко поворачивается:

— Уезжай! Проваливай!.. Чтоб духу твоего здесь больше не было. Увижу еще — за себя не ручаюсь...

И Петр уходит. Садится вечером на товарняк и воровски удирает.

Григорий, Венька и Абдулла сжигают оставшиеся от Петра сентиментальные открыточки, розовый шарф и галоши, начисто выметают пол и остаются втроем — три парня, сыновья разных народов одной великой страны. До кровавых мозолей стирают они себе ладони на рытье котлованов и траншей. Обливаются пóтом в жару, когда рыжей, словно Венькины волосы, становится выжженная солнцем степь, когда трещинами покрывается

земля и до узкого ручья пересыхает Урал. Промерзают до костей, когда мечется по степи и стонет снежный буран, когда рушатся от бешеного ветра строительные леса, а термометр показывает сорок градусов. Но они счастливы, эти романтики-землекопы. Потому что умеют не только мечтать,— умеют здорово драться за свои мечты и — выходить победителями.

*1931 год, март-апрель.*

Под руками Григория, Веньки, Абдуллы и еще тысяч таких, как они, плотина вырастает за 155 дней, и первый же паводок высоко поднимает воду. Она заливает старую крепость, прячет глубоко на дне огромного водоема то мелкое удобное место, где три мечтателя переходили Урал вброд.

*1931 год, 5 июля.*

Собирается многочисленный митинг строителей. Гремит музыка, полощутся по ветру знамена. Торжественно зачитывается акт о закладке города Магнитогорска. Этот исторический документ зарывают на дне котлована, приготовленного под фундамент первого дома. И среди тех, кому выпала эта честь,— Абдулла и Григорий.

*1932 год, 1 февраля.*

В Москве на трибуну 17-й партийной конференции поднимается Михаил Иванович Калинин и читает телеграмму: «...в 9 часов 30 минут вечера получен первый чугун магнитогорской домны № 1...»

Зал встает, и овациям нет конца. Задута крупнейшая в Союзе и Европе доменная печь!

А у горы Магнитной идет строительство следующих домен, мартеновских печей, рудообогатительных фабрик. Монтируются прокатные станы, разливочные машины. Через строительные леса проступают контуры будущего города.

## Глава III
## Мечты остаются жить

Землекопы-мечтатели роют траншеи под кабель высокого напряжения. Абдулла в широкополой войлочной шляпе, какие носят горновые. Узенькие жгучие глаза его искрятся безудержной радостью, потому что завтра он уходит на домну. Приехали из Донбасса комсомольцы-доменщики, берут его в свою

бригаду. Жалко оставлять друзей, но ничего не поделаешь. Надо.

Венька вскидывает лопату ритмично, сосредоточенно. Выцветшая кепчонка чуть держится на затылке, огненно-рыжие вихры прилипли ко лбу, и кажется, вот-вот загорится от них мятый козырек, вспыхнут Венькины смешно торчащие уши. А Григорий стоит на земляном валу без шапки, в расстегнутой телогрейке и смотрит на чуть заметное при ярком солнце зарево над мартеном. Там выдают плавку, там он мечтает работать сталеваром. Уйдет Абдулла в доменный, а он попросится в мартеновский. Венька и Абдулла знают об этом его решении и вполне одобряют.

Только вот Венька... Он собирается в свой Тагил, потому что и там начинается строительство металлургического гиганта. И там нужны рабочие руки, а тем более испытанные.

Григорий стоит на земляном валу, вытирает рукавом потный лоб и чувствует, что голова начинает кружиться, в горле пересыхает и нестерпимо хочется пить. Он берет лопату, спускается в траншею и через силу работает до конца смены. А вечером в общежитии Абдулла щурит и без того узкие щелки-глаза и просит:

— Почитай давай... Как там дальше?

Григорий достает из-под подушки зачитанный томик Пушкина и раскрывает на той странице, где остановились вчера.

> Тиха украинская ночь.
> Прозрачно небо, звезды блещут...

Он закрывает книгу и говорит Абдулле, что звезды на Украине крупные и как будто ближе. И что, если смотреть с реки, над Марийкиной хатой всегда зажигается звезда самая красивая. И сама Марийка красивая... Он, Григорий, пожалуй, не пойдет завтра на траншею, а поедет за ней. Сколько можно в разлуке? Если привезет ее, может, и комнату получит. Надо только, чтобы Марийка взяла с собой яблони из сада... Чтобы в окно комнаты смотрелись их ветки... А Венька, наверно, уже удрал в свой Тагил, и Абдулла, возможно, пошел провожать его...

— Что ты, Гриша? — вскакивает с постели Абдулла.— Опомнись!

Григорий роняет томик Пушкина и, придерживаемый Абдуллой, падает на кровать. Он в бреду. Мечется, про-

сит пить. На лбу крупным бисером пот, светлые глаза безучастны.

Приходит Венька; Абдулла оставляет его у постели и бежит за доктором. Оказывается, у Григория двустороннее воспаление легких.

Две недели назад паводком прорвало плотину, и среди ночи подняли по тревоге всех коммунистов стройки. Услышав в коридоре топот, взволнованные голоса, Григорий разбудил Абдуллу и Веньку, они быстро оделись и, узнав, в чем дело, побежали к плотине. По дороге стучали в окна бараков, где жили знакомые ребята, и кричали через двойные стекла:

— Комсомольцы! На плотину! Авария!

Кто-то из снабженцев уже подвез к месту аварии ворох высоких резиновых сапог и раздавал рабочим. Абдулле не хватило. Тогда Григорий отдал ему свои и, заметив, что тот колеблется, торопливо крикнул:

— Надевай! Немедленно надевай! У меня свои выдюжат...

Абдулла скинул тогда брезентовые ботинки, а Григорий повыше натянул свои стоптанные кирзовые сапоги.

В эту ночь коммунисты и комсомольцы остановили взбунтовавшийся Урал, вновь обуздали его и предотвратили катастрофу.

Только теперь ребята припоминают, как натужно кашлял Григорий после той памятной ночи, как отмахивался от медсестры из здравпункта. Теперь болезнь будто сводила счеты с горячим и неуемным парнем.

Венька и Абдулла поочередно дежурят у постели больного. Врачи делают все, что в их силах. Когда Григорию становится легче, он расспрашивает Абдуллу о новой работе. Советует ближе сойтись с ребятами, которые неделю назад по комсомольским путевкам приехали из Донбасса и теперь хозяйничают на первой домне. С трудом приподнимаясь на локте, говорит Абдулле:

— Знаешь, это такие парни... Аккурат для нашего города.— И опять бредит, и опять зовет Марийку, говорит ей о яблонях, домнах и... о любви.

...Она приехала, когда Григория уже схоронили. Пришла с Абдуллой и Венькой на могильный холмик, упала грудью на шаткую деревянную изгородь и забилась

в горьких беззвучных рыданиях. Парни отошли в сторону. Молчали, курили и, только когда стало темнеть, осторожно взяли девушку под руки. Марийка не вырывалась, не голосила. Покорно шла между ними, бледная, обессиленная. У нее безвольно опустились плечи, потухли глаза. Исчезло желание жить. И то, что раньше представлялось важным, потеряло значение.

Оказалось, что все на свете было у нее связано с Григорием. Она жила в украинской деревушке, чтобы он приехал и увез ее; шила красивые платья, чтобы ему было приятно увидеть ее нарядной; ходила за десять километров в школу, чтобы выучиться и устроиться на работу в городе, где будет жить с Григорием. Она читала книги и в письмах рассказывала о них Григорию. Она становилась добрее, решительнее, потому что Григорий — ее Григорий! — был щедрым и смелым.

Марийка временно осталась жить в комнате, где попрежнему стояли три железные койки, на трех грубо сколоченных тумбочках лежали стопки книг и где из трех рабочих спецовок теперь только две снимались с гвоздя по утрам, а третья — прожженная у локтя, с обломанной верхней пуговицей и последним Марийкиным письмом в кармане — оставалась висеть весь день, словно бы терпеливо дожидалась хозяина.

Днем Марийка уходила на кладбище, вечером забивалась под одеяло и не то плакала, не то думала, не то вспоминала. Ребята приносили ей из рабочей столовой черствые пряники и холодные котлеты. Пробовали утешать, но Марийка отмалчивалась. Пробовали развлекать — отворачивалась к стене и с головой закрывалась одеялом.

В начале третьей недели, когда Марийка, как обычно, с утра собиралась на кладбище, Венька решительно встал в дверях и загородил ей дорогу. Девушка подняла на него грустные и тревожные глаза и остановилась.

Он выдержал полный скрытого страдания ее взгляд, хмуро сказал:

— Хватит! Не ходи больше. Пока не ходи.

Марийка всхлипнула, уткнулась лицом Веньке в плечо. Он погладил ее по голове, и Марийка не совладала с собой: громко, горько заплакала. Венька дождался, когда она успокоится, усадил на кровать, сел рядом и осторожно спросил:

— Может... помочь надо чем? Может, обратно ехать одной трудно, так я мог бы тебя до Челябинска проводить. По пути... В Тагил еду.

Марийка не подняла больше глаз, только выпрямилась вся и сказала:

— Не надо. Меня теперь здесь... земля держит. Помогите лучше работу найти. Пусть даже очень трудную.

Все это рассказал мне в поезде случайный попутчик от Москвы до Челябинска. Он говорил увлекаясь, волнуясь, словно заново переживал события далеких лет. Было ясно, что это не посторонний свидетель случившегося и не любитель пересказывать услышанное из чужих уст. Он гордился людьми, о которых говорил. Он любил их. И скорей всего, какую-то часть своей жизни он прошел рядом с этими людьми. Отведал одного с ними горя, пережил одни трудности и если был тогда счастлив, то тем же счастьем, что они.

## Глава IV
## Второе поколение мечтателей

Я приехала в Магнитогорск под впечатлением рассказа своего случайного попутчика, и поэтому все здесь было полно для меня особого смысла. Я ходила по широким стремительным улицам, слушала, как шелестят листья в городском парке, смотрела на гигантский комбинат с высоты перекинутых над его территорией пешеходных мостов и неотступно думала о тех, кто пришел на эту землю первыми. Я расспрашивала старожилов, работников городского музея, просматривала документы, справки, записки, касающиеся строительства комбината. Я искала следы людей, чьими руками закладывался этот замечательный город. Я искала Веньку, Марийку и Абдуллу. Совпадали даты, события, но знакомых имен в документах и записях не встречалось.

На комбинате меня познакомили с одним из лучших доменщиков страны Героем Социалистического Труда Алексеем Леонтьевичем Шатилиным — одним из тех комсомольцев, которые приехали из Донбасса к пуску первой домны. О них восторженно говорил Григорий Руденко: «Это такие парни!» К ним в бригаду ушел с земляных работ Абдулла Аламов. От Шатилина я узнала, что Аламов не вернулся с фронта. В первые же месяцы

войны он подготовил себе замену: обучил ремеслу горнового нескольких молодых парней — и ушел добровольцем. О Веньке Чуйкове и Марийке Шатилин ничего не знал.

Было выполнено редакционное задание, и командировка уже подходила к концу, когда меня пригласили на школьный выпускной вечер. Ребята выглядели счастливыми и... растерянными. Оттого, что прощались в этот день не только со школой,— прощались с детством. На сцену к столу президиума легко поднимались одетые в белые платья девушки, степенно, «по-взрослому», выходили юноши. Директор школы вызывал их по фамилиям и, вручая аттестаты, крепко пожимал руки.

Со сцены в объятия подруг порхнула маленькая девчушка, и директор пригласил к столу президиума следующего:

— Григорий Аламов!

Такое сочетание имени и фамилии насторожило. И пока парнишка поднимался со своего места в последнем ряду, пока пробирался по узкому проходу к сцене, я представила себе этого Григория высоким, ладным, стремительным, с мягким зачесом темных густых волос, с черными, как крылья вразлет, бровями и веселым прищуром добрых и бедовых глаз. Таким в моем представлении был Григорий Руденко, такими мне виделись теперь все парни Магнитки.

Выпускник Аламов появился на сцене. Я подняла глаза.

Нет, этот Григорий совсем не походил на Руденко. Маленький и широкоплечий, с круглым скуластым лицом, жестким ежиком черных волос над широким выпуклым лбом и узенькими антрацитовыми глазами, он бойко взбежал на сцену, широко улыбнулся в ответ на аплодисменты.

Аламов... Может, он родственник Абдуллы?.. И я разыскала парнишку после торжественной части вечера. Он отошел со мной в сторонку от шумных, веселых товарищей и сдержанно ответил на неуместный для того праздничного вечера вопрос.

Его отца действительно звали Абдуллой. Отец приехал на Магнитку, когда еще не было города. Работал землекопом, бетонщиком, горновым... Потом ушел на фронт и не вернулся: в разведке подорвался на мине. А Гриша живет здесь с матерью и младшим братом.

Брат только что окончил школу ФЗО и третий день как работает в первом мартеновском. Сегодня в ночь заступает.

Гудят в мартеновском цехе большегрузные печи. Бушует в них вспененное оранжево-фиолетовое пламя, рвется из-за тяжелых заслонок. Воздух возле печей раскален настолько, что кажется — можно от него прикурить или зажечь спичку. Повсюду светло как днем, хотя на фрамугах, густая и черная, уже растеклась ночь.

На одной из печей выдают плавку. В гигантский ковш падает тяжелый багрово-огненный ручей металла, и со дна взметаются россыпи сгорающих на лету звезд. Металл кипит, буйствует. На соседней печи идет доводка, еще дальше берут пробу, а в бригаде, где всего третью смену работает подручным Вениамин Аламов, ведут доливку чугуна.

Парнишка жестами разговаривает с крановщиком, и тот, послушный его команде, орудует ковшом-великаном, как разливательной ложкой. Подводит, подтягивает, наклоняет... льет раскаленный чугун со спокойствием привычно колдующего над кастрюлей повара. Так видится со стороны. А ближе... Венькино лицо покрыто струйками пота. Они стекают за ворот прилипшей к спине, пятнами потемневшей спецовки. Парень только передергивает плечами, вытирает рукавом лоб.

Нет, не поварская ложка этот гигант ковш с раскаленным текучим солнцем внутри, и большое искусство донести, перелить из него, не расплескав ни капли.

Резкость и торопливость Венькиных жестов выдают его состояние, парень волнуется, он напряжен, собран... Он знает: все глаза, сколько есть в их бригаде, следят сейчас за ним, за его работой. Венькины жесты-слова становятся увереннее, спокойнее. Доливка заканчивается. Вот-вот машинист резанет над головой сигнальным звонком, и пустой ковш медленно уплывет в глубь пролета, а Венька, задыхаясь от жажды, кинется к сатуратору.

Я так и не заговорила с Венькой. Ходила по огромному — в несколько кварталов — цеху, пыталась угадать, где здесь могли стоять его отец Абдулла Аламов, Григорий Руденко и Венька Чуйков, когда, затаив дыхание, наблюдали они пуск первой плавки. Какие у них были лица? Серьезные? Радостные? Торжественные? А может, такие, как сейчас у молодого подручного?

В цехе тогда было всего три печи, а теперь их не один десяток.

На другой день я постучала в квартиру Аламовых. Дверь мне открыла пожилая женщина, тоненькая и даже изящная для своих лет. Седые волосы ее были гладко зачесаны и убраны тугим узлом на затылке. От множества тонких морщинок лицо выглядело усталым, но, когда она поднимала глаза, оно будто освещалось теплым и мягким светом далекой юности, потому что глаза женщины были большие, ясные и удивительно юные.

С этой женщиной мы проговорили до глубокой ночи, и мне было жаль с ней расставаться. Потому что моя новая знакомая оказалась... Марийкой. Марией Степановной Кравчук.

## Глава V
## Рядом был друг

Горе, как бы оно ни было велико, не стоит за спиною всю жизнь. Медленно уходят в прошлое прожитые годы и уводят его с собой. О нем никогда не забудешь, не разгладишь морщинки, не вернешь беспечности, с какой прежде шагал по жизни. Но возвращается к человеку способность трудиться, любить жизнь и даже радоваться жизни. Человек, переживший большое горе, похож порой на перенесшего смертельно опасную болезнь. Казалось, кончилось все: и ты жизни не нужен, и тебе она не нужна. Даже в тягость. Но прошел кризис, вернулось желание жить, постепенно наступило и выздоровление. Остались рубцы от затянувшихся ран, остались следы, но в основном ты здоров. Так случилось с Марийкой.

Правда, в бригаду землекопов ее не приняли. Маленькая, хрупкая, она, конечно, не справилась бы с тяжелым кайлом, не привыкла бы орудовать лопатой. Ее обучили штукатурному делу и направили работать на строительство жилого городка.

Марийка подружилась с девчатами, учила их украинским песням, грустным и задушевным. Девчата в ответ пели залихватские уральские частушки. Марийка улыбалась — задумчиво, одними губами — и частушки не подхватывала. И теперь, после смерти Григория, она любила все веселое. Но смотрела на веселье только со стороны, сама в нем не участвовала. Словно порвалась в ней какая-то звонкая струна и остались лишь те, на которых веселой песни не сыграешь.

Подруг было много. Но самым близким, самым родным человеком на Магнитке всегда оставался Абдулла. Их связывала любовь к Григорию, светлая, незабвенная память о нем. Абдулла заботился о Марийке, помогал ей. Сам он работал уже старшим горновым на второй домне. Марийка привыкла к тому, что Абдулла всегда рядом. Если она собиралась с девчатами в клуб, временно расположившийся в бараке, он неизменно шел с ними. Если ей нужно было съездить в Карталы за покупками, оказывалось, что Абдулла давно собирался сделать то же самое и только ждал попутчика. Марийке даже в голову не приходило, отчего общительный молодой парень, на которого с интересом поглядывают девчата, до сих пор не женат и даже не ухаживает ни за кем. Сама она ко всем относилась теперь ровно. Была убеждена, что любовь приходит однажды и если уж она не принесла счастья, значит, суждено теперь греться у чужого: радоваться чужим радостям и чужой любви.

Абдулла всегда был рядом. Но однажды, когда Марийка очень ждала его, не пришел. Это было накануне свадьбы Лены Терновой. Абдулла знал, что вечером, после работы, Марийка пойдет в магазин купить для Лены подарок. И Марийка была уверена, что, как всегда, выбирать подарок они будут вместе. И на свадьбу отправятся, конечно, вместе.

Давно растаяло где-то на краю степи багровое солнце и полиняло, поблекло небо. Давно переоделись и разбежались из общежития девчата, а единственный в городе «универсальный» магазин работал последний час. Марийка стояла у окна, то снимала, то надевала косынку, прислушивалась к шагам в коридоре. Абдулла все не шел, и она вдруг заволновалась: не случилось ли с ним чего? Торопливо, едва попадая ключом в замочную скважину, закрыла дверь, перебежала дорогу и очутилась в мужском общежитии.

Абдулла стоял посреди комнаты в пальто и кепке, будто только что собирался уйти. Увидев Марийку, он смутился, неловко предложил ей стул.

— А я испугалась,— облегченно вздохнула она.— Думала, не заболел ли. Вчера ведь жаловался, что голова болит...

И тут же вскочила со стула.

— Ну, идем! А то магазин закроют.

Всегда готовый помочь, Абдулла почему-то медлил.

Прошелся по комнате, остановился вполоборота к Марийке, сказал неуверенно:

— Может, одна сбегаешь? У меня сегодня... дела...

— Какие? — искренне удивилась Марийка.

И впервые за все время, сколько она его знала, Абдулла уклонился от ответа, чего-то не доверил Марийке.

Она долго смотрела на него непонимающе, потом осторожно попятилась к двери и, только оказавшись на пороге, проговорила:

— Извини меня. Я ведь не знала... Надоедаю тебе, время отнимаю.

— Это только сегодня,— мягко сказал Абдулла.— Так уж получилось...

Он старался смотреть на нее весело, но глаза светились необычным блеском и выдавали новое, непонятное Марийке состояние его души.

— Ты только не сердись на меня.

Ей послышалась в его голосе едва уловимая боль.

— Нет, нет! Что ты!

Она выбежала за дверь и уже из коридора крикнула:

— До завтра!..

В магазин она не пошла. Свернула на соседнюю улицу, спустилась к реке... Бродила бесцельно и долго, стараясь успокоиться, пытаясь понять: что же произошло? Почему Абдулла не захотел идти с ней и почему это ее так ранило?

Она придирчиво перебирала в памяти все свои поступки за годы их дружбы и не находила таких, которые могли бы оттолкнуть Абдуллу.

Однажды потеряв любимого, она теперь больше всего боялась потерять друга.

Назавтра Абдулла отказался пойти на свадьбу Лены Терновой. Отыскал Марийку на работе, скороговоркой объяснил, что опять занят, что обещал провести вечер с товарищами.

— ...Я ведь Лену-то эту почти не знаю. Только и видел в клубе, когда ты нас познакомила,— пытался оправдаться Абдулла, а Марийка смотрела на него уже прямо, открыто и всепонимающе.

— Ты прав,— сказала она спокойно.— Ходить на свадьбу к незнакомым людям совсем не обязательно.

## Глава VI
## Портрет на солнечной стороне

Значит, это не так уж часто случается, чтобы «дружба навеки», «дружба на всю жизнь»... Марийка заставляла себя думать о другом. Например, о том, что бригада Лены Терновой, в которой она работала, ловко «обставила» штукатуров с пятнадцатого дома. На днях будут подводить итоги соревнования, и победителями, конечно, окажутся они, терновцы. Доменщики опять останутся недовольны, потому что дом пятнадцать, который могут не сдать к сроку, обещан им. Даже квартиры уже распределены. И Марийке представлялось усталое, озабоченное лицо мастера Шевчука, жена которого только что из больницы — родила сына, а живут в общежитии. У Шевчука в бригаде работает Абдулла...

И опять заплетались, тянулись горькие мысли, опять закрадывалось в Марийкину душу чувство одиночества.

Ей все было ясно. Абдулла полюбил... Он стесняется сказать об этом Марийке и боится вызвать недовольство «той» девушки, ради спокойствия которой, возможно, и отказывается от прежних добрых отношений. По-видимому, он не скажет Марийке об этом прямо. Да и не обязательно.

Абдулла и на самом деле стал реже видеться с Марийкой. Он все куда-то торопился, не смотрел ей прямо в глаза. И наконец однажды зашел в девичье общежитие не один. Избегая Марийкиного взгляда, шумно поздоровался, представил свою спутницу:

— Познакомься, Марийка. Это Зина Соловейко, заведующая нашей лабораторией.

Девушка пожала руку и слегка покраснела.

Они втроем пошли в клуб, посмотрели выступление самодеятельности, потом Зина и Абдулла проводили Марийку до дому. Марийка почувствовала себя в этой прогулке «третьей лишней». Зина смущенно молчала, а Абдулла был рассеян. С этих пор Марийка часто встречала их вместе.

Дом пятнадцать все-таки был сдан к маю, и в праздничные дни мастер Шевчук отмечал свое новоселье. Квартира из двух комнат, светлая и пока полупустая, вместила человек тридцать. Среди приглашенных была Марийка. А когда гости стали рассаживаться вокруг двух сдвинутых вместе столов, вошли Абдулла и Зина.

Марийка обрадовалась их приходу.

В разгар веселья, когда Шевчук, развернув певучий

баян, заиграл «Амурские волны», она ускользнула от ухаживающего за ней весь вечер парня и подбежала к Абдулле:

— Пойдем потанцуем!

Первым его движением было отказаться. Это уловила Марийка. Но в следующее же мгновение он взял ее за руку, и они вошли в круг танцующих. Марийка погрозила Абдулле пальцем и с легким укором сказала:

— Пожалуй, мой лучший друг меня и на свадьбу не позовет...

Абдулла рванулся, словно хотел уйти, но Марийка удержала его.

— Не сердись,— торопливо добавила она.— Я ведь все понимаю. Я рада за тебя.

Пока танцевали, он смотрел мимо нее каким-то пустым, остановившимся взглядом, вяло переступал ногами. И Марийке уже хотелось, чтобы скорее прекратилась музыка, чтобы Абдулла подошел к Зине. Но вальс все не кончался, Абдулла молчал, а Зина, стоя в уголке, украдкой бросала на него недовольные взгляды. Это было мучительно, и Марийка остановилась среди танца, как могла безмятежнее сказала Абдулле:

— Я устала.

Он будто очнулся.

— Я устала,— повторила Марийка.— Выйду на улицу...

И стала пробираться к выходу.

Дверь квартиры была раскрыта настежь. Марийка вышла, в нерешительности остановилась у подъезда: уходить домой, ни с кем не простившись, было неудобно, а возвращаться не хотелось. Все-таки решила вернуться, как вдруг услышала за своей спиной громкие торопливые шаги. Бледный и решительный, перед ней остановился Абдулла.

— Что с тобой? — вырвалось у Марийки.

— Я больше не могу,— глухо сказал он.— Мне противно притворяться!..

Узкие черные глаза его впервые за последнее время смотрели на Марийку прямо и пристально.

— Я люблю тебя!

Она ахнула, метнулась в сторону, как от внезапного удара, закрыла лицо руками.

— Нет! Нет, нет! Что ты говоришь? Опомнись...

Абдулла отнял ее руки от лица, упрямо и беспощадно повторил:

— Я люблю тебя. Это правда. Я не могу побороть, не могу заставить себя...

Она вся съежилась. Абдулла посмотрел на нее с откровенной грустью:

— Но... мне ничего не надо. Я... не имею права. Я помню об этом.

Он медленно, тяжело повернулся и ушел в дом. Марийка прислонилась к холодной стене подъезда и беззвучно заплакала.

Это случилось через пять лет после смерти Григория.

А еще через год Марийка согласилась стать женой Абдуллы. Потому что поняла: она не смогла бы жить без него.

Оказывается, приходит к человеку вторая любовь...

Молодым супругам дали комнату. Они внесли в нее свои нехитрые пожитки и первым долгом повесили на солнечную сторону увеличенный портрет Григория.

...Портрет висел в комнате на том же месте. Я слушала обстоятельный, несколько отстраненный — будто не о себе — рассказ Марии Степановны и была благодарна случаю, раскрывшему мне простые и удивительные судьбы. Я смотрела на портрет Григория, на фотографию Абдуллы — в тонкой ореховой рамке на письменном столе — и думала о красоте этих людей, об их дружбе, любви, бескорыстной и высокой. А Мария Степановна продолжала рассказ:

«...родились сыновья. В честь друзей их назвали Григорием и Вениамином...»

А потом началась война. Комбинат получил военные заказы, все цехи стали работать с нагрузкой, какую не могли и предполагать проектировщики. И ни на минуту не прекращалось строительство. В декабре 1942 года зажглись огни пятой домны. На очереди была шестая. Магнитогорцы тоже чувствовали себя солдатами: каждая скоростная плавка была равна выигранному сражению.

И все-таки магнитогорцы рвались на фронт. Смелые, горячие люди, они не случайно десять лет назад бросили свои родные места и приехали в голую степь, хмурую и бескрайнюю, и за небывало короткий срок построили в этой степи гигантский комбинат и большой город. Магнитогорцы сердцем слушали каждое слово партии и, когда она обращалась к народу, говорила ему о своих

решениях, понимали это очень просто и верно. Каждый считал: партия обращается лично к нему. Так считал и Абдулла. Он обучил своей специальности троих пареньков и настоял, чтобы его отправили на фронт.

Марийка вырвалась на час из швейной мастерской, где теперь работала и где в три смены женщины шили солдатские шинели и гимнастерки. Она проводила мужа на вокзал, постояла с ним на платформе возле состава. Абдулла был весел, разговорчив, но Марийка видела: весел он только для нее. В добрых глазах мужа появилась суровость. И не по документам, не по обмундированию, а по одним только глазам можно было признать в нем солдата.

...В комнату незаметно, будто крадучись, входят сумерки. Диван, стол, стулья, книжные шкафы темнеют, оплывают, теряют четкость контуров. Зажигаются на широком проспекте яркие фонари. На земле — мир... Город у подножия горы Магнитной достроен. Он в несколько раз больше, чем в тот день, когда уезжал из него солдат Аламов. Впрочем, если говорить точнее, то слово «достроен» не подходит к Магнитогорску, как не подходит, пожалуй, к тысячам советских городов. По крайней мере сами магнитогорцы и сейчас говорят примерно так же, как когда-то говорил Абдулла: «Вот развернем еще комбинат, достроим город, тогда...» Но, наверное, и «тогда» магнитогорцы будут считать, что не все сделано.

...В комнату входят сумерки. Ветер пойманной птицей бьется в полотняных шторах. За окном — асфальтовый разлив широкого проспекта. На земле — мир!..

Мария Степановна смолкает, и мы обе сидим притихшие. Она — во власти воспоминаний, я — под обаянием ее рассказа. В самом деле: она рассказала все это — как спела песню. И грустную. И радостную. Мы молчим, а песня еще звучит. Я вслушиваюсь в ее звучание, хочу, чтобы оно осталось в моей душе, как остаются светлые следы от встреч с чистыми и светлыми людьми. Песня все еще слышится... И вдруг ее обрывает громкий, настойчивый стук в дверь. Мария Степановна вскакивает, спешит в коридор и возвращается вместе с сыном. Григорий зажигает свет и шумной радостью наполняет просторную комнату.

— В общем, решено! — торжественно говорит он и расстилает на столе географическую карту.— Вот сюда...— Он ведет от Магнитогорска красную карандаш-

ную линию. Линия уходит за Урал, пересекает Красноярский край, поворачивает круто вверх, и карандаш замирает на Крайнем Севере, у Норильска.

— Вот сюда едут ребята из десятого «Б».

Мария Степановна недоумевающе поднимает брови и осторожно спрашивает:

— А вы? Разве вы передумали?

Узенькие глаза Григория загадочно щурятся, поблескивают веселой лукавинкой.

— Передумали! Северные стройки — это, конечно, здорово! Трудности там, экзотика... Но ведь в Челябинске строят новые домны. Комсомольские!

Мария Степановна смотрит на сына нежно, восторженно и немножко грустит. А Григорий не перестает говорить:

— Завтра в горком заявления понесем. Ты ведь не будешь против?

Мария Степановна гладит сына по жесткому ежику коротких иссиня-черных волос, тепло спрашивает:

— Кем же ты там работать будешь, на стройке-то?

— Хоть кем! — горячо выпаливает Григорий.— Рабочим... землекопом! — И вдруг громко, заразительно смеется: — Я и забыл! Землекопов-то теперь нет. Вместо них экскаваторы.— Он складывает карту, становится серьезным.— Работу возьму, какую дадут. Пусть даже самую трудную...

Мария Степановна тихо соглашается и прячет от Григория затуманившиеся глаза.

# ПЕРВЫЙ ШАГ

**Глава I**

«Дорогая редакция! Пишу вам потому, что так жить больше не могу. Мне 18 лет. Обычно взрослые люди говорят, что это самый хороший, самый счастливый возраст. Может быть, только я во всем виновата, но в жизни у меня как-то не все хорошо.

Подруг не было ни раньше, ни теперь. Да и откуда они будут? Я все время сижу дома, а прогулки мои — от дома до школы или до магазина. Я учусь в школе рабочей молодежи, но нигде не работаю, потому что родители мне запретили: «Успеешь, жизнь длинная, еще наработаешься...»

Жить мне тяжело, неинтересно. Я не комсомолка. Стыд! А я очень хочу быть как все наши юноши и девушки.

Я живу в Нижнем Тагиле. Это город металлургов, его все в нашей стране знают. Я пишу с пятого на десятое, но вы не сердитесь: очень волнуюсь.

Здесь я не все написала. В жизни у меня гораздо хуже. Я вас очень прошу: ответьте, помогите мне!

*Кира Ц.*»

На конверте был тщательно выписан обратный адрес.

...Девушка стояла посреди недомытого коридора с тряпкой в руках и смотрела на меня растерянными, испуганными глазами.

— Мне нужна Кира,— повторила я.

Девушка будто очнулась и торопливо ответила:

— Нет, нет, что вы! Это не я...

Мне оставалось извиниться и уйти ни с чем. Но я не ушла. Я продолжала стоять и смотрела в ее по-детски округлившиеся глаза. Они выдавали девушку. У меня не оставалось больше сомнений: это была она, Кира Ц.

Тряпка упала в таз и разбрызгала грязную воду. Девушка вытерла передником руки, провела меня в комнату и, опустив голову, сказала:

— Это я.

Мы молчали, привыкая друг к другу, обдумывая, как начать разговор. А начать его было невероятно трудно.

Мы «привыкали» друг к другу долго. А потом наконец начался тот разговор, ради которого я приехала.

— Сколько я себя помню,— сказала Кира,— папа и мама жили недружно.

...Трудно говорить о себе. Тем более о своих сомнениях и чувствах. Но говорить откровенно все-все, даже очень плохое, о своих родителях — это еще тяжелее. Кира закрыла лицо руками и расплакалась.

Ее обида, боль и одиночество пришли из детства. Кире даже кажется, что они появились на свет вместе с ней, что сейчас этим неприятным и неотступным спутникам тоже по восемнадцать лет.

Самым главным в Кирином детстве были папа и мама. И жизнь в доме строилась так, как они хотели.

— Ма-ам! Ма-амочка! — капризно тянет маленькая Кира.— Отпусти погулять...

Мама отрывается от книги, мягко говорит:

— Одной нельзя.

— Ну пожалуйста,— умоляет Кира.— Я уже знаю, что Маша плохая девочка. Я с ней играть не буду. Я — с Юриком, у которого живой кролик.

— И с ним нельзя. Он может тебя обидеть. И вообще ты должна знать, что все мальчики — хулиганы!

Мама и Кира садятся писать письмо дедушке. Мама пишет, а Кира рисует для дедушки Юркиного кролика. Потом мама убегает опустить письмо в почтовый ящик, и как раз в это время раздается телефонный звонок из Черниговки. Кира взбирается на стул, дотягивается до трубки и слышит слегка приглушенный папин голос.

— Доченька! — кричит он.— Милая! Здравствуй!

И тут же, не дождавшись ее ответа, обеспокоенно спрашивает:

— А где мама?

— Письмо понесла в ящик. С кроликом! Это я кролика нарисовала. Дедушке!..— весело кричит в ответ Кира.

Но папа уже не слушает ее и раздраженно спрашивает:

— А что, мама одна ушла?

Папин голос в трубке становится сердитым.

— Что она надела? В каком платье ушла?

— Я не знаю,— пугается сердитого голоса Кира.— Кажется... ни в каком...

Папа кричит еще громче, трубка хрипит и дребезжит, и Кира, ничего не понимая, растерянно всхлипывает.

Мама так и застает ее — в слезах, с трубкой в руке.

Ночью Кира просыпается от шума в соседней комнате.

— Не ври! — кричит папа и топчет сапогами мамины платья.— Все равно узнаю, куда по вечерам ходишь!

Перепуганная Кира зарывается с головой в одеяло, сжимается маленьким дрожащим комочком.

За обедом полагается сидеть молча, но у Киры столько новостей, что не рассказать их сейчас просто невозможно.

— Я теперь сижу с Петей! — весело объявляет она, не обращая внимания на строгий, осуждающий взгляд отца.— И на задней парте тоже Петя, только не Сысоев, а Пряничников. А впереди Шура Осипов. Клавдия Петровна сказала, что я их всех должна воспитывать. Чтобы они на уроках не разговаривали.

Папа с мамой переглядываются, а Кира выкладывает и вторую новость:

— В воскресенье наш класс идет на рудник, в гости к Герою Социалистического Труда Сулимову.

Папа отставляет тарелку. Кира делает третье сообщение:

— После обеда я буду собирать по квартирам макулатуру. Всякую ненужную бумагу. Это наше звено постановило.

И она, довольная своими сообщениями, принимается за обед. А папа с мамой встают из-за стола и удаляются во вторую комнату. Они опять начинают спорить и ссориться.

Кира уже привыкла не обращать внимания на их ссоры. Она научилась играть в куклы, когда мама плачет, и делать уроки, когда папа выкрикивает отвратительные ругательства и изводит маму бесконечными подозрениями. В таких случаях Кира утешает себя тем, что папа скоро уедет в командировку и дома опять станет тихо.

Кира быстро справляется с обедом и уже готова бежать во двор, но папа останавливает ее строгим окриком:

— Назад! Бумагу собирать не пойдешь. Это занятие грязное. На рудник тоже не пойдешь. Провалишься еще там куда-нибудь... в шахту. А учительнице скажешь, чтобы от мальчишек тебя пересадили. Если завтра же не пересадит, пойду в школу сам!

Ей очень стыдно за отца, она не хочет, чтобы он ходил в школу. И Кира молча соглашается...

К концу подходит седьмой учебный год. И все эти семь лет Кира чувствует себя одинокой, чужой в классе. Никто ее не навещает, никуда не зовет, в пионерской организации не дают никаких поручений. Все знают: Кира никуда, кроме школы, не ходит. Ни на каток, ни в Дом пионеров. И поручений никогда не выполняет.

Ее все оставили в покое. Но Киру это не угнетает. Ей все безразличны, ей никто не нужен. Даже Шуре Осипову она не симпатизирует. А Шура вечно что-нибудь у Киры спрашивает, предлагает какие-то книги. Вызвался научить кататься на коньках.

Однажды в доме раздается телефонный звонок, и Кира узнает в трубке голос Шуры.

— Чего тебе? — раздраженно спрашивает она, а про себя отмечает: хорошо, что родителей нет дома.

— Как «чего»? — изумляется Шура.— Хочу тебя поздравить. Ты разве забыла? Ведь сегодня Первое мая!

— Ах да! — спохватывается Кира.— Конечно... Спасибо тебе.

— Я не один! — весело кричит Шура.— Нас тут четверо. Со мной оба Петра и Лара Крюкова. Мы с демонстрации возвращаемся. А ты почему не была?

— Я... У меня голова болела,— привычно врет Кира.

— А сейчас?

— Сейчас прошла.

— Ну, тогда мы к тебе зайдем? Можно?

Шура говорит все это так дружески, а оба Петра и Лара так весело поддакивают ему, что Кира не в силах им отказать.

— Можно,— разрешает она.— Только скорее!

И чуть было не добавляет: «Пока никого дома нет».

Она и в самом деле разрешает им зайти только потому, что одна дома и надеется, что об этом посещении отец и мать не узнают.

Ребята приходят оживленные, нарядные. Приносят Кире разноцветные шары и веточку только распустившего свои клейкие листочки тополя.

Кира растрогана. Ей хочется сделать для ребят что-то приятное, чем-то отблагодарить их за внимание, но она ничего не может придумать, кроме того, чтобы угостить их чаем. Выставляет на стол праздничные пироги, печенья и впервые чувствует себя в доме хозяйкой.

Шура и оба Петра оказываются очень общительными. Они знают уйму загадок и шуток, а Лара умеет смешно изображать всех учеников их класса. Кира довольна, что ребята зашли. Она всегда сторонилась их, а оказывается, с ними так просто и хорошо. Только... только бы никто не пришел!

Вдруг они слышат отчетливый стук в дверь. Кира замирает. Стук повторяется громче. Кира сидит неподвижно и лихорадочно соображает: что делать? Открыть? А вдруг это отец?

— Стучат же! — недоумевает Петя Сысоев.

— Да, да,— растерянно соглашается Кира и не двигается с места.

— Так открой!

Ребята удивленно переглядываются. Шура встает и делает шаг к прихожей.

— Нет! — срывается с места Кира.— Не надо! Мы не откроем! — И тянет Шуру обратно к столу.

В дверь продолжают стучать, и тогда к Кире подступает Петя Пряничников:

— От кого ты скрываешься? Или... от кого ты хочешь спрятать нас?

— Тише,— чуть не плачет Кира.— Потом... потом все объясню. Он сейчас уйдет. Подумает, что я на улице, и пойдет искать. У него нет ключа...

В дверь больше не стучат. Кира на цыпочках подходит к двери, заглядывает в замочную скважину.

— Ушел...

Все снова садятся за стол, но хорошее настроение больше не возвращается. Шура, пряча глаза, поднимается:

— Спасибо. Я, пожалуй, пойду.

— И мы...

— И я тоже.

Никто из них не смотрит Кире в глаза, и она не смотрит. Она хочет теперь только одного: чтобы они поскорее ушли.

Кира осторожно открывает дверь и бледнеет. На лестничной клетке, облокотившись о перила, стоит отец. Он не набрасывается на Киру, даже как будто не смотрит в ее сторону. Достает портсигар, не торопясь закуривает.

Присмиревшие ребята гуськом выходят из квартиры. Отец молча пропускает их мимо себя.

Кира оставляет открытой дверь и бежит в комнату. Над праздничным столом, прикрепленные к абажуру, висят разноцветные шарики. Около яблочного пирога, в стакане с водой,— трогательная тополиная веточка.

Не соображая, для чего она это делает, Кира рвет шары, ломает ветку, бросает сморщенные резиновые тряпочки и покалеченные листочки в ведро с мусором.

Убрать со стола она уже не успевает. Докурив папиросу, входит отец. Снимает в прихожей с гвоздя бельевую веревку и, ни слова не говоря, избивает Киру до синих рубцов на теле.

Об этом случае становится известно сначала в доме, где живет Кира, затем в школе. Многие соседи, учителя, ребята из седьмого «Б» негодуют: настаивают на общественном суде.

Но есть и другие люди. В некоторых квартирах, в школьных коридорах, даже на диване в учительской идут шепотом разговоры о том, что, мол, «нет дыма без огня», что «девчонка вообще странная и черт знает на какое способна» и что «отец не враг дочери, если избил, так уж, наверное, за дело...»

Мать Лары Крюковой звонит по телефону:

— Пересадите мою дочь на другую парту. Я не позволю, чтобы она сидела рядом с этой...

К Кириному отцу приходят отец Шуры Осипова — пенсионер, инвалид Отечественной войны, и старший брат Пети Сысоева — доменщик с металлургического комбината. Они приходят защитить не Шуру и Петра — своих ребят они знают и верят им,— они приходят защищать Киру! Но Кирин отец не желает с ними говорить. Он заявляет, что воспитание дочери его личное дело и он никому не позволит вмешиваться. И что напрасно товарищ Осипов утруждал себя — поднимался на двух протезах на пятый этаж.

Кире всегда было трудно жить. А теперь жизнь кажется ей невыносимой. Ее всегда окружал холодок человеческого равнодушия. Не люди в том виноваты,

нет! Она сама и ее родители. Теперь же ее окружает холодное кольцо недоверия, неприязни, презрения. Оно все туже сжимается вокруг нее, и разорвать его нет сил, хотя Кира и не одна. Теперь — впервые в жизни! — у нее появились товарищи.

Лара Крюкова, которая вопреки требованиям матери продолжает сидеть за одной партой с Кирой, Шура Осипов, Петя Сысоев, Петя Пряничников, классный руководитель Клавдия Петровна, председатель совета пионерской дружины Миша Воробьев. Но и им всем не под силу разорвать это отвратительное кольцо, сотканное из сплетен и мещанских пересудов. Оно может задушить... Оно уже душит Киру!

В кабинете директора происходит следующий разговор.

— Будь со мной откровенна,— просит директор.— Расскажи, что вы делали, запершись в квартире.

— Пили чай,— отвечает измученная, осунувшаяся за последние дни Кира.

— А еще?

— Загадывали загадки.

— А еще?

— Рассказывали веселые истории.

Кира тяжело вздыхает и облизывает пересохшие губы. Директор привстает за своим широким столом, подается к Кире всем корпусом и шепотом спрашивает:

— А еще?

Кира поднимает на директора глаза, полные мольбы и слез:

— Больше ничего.

Директор усаживает Киру в кресло и все тем же интимным шепотом говорит:

— Ну, признайся... Ну, не скрывай от меня... Вы там с мальчиками... целовались?

Нервы Клавдии Петровны не выдерживают.

— Послушайте! — она встает между директором и Кирой.— Перестаньте!

— Вы можете идти,— сухо бросает директор Кире и угрожающе поворачивается к Клавдии Петровне.— А вы останьтесь.

Кира, с трудом переставляя вдруг ослабевшие ноги, выходит из кабинета. Голова болит. От тяжких и горьких дум, от бессонных ночей. А ведь кроме этого сва-

лившегося на нее позора и несчастья еще беда: идут экзамены и она к ним совсем не готова. И не может готовиться. Потому что теперь отметки не имеют для нее никакого значения. И в школу больше приходить нет сил. Особенно после разговора с директором...

Этот человек очень неприятен ей. И шепот его, проникновенный и пошлый, словно застрял в ушах.

И все-таки он обидел ее меньше, чем обидели отец и мать. Он спрашивал... Он разговаривал с ней. А те даже ничего не спросили.

Но держать экзамены все-таки приходится. Кира чудом получает тройки и сейчас же берет из школы документы. Директор с радостной поспешностью отдает их ей.

Новый учебный год Кира начинает в восьмом классе школы рабочей молодежи. Поступает с трудом, соврав, что уже устроилась на работу и через две недели, как только приступит к исполнению своих обязанностей, принесет справку.

Ей верят, потом о справке забывают и никогда больше не интересуются, кто она, Кира Ц., чем занимается, как живет.

Родители даже довольны, что она в вечерней школе. Всего четыре дня в неделю. И никаких собраний, вечеров, лыжных кроссов! Значит, Киру легче контролировать. Днем она загружена домашней работой. Уборка квартиры, стирка, глаженье, покупка продуктов — все это теперь лежит на ней, потому что мать впервые за долгие годы пошла работать. Она всегда очень страдала оттого, что приходилось сидеть дома, но отец не позволял ей работать: «Нужно воспитывать дочь, и нечего там перед чужими мужчинами хвостом вертеть». Кире разрешается выходить в школу, которая совсем рядом с домом, за пять-десять минут до звонка и возвращаться не позднее как через пять-десять минут после конца занятий. Чтобы Кира не слишком медленно шла от дома к школе и обратно, чтобы не останавливалась на улице с кем-нибудь поболтать, в любое время года ее отпускают без пальто.

С точки зрения родителей, их дочь почти застрахована от «вредных влияний». Вся ее жизнь на виду. Все ее поступки под контролем. С точки зрения родителей, и сама Кира теперь другая. Она многое поняла, во многом согласилась с отцом, раскаивается в своих прежних поступках, перестала упрекать родителей за то, что они якобы отгораживают ее от жизни.

Но это всего лишь точка зрения родителей. И Кира ее отнюдь не разделяет. У нее теперь двойная жизнь. Одна — для родителей. Другая — для себя.

С чего все это началось?

Паспорт уже получен. Тайком от родителей Кира пытается поступить на работу. Она идет в отдел кадров швейной фабрики, но там нужны лишь специалисты. Пробует устроиться сортировщицей писем, но на почту принимают только со средним образованием. Она разыскивает отдел кадров треста Тагилстрой. Там записывают ее адрес и обещают в ближайшие дни вызвать для оформления на работу.

Кира ждет. Она уже мечтает, как станет работать в бригаде каменщиков или бетонщиков. Будет носить рабочий комбинезон, обедать в столовой, возвращаться после смены в шумной, веселой компании девчат. Родители не смогут помешать ей, потому что в паспорте Киры уже будет стоять трудовой штамп. А если они станут кричать, возмущаться, попробуют поднять на нее руку, тогда Кира попросится в общежитие и совсем уйдет из дому. Совсем.

Но на пятый день в доме возникает скандал. Почтальон, поднимаясь по лестнице, встречает Кирину мать и отдает ей открытку. Перепуганная мать показывает открытку отцу, и тот набрасывается на Киру. Он кричит, ругается, хлещет ее по щекам, упрекает в черной неблагодарности, подозревает в каких-то грязных намерениях. «Не будет этого, не позволю!» Он с остервенением рвет открытку, а с нею и все Кирины надежды.

Чуть-чуть приоткрывшаяся было дверь захлопывается намертво.

«Какие есть еще способы вырваться на свободу? — в отчаянии думает Кира.— Вот если бы выйти замуж!»

Она прячет паспорт в шкатулку и забывает о нем: желанный документ перестает ей казаться символом свободы и самостоятельности.

...В Серове у родственников, к которым Кирина семья приезжает на Октябрьский праздник, появляется неожиданный гость, товарищ сына хозяйки. Он тотчас же приковывает внимание Киры. Бдительные родители не видят в этом «иногороднем» юноше угрозы своему родительскому спокойствию и позволяют молодым людям разговаривать и даже сидеть рядом за столом. Они не возражают и против того, что юноша приглашает Киру танцевать. Кира не умеет, но все-таки выходит в круг

и терпеливо пробует научиться. Они смеются, обмениваются самыми незначительными фразами.

К концу вечера Кира знает о юноше только то, что он скоро заканчивает институт и что имя его Олег.

— Знаете что, давайте переписываться,— заговорщически предлагает Кира, но тут же спохватывается: — Ой, нет!..

Она искоса поглядывает на отца и представляет себе, что будет дома, если в один прекрасный день отец обнаружит в почтовом ящике письмо от Олега...

И девушка находит выход:

— Вы мне «до востребования» пишите! Обязательно!

Олегу отправлено уже восемь писем, а ответа — ни на один. Кира нервничает. Она теперь все время думает об Олеге.

Со всеми подробностями вспоминает их коротенький, ничего не значащий разговор. Олег видится ей красивым и мужественным, очень похожим на известного артиста кино.

Ответ наконец приходит. И хотя это самое обыкновенное письмо, не такое, какого ждала Кира, хотя нет в нем ни объяснения в любви, ни намека на приезд Олега в Тагил, девушка считает, что в ее жизни произошло значительное событие. Она теперь не совсем одинока.

Ее письма к Олегу постепенно становятся нежнее и откровеннее. Его ответы — чаще и значительнее. Кира уже считает, что они любят друг друга, только стесняются признаться в этом. Она с нетерпением ждет признания от Олега и, не дождавшись, первая пишет ему о своей любви. Олег в ответ пишет почему-то о дружбе, о только что прочитанной книге и как бы между прочим сообщает, что среди различных назначений, имеющихся для выпускников его факультета, есть и назначение в Нижний Тагил.

И он приезжает. Совершенно неожиданно из окошечка «до востребования» Кире подают письмо. Оно очень короткое. Всего две строчки:

«Дорогая Кира! Я приехал. Вечером буду ждать тебя около школы. Олег».

Весь день проходит в смятении. Кире вдруг становится очень неловко за свои нежные письма и объяснения в любви.

Что она ему сейчас скажет? Что в таких случаях полагается говорить?

Около школы стоят несколько человек, но Олега среди них нет. В вестибюле его тоже нет. Кира немного успокаивается. Это даже лучше. Она успеет все обдумать, внутренне подготовиться к встрече.

И вдруг она видит Олега! Он стоит в дверях, оглядывая класс, ищет глазами Киру.

Покраснев от смущения, Кира идет к нему.

— Здравствуйте,— краснеет в свою очередь Олег.— А я уж думал — не найду вас.

Они выходят в коридор. Держатся друг с другом неловко, натянуто. В коридоре, возле класса, много парней. Они о чем-то оживленно говорят и смеются. Кира невольно обращает на них внимание.

Ребята как на подбор: высокие, интересные. Олег по сравнению с ними маленький, тщедушный, бесцветный.

«Он вовсе не красивый! — делает для себя открытие Кира.— А тогда, в гостях, казался совсем другим...»

— Я полчаса около школы стоял,— признается Олег.— Так вас и не увидел.

«Мы даже не узнали друг друга!» — делает Кира второе открытие и тоже признается:

— И я не увидела. Смотрела, смотрела...

— Я в клетчатой кепке был,— с надеждой поясняет Олег.

— Кепку я заметила.

Шум голосов в коридоре разрезает пронзительный школьный звонок, и Олег торопится объяснить:

— Я буду работать здесь, в строительном тресте, а жить в общежитии.

Кира делает третье открытие: она, оказывается, совсем не рада и этому сообщению.

Ах, как все плохо, как плохо! Вот и рухнул замок, построенный в ее мечтах! Она хотела только одного: вырваться из душной квартиры родителей, жить самостоятельно! С мужем... с Олегом...

Кира закрывает глаза, пытается представить себе его лицо и не может. Не знает даже, какие у него глаза!

Она засыпает с намерением рассказать завтра Олегу всю правду, извиниться, признаться, что обманула его и что никакой любви нет. Она сама выдумала себе любовь. И Олега тоже... выдумала.

Утро начинается строгим вопросом отца:

— Где твой паспорт?

— В шкатулке,— холодеет Кира и лихорадочно соображает: «А где же письма?»

— Врешь! В кармане пальто.

«Письма под матрацем»,— вспоминает Кира и успокаивается.

— Для чего носишь с собой паспорт? — дознается отец.— В булочной предъявляешь?

— В библиотеке была перерегистрация читателей,— хладнокровно врет Кира.— Больше он мне не нужен. Можешь спрятать.

Отец кладет Кирин паспорт в бумажник и уходит. А она констатирует факт: отец проверяет ее карманы. Но ведь ей не десять, не двенадцать, ей восемнадцатый год!

И опять кружатся, заплетаются в голове горькие мысли, опять единственной надеждой на спасение становится Олег. Даже такой: незаметный, чужой, нелюбимый. Нет, Кира не извинится перед ним, не откроет ему правды.

Со следующей встречи она начинает разыгрывать влюбленную. Притворяется соскучившейся, когда долго не видит Олега. А на одном из свиданий первая целует его.

Кира говорит Олегу, что любит его, и ждет ответного признания.

— Знаешь,— Олег говорит задумчиво, будто самому себе,— я к тебе очень хорошо отношусь. Особенно как-то... Каждую минуту хочу видеть тебя. Каждую минуту думаю о тебе. Но не знаю... Ты только не обижайся. Не знаю, люблю тебя или нет.

Кира молчит.

— Ты не слушаешь? — громко спрашивает Олег.— Так я буду ждать тебя вечером... У школы.

И улыбается Кире доброй, теплой улыбкой.

— Ну вот,— виновато вздохнула Кира.— Не получилось никакого рассказа. Просто вспомнила некоторые случаи из своей жизни. Вы знаете, я почему-то всегда именно эти случаи вспоминаю. А так хочется их забыть! — Она искренне засмеялась и пообещала: — Скоро забуду. Весной. Когда замуж выйду.

— За кого? — осторожно поинтересовалась я.

— За Олега, конечно. Иначе для чего же все это?

Она была откровенна, и эта ее откровенность даже пугала. Так мог говорить уставший, много повидавший на своем веку человек.

Кира будто угадала мои мысли.

— У меня такое ощущение,— сказала она,— будто я жила долго-долго, будто мне много лет.

С ней можно было говорить не осторожничая, и я спросила:

— Ты Олега любишь?

— Нет,— легко ответила она.— Я даже нашего преподавателя геометрии люблю больше.

Этот ответ обезоруживал. «Долго-долго» проживший человек оставался еще ребенком.

Можно было взять Киру за руку и пойти с ней в райком комсомола. Рассказать там все как есть и попросить: «Помогите. Устройте на работу в хороший комсомольский коллектив». Можно было встретиться с ее родителями и обвинить их в содеянном преступлении. Наконец, можно было поговорить с Олегом...

Но мне думалось, не надо водить ее за руку, говорить о ней и решать за нее. Очень важно, чтобы Кира сделала первый свой правильный шаг в жизни сама. Чтобы она захотела его сделать! Ведь пыталась же она сама найти работу...

Я познакомила Киру с моей соседкой по номеру, заслуженной учительницей республики Еленой Анатольевной Веткиной. Умная, мягкая, опытная в педагогической науке, Елена Анатольевна сумела расположить к себе девушку. Отец Киры в эти дни был в отъезде, ей жилось свободнее. Мы часто втроем пили чай, ходили по городу, говорили о любви, дружбе, об одиночестве, о коллективе, о труде, о цели в жизни. И не мы заводили эти разговоры, а сама Кира. Она говорила, слушала и спорила с нами жадно, отчаянно. Тайком от матери прибегала к нам в номер и оглушала каким-нибудь невообразимым, давно уже всеми решенным вопросом.

— Есть счастливые люди, или они только притворяются счастливыми? — спрашивала она с порога и требовала доказать, что счастливые люди есть.

Слушала с недоверием, не соглашалась, отстаивала свое мнение.

— А вот я несчастливая! — вызывающе заявляла она.— И мама моя несчастливая. И отец. И если хотите

знать, Олег тоже несчастливый. Может быть, он не знает об этом, а я знаю!

В другой раз она начисто отвергала любовь, потом ставила под сомнение бескорыстие дружбы.

Мы старались познакомить Киру с хорошими, интересными людьми. Елена Анатольевна брала ее с собой на встречи со своими бывшими учениками, из которых один — сталевар, другой — врач, третий — биолог, четвертая — воспитательница в детском саду. Мне удалось провести ее на завод, а потом — на крупную строительную площадку.

Однажды, не застав меня в гостинице, Кира позвонила в райком, отыскала там. Сказала, что проводила на вокзал Елену Анатольевну, а потом очень неуверенно спросила:

— А можно мне за вами зайти? Там, в райкоме, комсомольского билета не спрашивают?

Зашла. Робко оглядела комсомольских работников, села на диван, прислушалась к разговорам.

Рядом, у окна, секретарь наставлял инструктора:

— Ты этого паренька из виду не упускай. Если работа придется не по душе, другую подбери. И с общежитием там устрой. Не забывай: он к нам за помощью пришел.

— Понял,— улыбнулся инструктор.— Общежитие ему уже дали. Комсорг цеха добился.

И, завидев в дверях только что вошедшую девушку, кинулся к ней:

— Аня! По взносам когда отчитываться будешь?

— На днях,— отмахнулась Аня.— У меня все в порядке, не беспокойся. Скажи лучше: ты видел когда-нибудь счастливого-счастливого человека?

Кира удивленно покосилась на девушку.

— Ну, видел,— насторожился инструктор.— А что?

— Еще посмотри. Я сегодня самая счастливая на земле!

— Ты всегда счастливая,— добродушно заметил инструктор.

— А сегодня особенно. Предложение-то наше приняли! Второй участок на автоматическую линию переводить будем!

— Да ну! — радостно всплеснул руками инструктор.— Так чего же ты стоишь? Пойдем, всем расскажешь...

Кира поднялась с дивана, и мы ушли.

Я была почти уверена, что теперь она решится прийти в райком. Быть может, не сегодня, не завтра, не через неделю, но придет обязательно.

Я почувствовала, что больше не нужна Кире. Ей нужны теперь — ей просто необходимы! — ребята из райкома и счастливая девушка с металлургического комбината.

Я уехала. Вскоре получила от Киры одно за другим два ничего не значащих письма. А потом раздался междугородный звонок.

— Я поступаю на работу! — радостно прокричала Кира.— Сейчас иду получать пропуск на завод!

«Ну что ж,— подумала я тогда,— пусть этот заводской пропуск станет для Киры пропуском в большую жизнь».

## Глава II

С тех пор много раз доводилось мне бывать в Нижнем Тагиле. И много раз возникало желание зайти к Кире. Писем от нее после того радостного телефонного звонка не было, и меня не покидало беспокойство за ее судьбу. Но... она не звала, не просила о помощи, а мне было неудобно навязывать ей свое внимание.

И все-таки однажды я постучала в квартиру, на пороге которой одиннадцать лет назад встретила меня испуганная девчонка с мокрой тряпкой в руках.

Открыли сразу. Сказали, что такая здесь не живет, что за эти годы в квартире четырежды менялись жильцы.

Я ушла, но уже не могла уехать, не отыскав Киру или хотя бы ее следов.

Следы отыскались. В адресном бюро подсказали координаты одноклассника Киры — Петра Пряничникова, он дал телефон Лары Крюковой (Ларисы Викентьевны, давно сменившей свою девичью фамилию), и мы с ней встретились, зашли в сквер возле гостиницы...

Оказалось, что весь разговор о Кире уместился в те несколько минут, которые потребовались нам, чтобы один раз пройти небольшую боковую аллейку.

— ...Она тогда за Олега вышла,— не дожидаясь моих расспросов, сказала Лариса.— Дали им комнату в доме молодых специалистов. А через полгода ушла от него... Тут... к одному пожилому... На тридцать лет старше ее. Квартира, машина, дача, сбережения... Весь... джентльменский набор,— сыронизировала она. (Похоже,

хотела сказать «мещанский» или что-нибудь в этом роде, но удержалась.) — Банальная история.

История была не просто банальной, она была, пожалуй, безнравственной.

— Дети у них есть? — спросила я и подумала: «А может, по любви вышла? Ему тогда было около пятидесяти...»

— Она не хочет пока детей,— не то равнодушно, не то осуждающе пояснила Лариса.— Она говорит: замуж можно и так, по расчету, а детей — только по любви.

— Выходит, любви ждет?

— Может, и ждет. Только время-то не ждет — уходят годы-то.

И сожаление, и осуждение, и раздражение против Киры теперь слышались совершенно отчетливо.

— А работа? — спросила я, теряя надежду.— Кто она теперь, кем стала?

— Да никем. Много что начинала, бросала... Только вот шьет хорошо.

Я чувствовала, ей не хочется говорить о Кире, и спросила напрямик:

— Вы не дружите?

— Нет,— так же прямо ответила Лариса.

Я хотела спросить еще, переписываются ли они, но Лариса, поглядев на меня как-то оценивающе и чуть поколебавшись, призналась:

— А ведь она здесь, в Тагиле.— И, еще помолчав, выпалила, словно выстрелила словами: — Хотите, могу адрес дать!

Замолчала, недовольная собой. Видно, говорить Кирин адрес не входило в ее планы.

Теперь я чуть поколебалась и посмотрела на Ларису попристальней. Спросила себя, хочу ли видеть «благополучную», расчетливую, великолепно одетую и «вырвавшуюся на свободу» Киру Ц. И ответила Ларисе:

— Не надо.

Мы простились сдержанно, даже из вежливости не изобразив на лицах улыбок и не сказав приличествующих моменту бесполезных, но обязательных слов. Лариса была недовольна, что сообщением своим обманула какие-то радужные мои надежды, и я недовольна, что обманулась, что действительность не подтвердила моих ожиданий и вместо закономерного благополучия, вместо логического завершения положительного образа пре-

поднесла мне вполне фельетонный сюжет с классически отрицательной героиней.

Она, эта теперешняя Кира, как-то сразу отделилась в моем представлении от той растерянной, искренней и счастливой девчонки, что кричала мне в трубку междугородного телефона: «Поступаю на завод!.. Иду получать пропуск!..» «Теперешняя» была чужим, неприятным, не интересным мне человеком, а та, прежняя Кира, оказывается, все эти годы оставалась жить только в моем воображении.

Я продолжала видеть и слышать, как она с отчаянием, стыдом, болью и недетской решимостью рассказывает о своей уродливой жизни. Как потом — оттаявшая, повеселевшая — азартно спорит со мной в гостиничном номере, как стоит на вокзальном перроне и своим переполненным несказанными словами молчанием не отпускает меня уйти в вагон.

Мне тягостно ее молчаливое присутствие, и я говорю какую-то ерунду, что-то не нужное нам обеим, потому что серьезное все сказано и возвращаться, снова притрагиваться к нему нельзя.

Она молчит, прячет левую руку на груди, за отворотом пальто. Я теряю терпение и поднимаюсь на подножку. Вагоны чуть вздрагивают, платформа с людьми, старое деревянное здание вокзала, состав на соседнем пути плавно и медленно плывут назад. Кира делает несколько шагов рядом с вагоном, быстро, словно решившись, выдергивает из-за отворота пальто руку и протягивает мне тетрадь в твердых картонных корочках. Прощаясь, я взмахиваю зажатыми в кулаке перчатками, а она кричит: «Это вам... Возьмите!» — и уже не идет, а бежит рядом.

Я понимаю вдруг, что это ее дневник, и не решаюсь взять.

Она задыхается от бега, от крика:

— Возьмите! Возьмите же!

Я ловлю тетрадь, и Кира сразу останавливается, а электровоз, победно свистнув, вырывается из переплетения путей и стрелок. Проводница закрывает дверь, уходит, а я остаюсь в тамбуре. В руках Кирин дневник... Как прятала она его на груди под пальто и как неожиданно вырвала, отдала. Словно и не тетрадь, а душу свою вынула и доверила мне...

Дома, едва полистав, я убираю дневник, чтобы больше никогда не открывать. Так много рассказав, Кира

и без того впустила меня в свою душу, и я не могла тогда — не хотела! — узнавать больше, чем уже знала. Пожалуй, даже страшилась этого. И очень обрадовалась Кириному бодрому звонку, сообщению, что устроилась она на завод.

Мне хотелось хорошего конца всей этой плохой истории, и я с готовностью, с легкостью поверила в него, посчитала свою журналистскую миссию благополучно законченной и, так и не прочитав заветной тетради, отослала ее на Тагильский почтамт до востребования.

Возвращаясь в гостиницу после встречи с Ларисой, я все это припомнила, заново пережила и с горечью, с неловкостью за себя вдруг отчетливо поняла, что, прикоснувшись к судьбе тагильской девчонки, неосознанно побоялась ответственности и, сделав первый шаг ей навстречу, остановилась. А сама она еще не готова была к серьезной борьбе за себя.

# О «ТРУДНОЙ» ДЕВЧОНКЕ И «ПОЛОНЕЗЕ» ОГИНЬСКОГО

## Глава I

Задание, по которому предстояло ехать в командировку, мне объяснили в редакции предельно лаконично. Подали местную молодежную газету, показали подчеркнутые красным карандашом четыре строчки: «...пришла Светлана Дедова из соседней бригады и сказала: «Я пью водку, курю. Но я хочу жить правильно. Примите в свою семью».

Это были строчки из хроники, где рассказывалось о штукатурной бригаде Петра Белоусова, первой в Курганской области завоевавшей право называться бригадой коммунистического труда. В эту бригаду и просилась какая-то Светлана Дедова, о которой в газете не было сказано больше ни слова.

Кто же она? Чем продиктована ее отчаянная откровенность? И откровенность ли это? Я пыталась представить себе Светлану, мысленно увидеть ее лицо, услышать, что и как она говорит... И откуда-то из-за газетных строк выходила отвратительная девица, смотрела на меня холодными, наглыми глазами, дымила папиросой и говорила что-то грубым, трескучим голосом. Потом бросала папиросу, приглаживала растрепанные волосы и произносила фальшиво, но выразительно:

— Хочу жить правильно! Примите в свою семью.

Я не верила являвшейся в моем воображении девице, не верила Светлане Дедовой и опасалась, что ее примут в бригаду коммунистического труда.

Бригада Петра Белоусова работала в поселке ТЭЦ на строительстве клуба. Я подошла к группе девчат, столпившихся возле ванны с раствором, и сразу же угадала среди них Светлану.

Нет, она не была похожа на ту, которая возникала в моем воображении. Но она не была похожа и на других девчат из бригады. Ее отличали резкость, мальчишеская угловатость в движениях, властность и задиристость в голосе. Издали ее можно было принять за маль-

чишку-подростка. Она легко, даже как-то небрежно размешивала лопатой раствор и громко возмущалась:

— До обеда простояли: цемента не было... Да они что, с ума сошли?!

Светлана озиралась по сторонам, будто ждала, что «они» вот-вот появятся. Но никто из начальства не приходил, некому было предъявить претензии, и это раздражало ее еще больше.

В бригаде было действительно неладно. Район строительства внезапно оказался без воды: до завтрашнего утра ее перекрыли сантехмонтажники. Валя Зырянова, заменявшая бригадира на время его командировки, бегала в конторку, звонила по телефону в трест, требовала машину. И только за час до конца смены к строительству подошел наконец грузовик с флягами, наполненными водой.

В такой неблагополучный день и началось мое знакомство с бригадой Петра Белоусова. Потом я встречалась с молодыми строителями, когда у девчат от работы горели руки и в пустой коробке будущего красавца клуба звенели песни. Я видела девчат из бригады на летучем рабочем собрании, в общежитии, просто на улице. Мне всегда было приятно смотреть на них, интересно говорить с ними. Я находила, что они и умелые, и умные, и даже красивые. Каждая по-своему...

Но больше других меня, конечно, интересовала Светлана Дедова. Я расспрашивала о ней у бригадира, у подруг, у соседок по общежитию, у комсомольских руководителей треста. О ней говорили по-разному. И хорошо, и плохо. И встревоженно, и восторженно. Я расспрашивала саму Светлану, и девушка рассказывала о себе. Но рассказывала как-то очень равнодушно. Рассказ был подробным, по нему можно было установить даты, поступки, события, но нельзя было найти первопричины событий, мотивы поступков, а без этого оставался непонятным характер девчонки. Без этого оставалось неясным, что же стоит за теми четырьмя строчками из молодежной газеты.

В воскресенье Светлана водила меня по городу, показывала дома, которые строила, и попутно вспоминала связанные с этими стройками эпизоды. Эпизоды были одного плана: кто-то кого-то ударил, оскорбил, не вышел на работу. Причем о драках она говорила увлеченно, с мальчишеским озорством, пересыпая речь лихими словечками, на которые способен не каждый парень.

И при этом сердито хмурила кустики белесых бровей.

Вечером мы сидели в номере гостиницы и Светлана пополняла мои скудные познания в области строительного искусства. Объясняла виды кладки, чертила в моей записной книжке схемы. Говорила спокойно, мягко, а потом вдруг забывалась.

— На тридцатичетырехквартирном у нас бригадир был... Свойский парень! Только пил всю дорогу.

Я уже понимала, что «всю дорогу» в переводе на обыкновенный язык означало «все время», «каждый день».

— А потом Федька, подсобник мой... Эх, я этого Федьку в гробу вижу!..

Лицо Светланы становилось при этом грубым, глаза вызывающе щурились и голос звучал резко, неприятно.

Я слушала ее внимательно, смотрела, как бойко бегает по бумаге карандаш, изображая схему цепной кладки Попова-Орлянки, и вдруг заметила, что бойкий карандаш замер, а Светлана замолчала на полуслове.

— Цепная кладка,— осторожно спросила я,— что это значит?

Светлана посмотрела на меня странным, отсутствующим взглядом.

— Сейчас объясню...

Помедлила, осторожно положила карандаш на сукно стола, закрыла записную книжку, снова замолчала. Я замолчала тоже и только тогда услышала: приглушенная, из репродуктора лилась музыка. Я слегка повернула регулятор, и музыка прибойной волной затопила комнату. Девушка посмотрела на меня благодарным взглядом, и впервые за все дни знакомства с нею я увидела, какие доверчивые у Светланы глаза.

Передача окончилась. А Светлана долго еще сидела молча, и я не тревожила ее, потому что тоже была во власти музыки и потому что почувствовала: эта удивительная музыка словно сблизила нас, словно растопила какую-то натянутость в отношениях.

— «Полонез» Огиньского...— тихо сказала Светлана.— Моя любимая музыка. Еще с тех пор... С детдома.

Погасли фиолетовые сумерки, черными ладонями прикрыла гостиничные окна густая ночь. В гулкой тишине коридора потонули последние осторожные шаги. А потом ночь неслышно отошла от окон и сиреневый, зыбкий заглянул в комнату рассвет. В коридоре скрип-

нула первая дверь, первые шаги разбудили гостиницу... А мы все еще не ложились спать и подобно старым друзьям, встретившимся после долгой разлуки, торопливо, взволнованно говорили обо всем на свете: о музыке, от которой сердце человека становится словно крылатым, о враге каменщиков — «черемховском» кирпиче, который крошится от легкого прикосновения мастерка, о замечательном человеке — бригадире бригады коммунистического труда Петре Белоусове, о том, какая большая и интересная сегодня жизнь, и о многом-многом другом.

Теперь я знала Светлану Дедову и могла писать о ней.

## Глава II

Милиционер вводит в детский приемник двух чумазых, плохо одетых детей.

— Кто ваши родители? — мягко спрашивает начальник приемника.

Девочка смотрит на него исподлобья, отвечает зло, неохотно:

— Никто! Нет у нас родителей.

— Нет... родителей,— чуть слышно подтверждает мальчик.

— А где вы живете? — все так же спокойно спрашивает начальник.

— Там и живем, откуда привели. В трубах...

— А питаетесь чем?

— Знакомые ребята хлеб приносят.

На дальнейшие вопросы дети не отвечают. Девочка грубит, мальчик размазывает по грязным щекам слезы.

— Ну что ж,— улыбается начальник приемника.— Раз вы к нам пожаловали, будьте как дома. Ступайте мыться, переодеваться, обедать. Сержант, проводите их!

К вечеру чистые, сытые, повеселевшие дети становятся разговорчивыми и, перебивая друг друга, рассказывают, что они брат и сестра. Светке (она именно так и называет себя: «Светка») двенадцать лет. Вите — девять. Они убежали из дому, потому что мать пьет, а напившись, бьет их, и не только за дело, но и просто так, без причины, стоит попасться ей на глаза. Особенно Светку. Конечно, если бы жив был отец...

При упоминании об отце губы у Светки вздрагивают, а Витя судорожно цепляется за ее руку и, чтобы не показать слез, низко опускает голову. Отец, штурман-бомбардировщик, погиб во время войны.

— Надо вернуться домой,— обнимает ребят за плечи начальник приемника.— С вашей мамой мы уже поговорили. Она ждет вас...

Ребята поднимают на начальника полные ужаса глаза и теснее прижимаются друг к другу.

— Не пойдем. Теперь она нас совсем убьет.

Они опять становятся замкнутыми и испуганными, и начальник приемника не может добиться от них больше ни слова.

Через месяц на заседании исполкома городского Совета разбирается дело о бесчеловечном отношении Дедовой Веры Яковлевны к своим детям. Зачитываются заявления соседей, говорят свидетели. Подходит к столу бледная, заплаканная Светка и убежденно, не по-детски серьезно заявляет:

— Домой все равно не вернусь, лучше буду на улице жить. В трубах, на дне канавы! Страшно, конечно, но у «нее» страшнее.

Дело разбирается долго. Мать плачет, дает обещания, просит вернуть детей, но единодушным решением дальнейшую заботу о Светлане передают государству. Однако принимая во внимание раскаяния и обещания Дедовой, оставляют ей сына.

Заседание заканчивается. Мать берет Витю за руку, и он весь съеживается, становится похожим на побитую собачонку. Светлана захлебывается от подступивших слез.

А через месяц она уезжает в детский дом. Прощается со школой, подругами, с городом. Сопровождающая ее девушка несет чемодан. Они идут по улице той же дорогой, какой Светка ходила с Витей в школу. За углом — их дом. Дома — Витя... Светка не видела брата с тех пор, как после заседания исполкома мать увела его с собой. Она не разрешала детям встречаться.

Девочку охватывает волнение: нет, она не сможет пройти мимо дома. Она зайдет. А если дома мать? Если она не пустит?..

Светка вспоминает, какой заплаканной и несчастной была она тогда, в горсовете, и чувствует, как к горлу опять подступают слезы. Нет, мать, наверное, будет просить ее остаться, будет обещать, что никогда больше не тронет пальцем. И Светка ускоряет шаги.

Чтобы не мешать ей проститься, сопровождающая Светку девушка остается на улице. Дверь открывает Витя. Он бросается к сестре на шею, обнимает ее, кри-

чит и пляшет от радости. А когда успокаивается, берет Светку за руку, и они убегают в комнату, где стоит большой, уютный диван. Удобно устраиваются на диване. Светка хочет сказать брату о цели своего прихода и не может. Не может вот так сразу омрачить радость встречи. А Витя достает семейный альбом, и они с трепетом открывают его на первой странице. С фотографии ребятам улыбается статный мужчина в парадной летной форме. Лицо у мужчины открытое, доброе. Это отец... Брат и сестра могут подолгу смотреть на его портрет. Смотреть, и молчать, и думать о нем.

Резко хлопает входная дверь, и не успевает Светка подняться с дивана, как в комнату влетает мать. Вырванный из детских рук альбом падает на пол, истерически вскрикивает Витя, отступает к двери и выскакивает на улицу Светка. Вслед ей несутся ругательства, злобные выкрики. После этого в сердце девочки уже не остается места для матери. Оно становится осторожным и недоверчивым. Оно становится злым.

В детском доме Светку считают «трудным» ребенком. Она грубит, своевольничает, не признает дисциплины. В ней столько озлобленности, столько недоверия к людям, что опытные воспитатели просто теряются: ну как, с какой стороны подойти к ней? «Трудным» ребенком ее продолжают считать и через два года. Правда, учится Светка добросовестно, работает в трикотажной мастерской, но по-прежнему держит себя со всеми вызывающе, одинаково не уважая ни сверстниц, ни старших. У нее совсем нет друзей. Это беспокоит педагогов и воспитательницу Светлану Аполлоновну Борисову. В присутствии Светки она особенно часто говорит девочкам о благородном чувстве дружбы, которое помогает людям идти по жизни, рассказывает о том, насколько сильнее, насколько счастливее становится человек, когда у него есть друзья. Светка никогда не слушает этих ее рассказов. Занимается чем-нибудь посторонним, а то вовсе уходит из комнаты. Возвращается, когда Светланы Аполлоновны уже нет, и презрительно мимоходом замечает:

— Опять Воспитка трепалась... А вы уши распускаете.

— Она очень даже интересно рассказывает,— возражает кто-нибудь из девочек, но Светка только отмахивается:

— Да ну вас всех! Подхалимки...

Светка вообще невысокого мнения о воспитательнице их группы: молодая, только что окончила институт. Год назад училась сама, а теперь «лезет» учить других. Светка так и говорит о ней: «лезет». И называет ее за глаза Воспитка, а в глаза не называет никак.

И вдруг происходит событие, после которого она никогда больше не может назвать Светлану Аполлоновну этим презрительным, выдуманным ею самой словом.

Вечером воспитательница приглашает девочек в красный уголок и садится за рояль.

— Вечно этой Воспитке что-нибудь надо,— ворчит Светка.— Опять песню разучивать...

И собирается уходить.

Но Воспитка очень просто, даже как-то стеснительно спрашивает у девочек:

— Вы будете слушать, если я вам что-нибудь сыграю?

Светка останавливается в дверях и с удивлением замечает, что всегда сдержанная и ровная Светлана Аполлоновна сегодня очень взволнована. Девочки рассаживаются вокруг рояля, руки воспитательницы осторожно ложатся на клавиши.

Сначала Светка все-таки хочет уйти и задерживается только из любопытства. А потом уже забывает обо всем. Широкая, властная и вместе с тем очень трогательная музыка поражает ее своей силой и нежностью. Светка прислушивается и улавливает за страстностью и широтой мелодии живую человеческую боль. Будто грустит кто-то очень сильный и гордый... Будто потерял он самое дорогое и теперь не может вернуть его.

Ей почему-то вспоминается портрет отца в парадной форме, представляется бездонное голубое небо, как свастикой, перечеркнутое силуэтом вражеского самолета.

Музыка крепнет. Исчезает щемящая душу боль, Светка слышит победные маршевые аккорды, а потом светло и тонко поют чистые, высокие ноты, и опять повторяется страстная, сильная мелодия, за которой угадывается страдание живой человеческой души. Светка медленно опускается на стул. Она чувствует себя подавленной и в то же время окрыленной. Она не может понять, что с ней.

— Тебе понравилась музыка? — тихо спрашивает воспитательница, и Светка поднимает на нее растерянные глаза.

— Не знаю...

Что ни делает она в этот вечер, чем ни занимается на другой день, она неотступно слышит светлую, певучую, чудесную музыку. Светка сама разыскивает воспитательницу и обращается к ней, впервые называя ее по имени и отчеству:

— Что вы играли вчера, Светлана Аполлоновна?

— «Полонез» Огиньского.

Воспитатели с удивлением и радостью замечают, как постепенно начинает теплеть сердце «трудной» девчонки. У нее появляется интерес к людям. Сначала к одной только Светлане Аполлоновне. Теперь Светка не пропускает ни одного музыкального вечера. Садится поближе к роялю и, если Светлана Аполлоновна спрашивает девочек, что они хотят послушать, обязательно просит:

— «Полонез», который вы играли тогда...

Светлана Аполлоновна играет, потом рассказывает девочкам об Огиньском, об истории его «Полонеза». В другой раз она играет им Чайковского, и Светку эта музыка поражает еще больше. Она пробует сама учиться игре на фортепьяно, записывается в музыкальный кружок и старательно занимается в нем.

Однажды после музыкального вечера Светка провожает воспитательницу до ее комнаты и, когда Светлана Аполлоновна приглашает ее, заходит.

В комнате тесновато, но уютно. На полках книги. Очень много книг. А на столе альбомы с фотографиями. И фотографий тоже очень много. Светлана Аполлоновна замечает заинтересованный взгляд Светки и, усадив ее у стола, пододвигает кипу снимков.

— Это из туристского похода...

Снимки необыкновенные. В горах, по диким узеньким тропкам пробираются веселые парни и девушки. И среди них Светлана Аполлоновна. В брюках, в клетчатой ковбойке, с рюкзаком! Потом веселые парни и девушки сидят у костра, переходят бурную речушку, плывут на байдарках, поют под гитару... Светка рассматривает снимки и расспрашивает воспитательницу о ее спутниках. Светлана Аполлоновна охотно и подробно рассказывает. Потом вынимает другую пачку снимков, и Светка видит тех же парней и девушек на лыжах в заснеженном лесу, на платформе железнодорожной станции, в аудитории института.

— Это мои друзья,— тепло говорит Светлана Аполлоновна, открывает ящик стола, и Светка видит, что он

полон писем.— Разъехались после института, теперь вот письмами разговариваем.

— А вы... увидитесь с ними еще? — осторожно спрашивает Светка, которой грустно становится при мысли, что эти веселые симпатичные люди никогда больше не будут сидеть у одного костра.

— Конечно,— улыбается Светлана Аполлоновна.— Этим летом собираемся в Закарпатье.

— Все? — удивляется Светка.

— Нет, всем не удастся. Трое не смогут поехать. Зато вот эти,— она показывает на двух пареньков,— приедут с женами.

Светка делает новое открытие: оказывается, как хорошо могут дружить люди!

И постепенно сама она начинает ощущать потребность в друзьях, тяготится своим одиночеством, завидует девчонкам, у которых много подруг.

В это время десятиклассницы решают взять шефство над младшими. Приходят несколько взрослых девочек в шестой класс, где учится Светка, и объявляют о своем решении. К Светке подходит Рита Колегина и говорит:

— Я буду с тобой дружить.

— Зачем это? — отстраняется от нее Светка.— Дружба сама собой приходит.— И она сердито поворачивается к Рите спиной.

Но десятиклассницы оказываются настойчивыми. Все свободное время они проводят теперь с подшефными девочками. Выбирают им книги для чтения, учат их вышивать, играть в шахматы, даже на прогулки ходят теперь вместе. Светку возмущают десятиклассницы. Она открыто называет их подхалимками, обвиняет в том, что они выслуживаются перед воспитателями. Но больше других она не любит Риту. Ей даже хочется причинить Рите зло.

Как-то в воскресенье десятиклассницы собираются в театр. Надевают праздничные платья, новые туфли. Рита, нарядившись, выходит на мостик и, ожидая подруг, смотрит, как купаются младшие девочки. Светка понимает по-своему: эта подхалимка опять за ней следит...

Светка выходит из воды, взбегает на мостик и как бы невзначай толкает Риту в воду. Мокрая, сердитая,

Рита выбирается на берег и, не обращая внимания на смех девочек, выжимает платье. На Светку она даже не смотрит, ни к кому не идет жаловаться. Но странно: и после этого события Рита продолжает относиться к Светке так же ровно и хорошо, как прежде. А ведь из-за вынужденного купания она не смогла в тот день поехать в театр!

Часто Рита уводит Светку в парк и читает ей непонятные, завораживающие стихи. Часто садится с ней вместе к роялю и просит играть пьесы, которые разучивают в кружке. Рита бережет для Светки конфеты, выданные к чаю, она заставляет ее надевать теплую кофточку, если на дворе пасмурно. Она помогает Светке решать трудные задачки. А иногда Рита начинает при ней вслух мечтать о своем будущем, и Светка узнает, что Рита собирается на комсомольскую стройку. И постепенно «трудную» девчонку начинает мучить совесть. Светка дает себе слово попросить у Риты прощения за то, что столкнула в воду. Много дней она говорит себе: «Завтра... завтра пойду и скажу». И много дней не решается. Потому что просить прощения ей очень неприятно.

И вот, дождавшись, когда Рита вышла из столовой, Светка останавливает ее. Топчется на месте, теребит кончики жестких рыжих косичек и наконец произносит:

— Я тогда тебя в воду... нарочно столкнула. Прости...

— Я знаю,— спокойно говорит Рита и, будто ничего не случилось, берет Светку за руку. Они идут вместе.

Светка чувствует, что и после признания ей не становится легче. Лучше бы Рита возмутилась, накричала, отругала ее! Светка начинает часто-часто моргать едва заметными ресницами. Рита ласково проводит ладонью по ее голове, и «трудная» девчонка плачет. Тихими и какими-то даже благодарными слезами. Потом они долго ходят обнявшись по парку, и уже Светка начинает успокаивать Риту, потому что та с тревогой говорит о предстоящих экзаменах.

Утром, когда все спят, Светка пробирается к большой одинокой черемухе, распустившейся и похожей издали на легкое белое облако. Ловко взбирается на дерево, рвет огромный букет и, крадучись, возвращается в спальню. Чтобы букет никто не видел, прячет его под кровать.

Букет для Риты. Как только она сдаст первый экзамен, Светка ей и подарит... Но к вечеру цветы опадают,

их приходится незаметно выбросить, и на другое утро Светка опять чуть свет лезет на дерево. Потому что экзамен у Риты сегодня. Она ломает упругие ветки, решает, что на этот раз поступит умнее: поставит букет в воду. Светка прыгает с дерева и вдруг чувствует на своем плече чью-то руку. Высокий седой мужчина поворачивает ее лицо к себе и строго спрашивает:

— Кто тебе разрешил?

— Отпусти! — вырывается Светка.

Дороже всего на свете для нее сейчас этот букет, потому что он предназначен Рите.

— Ты знаешь, что в парке запрещено ломать деревья?

— Да отстань ты от меня! — грубо кричит Светка и прячет букет за спиной.

Но мужчина все-таки забирает из ее рук черемуху и коротко говорит:

— После завтрака зайдешь ко мне.

— Чтоб ты пропал! — кричит вслед обозленная Светка и в отчаянии падает на траву.

Седой человек оказывается новым директором. Он долго держит Светку в своем кабинете и добивается того, что она признается:

— Мне без букета сегодня никак нельзя. Рита экзамен по литературе сдает. Первый...

Директор говорит ей о «зеленом друге», которого надо охранять, об истории этого старого парка, а потом неожиданно заканчивает:

— Согласен, первый выпускной экзамен подруги надо отметить. Пойди к садовнику и попроси от моего имени, пусть нарежет тебе букет.

— Ой! — Светка от радости даже не догадывается поблагодарить директора.— Ой, неужели? Да если бы я знала, что можно так!..

И она выбегает из кабинета счастливая.

Рита сдает первый, второй, третий экзамен... Светка с грустью следит, как бегут дни и приближается время разлуки. Она очень привязалась к Рите: каждый раз в день экзаменов ждет подругу в школьном коридоре и, едва та выходит из класса, бросается навстречу.

Она теперь не представляет, как это можно жить без Риты...

В тот вечер, когда десятиклассникам торжественно выдают аттестаты, когда в актовом зале проходит выпускной бал, Светка, заплаканная, ходит вокруг школь-

ного корпуса, заглядывает в окна. Она опять ждет Риту.

Старый парк кажется ночью таинственным, и ходить по нему даже немножко страшно. Но Светка, встретив Риту, нарочно тащит ее в самую дальнюю аллею, чтобы их не заметил ночной сторож.

— Ну что ты ревешь? — тихо говорит Рита, и Светка слышит, как дрожит ее голос.— Я же тебе писать буду. Часто-часто. Вот увидишь...

Светка всхлипывает. Рита продолжает утешать.

— Как десятилетку кончишь, ко мне приедешь. В Сибирь... Приедешь ведь?

Внезапно Светка перестает реветь, придвигается к Рите совсем близко:

— А что, если я убегу с тобой?

— Как это «убегу»? — настораживается Рита.

— Очень просто. На крыше твоего вагона!

В ответ Рита добродушно смеется. Светка сердито шмыгает носом и заявляет решительно:

— Убегу...

С этого дня Светка перестает ходить на работу в трикотажную мастерскую. (В детском доме три мастерских: швейная, ткацкая, трикотажная, в которых девочки, осваивая мастерство, работают по два часа в сутки.) Она не отходит от Риты ни на шаг, словно боясь прокараулить время ее отъезда. Рита тоже нервничает. Ей и самой тяжело расставаться с «трудной» девчонкой, которая только ее одну приняла в подруги. Озабочена их расставанием и Светлана Аполлоновна. Она не уговаривает Светку, не утешает — это бесполезно, она просто пытается отвлечь ее, чаще устраивает музыкальные вечера, прогулки, игры. Но Светка опять избегает их.

И вот Рите и ее одноклассницам выдают в райкоме комсомольские путевки на новостройку. Светка сидит в приемной райкома и ждет, когда Рита выйдет от секретаря. Рита выходит, берет Светку за руку и неожиданно говорит ей:

— Я тоже решила: ты обязательно поедешь со мной! Только не крадучись, а совершенно открыто. Сейчас же пойдем к директору.

Дорога от райкома далекая. Они едут в электричке, потом бегут пыльным разбитым трактом, и Рита на ходу говорит Светке торопливо и радостно:

— Я, как получила эту путевку, себя будто старше

почувствовала. Самостоятельнее. Ведь ты... Понимаешь, ведь ты мне все равно что младшая сестра. Значит, теперь я сама могу о тебе заботиться. Я тебя там в школу устрою.

Они врываются в кабинет директора и, перебивая друг друга, объясняют свою просьбу. Директор спокойно выслушивает и, конечно, говорит: «Нельзя».

— Не можем мы сейчас отпустить Светлану. Надо десять классов окончить.

— А я не хочу десять классов! — взрывается она.— Я работать хочу.

— Будешь работать после десятилетки,— невозмутимо возражает директор.

И все-таки Светка уезжает. Несколько дней и она, и Рита, и Ритины подружки, и даже некоторые преподаватели уговаривают директора доверить «трудную» девчонку Рите Колегиной. Убеждают, что нельзя их отрывать друг от друга. Чтобы решить этот вопрос, специально собирается педсовет. И вот Светке и Рите выдают новые пальто, платья, обувь, деньги на первое время. Одежды оказывается так много, что чемоданы едва закрываются. Директор приглашает Риту и Светку в свою машину и вместе со Светланой Аполлоновной отвозит их на станцию. Он сам покупает им билеты, вносит в вагон чемоданы.

Когда поезд трогается, Рита и Светка высовываются из окна и долго машут руками. Уплывают назад, становятся маленькими, словно игрушечными, станционные здания, перекидной мост, перрон и на перроне — седой пожилой мужчина, директор детского дома, и Светлана Аполлоновна, которая, по мнению Светки, лучше всех великих музыкантов играет «Полонез» Огиньского.

## Глава III

Есть в Сибири, недалеко от Красноярска, городок Абаза. Плотным кольцом сходятся вокруг него горы, хмурые по вечерам и добрые, сине-голубые утром. Близко к городу подступают кедровые рощи, заросли дикой смородины и крыжовника. Чистые, звонкие песни поют горные родники. В этот городок на строительство рудообогатительного комбината и приезжают новоселы. Риту сразу же направляют в бригаду учеником каменщиков, а Светке говорят: «Мала. Подрасти надо...».

Рита получает спецовку, приносит ее в общежитие, примеряет, и Светка смотрит на подругу с нескрывае-

мой завистью. Нет! Пусть ее осуждают, пусть ругают, но она не хочет больше учиться. Хочет работать! Ведь ей уж пятнадцать. И опять — уж который раз! — ей вежливо отказывают.

Ничего не остается делать, и Светка поступает в школу ФЗО. Через год она становится каменщицей и работает с Ритой в одной бригаде. Они строят жилые дома, клубы, больницы.

У Светки теперь коротко острижены волосы, лицо обветренное, загорелое, а узенькие бойкие глаза светятся радостью. Движения ее быстры, энергичны. В рабочем комбинезоне она очень похожа на мальчишку, и общежитские ребята шутя зовут ее Славкой.

Но фронт работ в Абазе становится меньше, и подруг переводят в шахтерский городок Черногорск. Эх, если бы знала Светка, что ее ждет в Черногорске, не поехала бы она туда ни за что. А главное — не отпустила бы Риту. Впрочем, может, и отпустила бы. Ведь «от судьбы не уйдешь».

В Черногорске много хороших парней. Очень много. И большинство из них знакомые Светки. Держатся они с ней попросту, как с товарищем. При встрече хлопают по плечу, говорят: «Привет, Славка!» Берут на лыжные прогулки, учат играть в хоккей.

Светка гордится, что смотрят они на нее как на равную. И когда девчата начинают сетовать, что, мол, Светка не похожа на девушку и это очень плохо, начинают уговаривать ее купить вместо спортивных брюк нарядное платье, Светка неизменно отвечает на это единственным словом: «Мещанки!»

Леня тоже Светкин товарищ. Он часто заходит в общежитие, и они, пригласив Риту, втроем ходят в кино, в клуб. Рита сначала сторонится Лени, и Светку это раздражает. А потом... Светка вдруг начинает понимать, что Леня ходит не к ней и что не Рита третья в их компании, а она, Светка.

И опять наступают для Светки трудные дни. Опять она подолгу не может заснуть ночью и думает о своем одиночестве. Нет, Рита не переменилась в отношении к ней. Она все так же заботится о Светке, любит ее с нежностью старшей сестры. Но что поделаешь, так уж устроен мир: даже очень любящие сестры со временем выходят замуж...

Светка ревнует Риту к Лене. Она пытается найти в нем плохие стороны, чтобы иметь право высказать Рите

неудовольствие их дружбой. Но Леня очень хороший парень: добрый, честный, прямой и относится к Рите безупречно. Даже когда Рита капризничает (раньше Светка никогда этого не замечала за ней), Леня остается сдержанным и предупредительным.

И Светка скрепя сердце соглашается с Ритой, что лучше Лени нет парня среди шахтеров Черногорска. И, сама того не желая, она начинает придумывать причины, чтобы не пойти с ними в кино или в клуб. Конечно, Рита и Леня всегда уговаривают ее пойти, но уговаривают очень недолго и, когда она все-таки отказывается, довольные, убегают вдвоем. В таких случаях Рита возвращается домой поздно. Не зажигая света, раздевается, на ощупь поправляет на Светке одеяло и ложится спать. А Светка не спит. Не может заснуть. Все-таки она очень несчастна.

Часто Светке приходят письма от Светланы Аполлоновны. Добрые, хорошие. Реже — от брата. Письма от брата нежные и грустные, и в каждом слове обида. Почему Светка не пишет ему?..

Светка пишет. И даже очень часто. Но письма не попадают Вите, их уничтожает мать. Да и сам Витя пишет Светке крадучись. Он соскучился по сестре, зовет домой, уверяет, что и у них в городе много строек...

Наверное, это эгоистично и не по-дружески, но Светка иначе не может. Когда становится ясно, что Рита и Леня скоро поженятся, она увольняется с работы, укладывает вещи и виновато признается Рите:

— Я решила... домой ехать. К брату.

Рита не верит. Не хочет верить. Она, конечно, тут же бежит к Лене, и они возвращаются в общежитие, оба озабоченные и недовольные.

— Славка, этим не шутят! — сердито говорит Леня.— Распаковывай вещи!

Светка сидит на кровати перед опустевшей тумбочкой и упрямо повторяет:

— Я решила. Я уеду... домой.

## Глава IV

Двое парней встречаются в обеденный перерыв у прилавка магазина. Один покупает буханку хлеба, другой — бутылку водки. Первый, скосив глаза на бутылку, понимающе подмигивает:

— Для аппетита?

— Для настроения...

— А у вас в бригаде девчонка появилась, новенькая... Не выдаст?

Второй парень скалит крепкие, пожелтевшие от табака зубы:

— Нет, она свой парень.

Через несколько минут бутылка с водкой уже гуляет по кругу. Бригада каменщиков, чуть ли не в полном составе собравшаяся за штабелями теса, «обедает». Каждый отпивает из горлышка, передает дальше.

Очередь доходит до Светки. Не моргнув глазом, она принимает из рук соседа бутылку, с видом заправского пьяницы отмеривает пальцем уровень, пьет и заедает куском колбасы. Потом так же, по кругу, идет пачка «Беломора». Запросто, словно курит она с пеленок, Светка берет папиросу, разминает пальцами, прикуривает у соседа. Захмелевшие парни начинают рассказывать анекдоты, и Светка, не краснея, слушает вместе со всеми, хохочет над слишком крепкими выражениями. Наконец бригада нехотя поднимается.

— Айда работать!

Ребята взбираются на леса и, бесконечно переругиваясь, работают до конца смены. Плохо ли идет лебедка, попадает ли каменщику под руки колотый кирпич, или подсобник неровно расстилает раствор — на стройке слышится ругань. Если кто-нибудь со стороны одергивает ребят, каменщики заявляют в оправдание:

— Молчком работать скучно.

— А вы бы... песню попробовали,— предложили им как-то девушки из штукатурной бригады. Но парни сухо отрезали:

— Мы не артисты.

Светка вполне разделяет мнение, что молчком работать скучно и что каменщики не артисты. Подумаешь, ругаются! Ну и пусть! Она теперь и сама может... Подумаешь, пьют! На свои ведь деньги. Главное, что работает бригада неплохо. Когда есть кирпич, в смену по полторы нормы дает. Так что даже если и прогуляет кто — не очень заметно. На работе почти не отражается.

Светка во всем старается подражать парням из своей бригады и, если кто упрекает ее за это, вызывающе говорит:

— Мы рабочие люди. Вежливости не обучены...

Она живет в общежитии треста Курганжилстрой шумно и весело. Дружит в основном с парнями, девчат «презирает» и сторонится. В тресте слывет хорошей ка-

менщицей и... развязной, испорченной девицей. Эта репутация ничуть не смущает ее. Кажется, что Светка довольна тем образом жизни, который она ведет.

Но это только кажется. В глубине Светкиной души столько горечи, столько боли, что заглянуть туда ей и самой страшно. Горечь эта от чувства бесконечного одиночества. Ни дома, ни семьи у нее по-прежнему нет. По воскресеньям она ходит в «тот дом», но в соседний подъезд, к тете Поле. Туда прибегает братишка, и они в разговорах проводят весь день. У тетки тесно, но как-то тепло и спокойно. Не хочется от нее уходить, и часто, поддавшись уговорам, Светка остается ночевать. Витя тоже норовит не пойти домой. Когда тетя Поля расстилает постели, то в комнате уже не остается ни метра свободного места. Но это не имеет значения: в тесноте, да не в обиде.

И все-таки Светка «в обиде». Ей нет еще восемнадцати. Ей хочется ласки, заботы, внимания. Она совершенно одна в жизни. Правда, о ней заботится государство: она работает по шесть часов, ей есть где жить, есть на что жить. Но ведь этого совсем не достаточно «для полного человеческого счастья»! И Светка тянется к парням, с которыми работает, подстраивается к ним и долгое время считает их своими друзьями.

Правда, очень свежи воспоминания о другой дружбе, которая облагораживала Светку, удерживала от опрометчивых поступков, заставляла забыть плохие привычки. Но теперь Рита далеко, и ее хорошие письма не могут изменить течение Светкиной жизни. Теперь далеко и детский дом, где осталась Светлана Аполлоновна. Конечно, друзья воспитательницы не разговаривают с ней так, как каменщики разговаривают со Светкой.

Но ведь те интеллигенты, рассуждает Светка. А ее друзья — рабочие парни. Кстати, и Рита, пожалуй, тоже интеллигентка. Кончила десятилетку, знает много стихов... Ручки у нее такие маленькие-маленькие, а лицо белое, нежное. Потому с ней, наверно, парни и вежливы всегда — сразу видят: интеллигентка.

И Светка решает, что есть в жизни две нормы поведения: одна для интеллигентов, другая для рабочих.

Ее новые друзья не любят никаких коллективных прогулок, о туристских походах и слышать не хотят. Это огорчает Светку. Они отмахиваются от нее, если она предлагает сходить в театр, книг не читают. Они только работают, спят и пьют... Но они хорошие парни.

Светка за это ручается! И раз уж она им друг, то тоже не ходит в театр и очень редко берет в библиотеке книги.

Иногда совершенно неожиданно со дна Светкиной души, откуда-то из-под тяжести горя и одиночества, поднимается светлый прибой музыки. Она прислушивается и недоумевает: как так? Не по радио, не на улице, а где-то в самой себе слышит она музыку!

И наконец понимает: это музыка, которую сохранила память. Это «Полонез» Огиньского... И она старается заглушить в себе воспоминания о детдоме, где хотели сделать из нее «интеллигентку», учили играть на фортепьяно...

Нет, Светка — рабочий человек, «свой парень» в бригаде отчаянных, грубых ребят и очень гордится этим!

Совершенно случайно она попадает однажды во время перерыва в бригаду штукатуров. Заходит к ним «просто так», потому что злится на своих ребят и не хочет с ними обедать. А злится справедливо... Генка сегодня до того плохо работает, что ей все время хочется подойти и треснуть его. Навалит раствора больше, чем надо, размажет, а он растекается, свисает по стенке и застывает отвратительными потеками. Светка смотрела-смотрела на все это, не выдержала, подошла:

— Гад ты, Генка, больше никто! Смотри, стена у тебя какая! Глазам пакостно! И раствору в два раза больше изводишь.

— Иди ты знаешь куда! — вяло огрызнулся Генка.

— А чтоб у тебя лапы пообвалились! — взвилась Светка.— Неужели не стыдно? Я девчонка, и то...

— Какая ты, к черту, девчонка? — оскалился Генка и тяжело хлопнул ее по плечу.

— Что за шум, а драки нет,— «сострил» подошедший к ним Колька.— Оставь Генку-то. Он не твой, а мой подсобник. Катись отсюда!

Светка еще раз взглянула на стену и испуганно всплеснула руками:

— Господи! Да ведь вы «пузо» сделали!

— Где это? — нахмурился Колька.

Стена действительно выпирала бугром, наплывом. Это означало, что ее «завалили», или, говоря языком каменщиков, сделали «пузо».

— Ломать же придется, перекладывать! Гад ты проклятый!..

Светка кричала теперь на Кольку. Колька подошел к ней совсем близко, словно хотел ударить, и тут Светка почувствовала, что от него пахнет водкой. Подошел и Генка. От него тоже пахло водкой. Светке вдруг стало до омерзения противно. Она резко повернулась и ушла, не сказав больше ни слова.

Наступил час обеденного перерыва, и, чтобы не встречаться ни с Колькой, ни с Генкой, она спустилась к штукатурам.

**Глава V**

Девчата-штукатуры сидят в маленькой теплой «курилке». Впрочем, «курилка» — название условное. Как раз если кто закурит, того выпроваживают из «курилки». В этой комнатушке штукатуры греются, обедают, совещаются. Светка открывает дверь, когда «курилка» уже полна народу. Девчата шикают на нее, но, потеснившись, уступают место на опрокинутом ящике. Все они держат на коленях сумки или свертки, достают оттуда булки, бутерброды, бутылки с молоком. Обедают... Светка достает из кармана кусок хлеба, пригоршню конфет, наливает из бачка воды в пол-литровую банку. Пока она возится, все почему-то с нетерпением поглядывают в ее сторону, а когда успокаивается, бригадир штукатуров Петр Тимофеевич Белоусов говорит:

— Ну что ж, продолжим...

Со скамейки поднимается не знакомая Светке девушка, аккуратненькая, чистенькая, одетая не в спецовку и не в ватник. «Интеллигентка»,— решает Светка и с неприязнью ее разглядывает.

Девушка раскрывает газету, пробегает глазами по строчкам, потом снова закрывает ее и, улыбнувшись, спрашивает:

— Дальше я вам своими словами расскажу. Можно?

И она рассказывает о рабочих бригадах, которые одинаково борются и за производительность труда, и за культуру. О тех рабочих, которые считают, что понимать и любить музыку — это так же важно, как важно понимать и любить свой станок.

Светка слушает чистенькую девушку с недоверием и недоумевает: почему все остальные так внимательны к ее рассказу? А девушка говорит еще и о том, что в бригадах этих люди и трудятся и живут по принципу «один за всех, все за одного».

«Как у нас вроде...— соображает Светка.— Врозь

даже ста граммов не выпьют...— И тут же вспоминает сегодняшний инцидент, хмурит редкие кустики бровей.— Нет, не как у нас!»

Когда девушка уходит, Светка спрашивает, кто она. Оказывается, секретарь комитета комсомола треста Тамара Киселева. Светка недобро ухмыляется.

— Понятно... Чистенькая... В кабинете сидит!

— Ну да! — возражает ей Зоя Алексеевских.— Тамара с нами работала. Маляром. Она после десятого класса по комсомольской путевке сюда приехала.

Штукатуры расходятся по рабочим местам. Светка нехотя идет в свою бригаду.

И опять с ней происходит что-то непонятное. Начинает казаться, будто уж не такие они ей друзья, эти парни из бригады каменщиков. И не так уж они к ней хорошо относятся... Светка реже и реже остается обедать с ними. Уходит к штукатурам в «курилку» и обязательно застает там что-нибудь новое. То Петр Тимофеевич Белоусов девчатам о смежных профессиях рассказывает, то все вокруг нового номера стенгазеты соберутся, а то книжку коллективно читают. Светка садится на ящик возле двери и слушает.

В отличие от Светкиной, в этой бригаде одни девчата. Только бригадир — Петр Тимофеевич. Впрочем, есть еще один мужчина. Вернее, не мужчина, а совсем мальчик. Гоша Артаментов. Ему недавно исполнилось шестнадцать лет. Он у девчат в бригаде вроде завхоза: материалами заведует, инструментом. А девчат — двадцать семь. Все разные, все с характером, но между собой почему-то не ругаются. Чуть что — собираются в «курилку» и обо всем судят, спорят, решают сообща. Стенгазета у них выходит яркая, красивая — сам Петр Тимофеевич оформляет. А он художник. И в каждом номере раздел «Как красиво одеться». Разные фасоны рисуются и пишутся объяснения к ним. Это кажется Светке совсем странным. Какое отношение может иметь фасон платья к делам бригады, о которых говорится в газете?

А однажды Светка застает в «курилке» совсем необычное. В центре комнатушки стоит смущенная, раскрасневшаяся Нина Спиридонова и, держа в руках свертки, растерянно произносит:

— Ой, девочки! Спасибо вам! Большое спасибо!

Девчата вокруг нее шумят, аплодируют, подбегают целовать.

Светка догадывается, что у Нины день рождения, и тоже подходит, поздравляет.

Вырвавшись из объятий девчат, Нина убегает и возвращается с большим кульком шоколадных конфет.

— Девочки, угощайтесь!

Светке весело и как-то очень хорошо в этой большой, дружной компании. Хорошо и вместе с тем грустно. А грустно оттого, что все эти девчата не ее друзья. Светка невольно вспоминает: как часто случается, когда все-все — и знакомые, и родные, и даже она сама — забывают о ее, Светкином, дне рождения. А в бригаде штукатуров не забывают ни одного такого дня. Заранее покупают подарки, выбирать их бегают в магазин чуть ли не всей бригадой.

Прежде Светка смотрела на маляров и штукатуров несколько свысока. Считала: самый главный человек на стройке — каменщик. И всегда старалась подчеркнуть это превосходство. И если бы в строительной школе ее не приняли в группу каменщиков, она ни за что — ни за что на свете! — не согласилась бы учиться на маляра или штукатура. И вдруг теперь она ловит себя на мысли, что ей становится интересна работа в штукатурной бригаде.

Светка иногда даже выгадывает время, чтобы сбегать к белоусовцам в рабочие часы. Задержат, например, подвоз кирпича, каменщики простаивают, и она мчится к штукатурам. Прибегает туда и удивляется. Даже на улице слышно: девчата поют! И не как-нибудь там, а очень даже хорошо, на два голоса поют. Поют и при этом бойко работают мастерками, шаблонами, затирают потолки, тянут карнизы, ровняют оконные и дверные откосы. Светка стоит, слушает, потом незаметно уходит к себе.

Приближается Новый год. Светкины соседи по общежитию шьют маскарадные костюмы, парни из ее бригады, лукаво подмигивая, потирают руки: «Эх, выпьем! Сам бог велел...» А штукатуры из бригады Белоусова тревожно совещаются: «Успеем ли?.. Ведь как бы хорошо сдать дом к первому января...» Светка с интересом рассматривает маскарадные костюмы, весело принимает приглашение парней «выпить и повеселиться», но самое важное для нее сейчас не бал-маскарад и не праздничное застолье. Главное, чтобы белоусовцы успели.

Она приходит в их бригаду, даже когда не совпадают смены. Смотрит, как девчата работают, берет инструменты, пробует работать сама. Радуется, если у нее получается, и очень переживает неудачи. Девчата, не принимавшие прежде всерьез ее интереса к штукатурному делу, теперь все объясняют и показывают. Зоя Алексеевских учит затирать откосы. Шура Михайлина берет в помощницы, когда надо готовить раствор. Маша Гукова показывает всевозможные шаблоны карнизов. В предновогодние дни бригада работает очень напряженно, но по-прежнему весело, с песнями. К новогоднему балу белоусовцы тоже подготовились, и Светка знает даже, какие у девчат костюмы.

По этим костюмам она и пытается найти штукатуров в праздничной сутолоке новогоднего маскарада. Гремит музыка, шуршит серпантин, танцуют вокруг нарядной елки веселые люди. Светка чуть не каждому заглядывает в лицо, но никого из белоусовцев не находит. И уже в разгар вечера узнает, что они не придут. Сказали по телефону, что пусковой объект заканчивают. Просили их номера из концертной программы вычеркнуть.

— Они так готовились,— расстраивается Светка.— Костюмы шили...

Ей становится одиноко на этом веселом и шумном вечере. Она отмахивается от знакомых, отказывается от приглашения на танцы. Озлобляется, когда парни пытаются затащить ее в буфет и угостить вином. Вырывается от них, называет своих друзей каменщиков пьяницами и подонками. Ей очень обидно, что белоусовцев нет здесь. А еще обиднее, что сама она сейчас не с ними, не на пусковом объекте.

И Светка уходит с вечера, не дождавшись конца.

## Глава VI

Начальник участка возвращает Светке заявление и твердо говорит:

— Нет! Эта бригада передовая, особенная... Не могу перевести вас туда.

— Я вас... очень прошу...

— Не могу!

Светка резко поворачивается, выбегает из кабинета. А в обеденный перерыв, стоя посреди тесной «курилки», громко, взволнованно говорит девчатам:

— Я хочу вместе с вами!.. Понимаете?

Голос у Светки дрожит, руки не находят себе места.

— Вы все знаете, какая я. Грубая... Пила... Курила... Но я хочу... жить правильно. Примите...

Она опускается на перевернутый вверх дном ящик и закрывает лицо руками. В «курилке» становится тихо. А потом Петр Тимофеевич очень спокойно спрашивает девчат:

— Что мы ответим Светлане?

И опять становится тихо, и Светка еще ниже опускает голову.

Наконец в дальнем углу слышится сдержанный шепот, потом кто-то говорит вполголоса, кто-то начинает громко спорить. Поднимается шум. И среди этого шума Светка улавливает громкие возгласы:

— Принять!

— Работник она отличный, а вот человек...

— Что «человек»? Ей еще и восемнадцати нет! «Человек» только начинается...

— Ну да! Примешь, а она всю бригаду опозорит.

— Сперва пусть исправится, а потом посмотрим...

— Да она уж давно от прежней своей жизни отошла! Не заметили разве?

— Видели мы таких!..

— А знаете, я ей верю! Все равно что самой себе верю!

Последняя фраза перекрывает все остальные, переворачивает Светкину душу, заливает лихорадочным румянцем ее широкое веснушчатое лицо.

Кто это сказал? Зоя Алексеевских? А может, Шура Михайлина? Или Маша Гукова? Или Галя... Светка поднимает глаза и встречается взглядом сразу с десятками глаз, веселых и добрых.

— Так как же решили? — спрашивает Петр Тимофеевич.

И все начинают кричать:

— Принять!.. Верим ей!.. Пусть пишет заявление!..

— Я... написала,— поднимается с ящика Светка.— Только начальник не взял. Отказал мне.

Тогда чуть не все тридцать человек идут к начальнику участка и уговаривают его перевести каменщицу Светлану Дедову в бригаду штукатуров.

Светка набрасывается на новую работу с жадностью. Она оказывается терпеливой и способной ученицей. А знания, приобретенные ею во время работы каменщиком, приносят большую пользу штукатурной бригаде.

Иногда Светка вспоминает о бригаде, из которой ушла. Вспоминает нехотя, без сожаления, но почему-то с чувством вины перед ребятами. Будто сама она пришла к свету, а их оставила... Она собирается пойти к ним и поговорить начистоту, откровенно. Сказать, почему ушла... И когда наконец приходит к каменщикам, застает там другую бригаду.

— А где же?..— озирается она по сторонам.

— Своих потеряла? — сдержанно спрашивает девушка-подсобница.— Так их пятый день нет. Бригадира сняли. За пьянство... А каменщиков две передовые бригады к себе пригласили. Они и перешли.

«Вот и хорошо,— думает Светка.— Очень хорошо, что передовые бригады к себе их взяли... Ребята-то ведь они стоящие! Отличные каменщики!»

# ВО ВТОРНИК ПОСЛЕ ДВЕНАДЦАТИ

**Глава I**

Антон потерял голос. Об этом сказала его жена, Люся, остановив Геннадия на лестнице. Сказала и, припав к перилам, заплакала.

Геннадий ничего не ответил, только поправил на ее вздрагивающих плечах теплый шарф. Укрыл этим широким мягким шарфом ее плечи так, словно Люся озябла и ее надо согреть.

Они стояли на пустой лестнице в пустом театре, когда кончились дневные репетиции, а до спектакля оставалось еще несколько часов. Геннадий молчал, а Люся все тише, все безнадежнее повторяла сквозь слезы: «Что будет?», и шарф сползал, а Геннадий снова укутывал ее плечи.

Он искал и не находил слов, которые могли бы утешить ее, потому что слов таких у него не было. Вернее, не было в нем того чувства искреннего сострадания, которое могло бы сделать любые — самые обыкновенные, самые банальные — слова теми единственными, какие были необходимы. Он этого не осознавал, только растерянно ощущал: чего-то в нем нет, чего-то недостает, что-то мешает принять горе друзей в свое сердце. А главное — Геннадий не мог поверить, что голос Антона — необыкновенно свободный, летящий,— голос, которому, казалось, никогда не будет конца,— исчез, умер.

— Ты вечером занят?— спросила Люся.

— Спектакль,— ответил Геннадий и почувствовал себя виноватым: он давно мечтал спеть в этом спектакле главную партию и даже был назначен дублером Антона, но опера шла редко, и каждый раз пел Антон. И каждый раз Геннадий слушал его, стоя в переполненной служебной ложе, и изумлялся, и завидовал, и, забываясь, становился вдруг просто зрителем, студентом с шумной галерки и искренне, восторженно аплодировал певцу вместе с залом.

Он представил Антона на сцене, представил сцену, театр без Антона, и его обожгло осознанием беды.

— Значит, ты не придешь к нам?— Люся медленно выпрямилась, отняла маленькие руки от лестничных перил.— Он скоро вернется, а я... Я не могу с ним — одна.— Она попыталась улыбнуться.— Во мне совсем нет мужества.

Геннадий подумал, что в ней никогда и не было мужества, не было характера, что и то, и другое в избытке было в Антоне, и этого хватало им на двоих.

— Я иду. Сейчас, вместе с тобой.

Но, раздумывая, не тронулся с места.

Люся подняла заплаканные глаза.

— У тебя премьера?

Геннадий мысленно повторил: «премь-е-ра», и где-то в самом дальнем, скрытом уголке его души на какой-то миг возникло едва уловимое ощущение... Он притворился, что не заметил этого, но ощущение возникло снова. Он попытался заглушить его и тогда отчетливо понял, что это ощущение радости.

Геннадий еще придерживал на Люсином плече теплый шарф, еще искал, что ей сказать, чем утешить, еще испытывал недоумение от того, что на Антона внезапно свалилось такое горе, а робкий, слабый зародыш радости уже рос, выпрямлялся и тонко, но торжествующе звенел в нем.

— Говорят, операция ничего не даст,— пробился сквозь этот торжествующий звон голос Люси.— Я была у профессора... Никто не берется.

Они спустились по лестнице, оделись в темной служебной раздевалке, пошли по солнечной мартовской улице, прозрачной и праздничной от первых прикосновений весны, и Люся все говорила и говорила о профессоре, о консилиуме, а Геннадий старался слушать ее, но слышал только себя: дьявольскую музыку ликования в самом себе. Это было страшно. Это было гадко. Стыдно. Это было против его воли, но он ничего не мог поделать с собой. Это было сильнее...

Около самого подъезда их нагнал Михаил. Полуобняв Люсю, прошел с ней несколько шагов, пообещал:

— Сейчас приду. Я около вашей двери утром полчаса проторчал. Носитесь где-то...

Антона дома не было. Безвольно опустив плечи, Люся остановилась около вешалки, то расстегивая, то снова застегивая пуговицы пальто. Геннадий осторожно,

как с ребенка, снял с нее шапочку, пальто, шарф. Поправил выскочившую из прически шпильку. Обернулся на резкий телефонный звонок.

Люся испуганно метнулась к аппарату, сорвала трубку и опять застыла в каком-то безвольном оцепенении. Трубка громко, требовательно что-то говорила, потом дребезжаще закричала, а Люся все держала ее в опущенной руке и растерянно смотрела на Геннадия.

Дребезжащий крик оборвался, трубка тоненько, прерывисто запищала. Геннадий подошел, взял ее из Люсиных рук, положил на рычаг. Спросил, чтобы отвлечь Люсю:

— Санька куда-нибудь в кино убежал?

— В туристский поход всем классом ушли,— ответила она безучастно.

— А где у вас Василь Василич?— чтобы только не молчать, спросил Геннадий еще.

Люся вяло кивнула на дверь соседней комнаты.

— Покажи.

Так же вяло, неохотно она повела Геннадия за собой через маленькую Санькину комнату, открыла дверь в просторную кладовку, оборудованную под фотолабораторию, сказала шепотом:

— В углу, под столом.

И включила свет.

Они присели на корточки. Люся чуть сдвинула лист картона и открыла поставленный на ребро деревянный ящик. В нем, обернувши себя клочками газет, на таком же газетном ложе спал еж. Он спал вовсе не по-ежиному, в свободной, непринужденной позе на боку. Из газетного одеяла торчали острый черненький нос, белые кончики иголок, виднелось пушистое, светлое брюшко. Геннадий протянул было руку, чтобы погладить мягкое ежиное брюшко, но Люся закрыла ящик — как бы задвинула четвертую стену домика.

— Если потрогаешь — проснется. А так месяц проспит. За всю зиму раза три просыпался.

И она, оживившись, стала рассказывать, как Василь Василич, просыпаясь, открывает дверь кладовки, как выходит оттуда худой, даже какой-то сплющенный и стучит своей чашкой, пока в нее не нальют молока, а потом пьет долго и много, а насытившись, становится снова колючим колобком и, переваливаясь на коротких лапах, смешно бегает по квартире.

— Я видел, как он стойку перед холодильником делает,— чтобы поддержать спасительный разговор, вспомнил Геннадий.

— Это он колбасу просит. Очень любит.— И Люся опять тихо, неуверенно засмеялась.— Встанет на задние лапы, а передними холодильник царапает.

Телефонный звонок погасил ее смех.

На этот раз она почти спокойно сняла трубку.

— Да. Слушаю. Здравствуй, Витя. Сегодня?— И голос ее опять надломился.— Сегодня поет не он. Почему?— медленно повторила заданный ей вопрос и, ища поддержки, оглянулась на Геннадия.

А он опять вспомнил, что сегодня его премьера, и опять услышал в себе музыку радости. Машинально пододвинул Люсе стул. Она устало прислонилась к спинке.

— Антон нездоров,— сказала в трубку.— Нет, не ангина. Ну приезжай, если хочешь.

И торопливо нажала рукой на рычаг.

И опять им обоим стало тягостно, и Геннадий искал и не находил подходящих к случаю слов.

Она пошла в кухню, и Геннадий бесцельно пошел следом, жалея, что поддался настроению, взял на себя роль утешителя, и стыдясь этих своих мыслей, и с нетерпением ожидая спасительных шагов за дверью.

— Кофе, что ли, сварить?— думая о своем, равнодушно спросила Люся.

Геннадий промолчал, и она тут же забыла, о чем спрашивала.

Стукнула незапертая входная дверь. В кухню заглянул неестественно улыбающийся Михаил. Люся скользнула по нему невидящим взглядом, поздоровалась, будто не с ним только что виделась в подъезде.

Равнодушно сказала:

— Раздевайся.

Она все-таки взяла себя в руки: сварила кофе, нарезала ветчину, сыр, лимон, накрыла в столовой на маленьком низком столике. И пошла открывать дверь, по спокойному, деликатному звонку безошибочно определив, что пришел Виктор.

Он пришел не один, с незнакомым Люсе человеком, одетым, как и сам Виктор, в ладную офицерскую шинель и высокую барашковую папаху.

— Где больной?— шумно спросил Виктор с порога.— Я ему знаешь кого привел?! Сразу выздоровеет.—

И, наклонившись к самому ее уху, шепотом объяснил:

— Это Шатько, Люсенька. Помнишь, рассказывали?

Люся не помнила. Всегда с интересом встречавшая новых людей, новые знакомства, сегодня она была недовольна появлением чужого человека.

— Проходите, пожалуйста,— пригласила она сдержанно,— Антон скоро придет.

Расстегнув шинель, Шатько потянул было из внутреннего кармана бутылку коньяка, но, поймав предупреждающий взгляд Виктора, согласно кивнул и, водворив содержимое кармана на место, заговорщически улыбнулся: ладно, мол, подождем Антона.

Усаживая вновь прибывших, Михаил и Геннадий оживились, задвигали стульями. Люся добавила закусок, достала из бара рюмки и какую-то необычного вида бутылку.

— Это ликер,— сказала Михаилу, попытавшемуся прочесть название.— Кубинский. Банановый. С кофе хорошо.

Она едва уместила все это на столике. Предложила:

— Может, за большой стол?

Мужчины отказались. Они уже нашли общий разговор, заспорили о судьбе бразильского футбола и растормошили даже Геннадия.

Люся разлила кофе и хотела уйти, но Михаил усадил ее рядом с собой, шепнул участливо:

— Отдохни. Выпей вот...— и придвинул ароматно дымящуюся, до краев наполненную чашку.

Она машинально отпила, но вкус почувствовала и глотнула еще, уже с удовольствием. Сказала всем:

— Пейте. А то остынет.

Михаил плеснул себе в кофе ликеру, попытался пошутить:

— Были люди как люди — гостям чай подавали. Другие напитки... Русские. А теперь моде поддались. Все ты, Люська,— он легонько подтолкнул ее локтем.

Люся промолчала. Не приняла шутки. Михаил занес заморскую бутылку над чашкой Геннадия. Тот быстро прикрыл чашку рукой.

— Отдельно?— не понял Михаил.

Геннадий другой рукой прикрыл рюмку.

— Нельзя мне.

Все, даже Люся, посмотрели на него с недоумением, и Геннадий смутился. Пояснил:

— Нельзя мне: спектакль вечером.

— Ну, знаете...— рассмеялся Михаил.— Капли датского короля. Грудные младенцы употребляют.

Виктор и Шатько тоже невольно засмеялись, и Геннадию стало совсем не по себе.

— У меня премьера сегодня,— сказал он, словно оправдываясь, и заметил, как сразу насторожилась Люся.

— Не настаивайте,— решительно взяла она его под защиту.— Геннадию на самом деле вечером петь. Вместо Антона. Премьера... Я, пожалуй, еще сварю кофе.

И она ушла в кухню, едва сдерживаясь, чтобы не разреветься при всех.

Мужчины молча закурили. Геннадий поддел ломтик лимона, положил себе в кофе.

Люся не возвращалась, и Виктор, пересев на ее место рядом с Михаилом, тихо спросил его:

— Что случилось?

Тот сразу перестал бодриться, сказал горестно:

— Со связками что-то у него. Необратимое.

— То есть... как?— не понял Виктор.

— В прошлое воскресенье,— негромко, чтобы не услышала Люся, стал объяснять Михаил,— во втором акте. Сел голос. Антон едва вытянул арию. Врача вызвали. Она, конечно, поднялась: заменяйте другим актером, спектакль отменяйте... Да разве это так просто? Ну, в антракте там какие-то полоскания, орошения... Антон допел. Даже на «бис» вызывали. А домой пришел и — ни звука. Люська сначала думала — разыгрывает.— И спохватился: — Что-то она там долго. Ревет, наверно.

Едва не опрокинув неудобный столик, он поднялся, вышел из комнаты.

Люся сидела на маленькой табуретке, держала в руках раскрытую банку с кофе. На плите кипела вода.

— Давай помогу,— взял у нее банку Михаил.— Да разве так варят кофе?

И он стал колдовать над плитой, подогревая сухой кофе и растирая его с сахаром.

Люся смотрела равнодушно, думая о своем, а когда аромат кофе наполнил кухню, поднялась.

— Ты похозяйничай за меня. Я — к соседке. Антон придет — скажи. Пятнадцатая квартира, рядом. Да ты их знаешь — Черноскутовы.

Она ушла, и мужчины, не таясь, заговорили об Антоне.

Михаил еще раз, со всеми, какие знал, подробностя-

ми рассказал о случившейся неделю назад беде. О том, как вначале все — в театре и сам Антон — посчитали это обычным, профессиональным заболеванием певцов — ларингитом, и только врачи сразу забили тревогу.

— Зоя Сергеевна... Есть у них в поликлинике такая красивая женщина с металлическим солнышком на голове — ларинголог. Так она всех крупных специалистов города на ноги подняла: консилиумы, консультации... Антон вначале шутил по этому поводу, тем более что голос — разговорный — к нему вернулся. А вот вчера... Вчера ему прямо сказали. Он после консилиума ко мне заходил. — Михаил сунул в пепельницу окурок.— Люсе он ничего не сказал. Это уж она сама сегодня узнала.

— Ну и как он?— спросил все время молчавший Шатько.

— Как?— задумался Михаил.— Да по нему и не скажешь, что стряслось такое. Шутит. В токари, говорит, пойду, тряхну стариной. Отстал только: до войны на ДИПе работал, по тем временам — последнее слово техники. А теперь эти первые ДИПы разве что в музее найдешь... А как он в театре?— Михаил повернулся к Геннадию.

— Да, я... и не видел его, — по-прежнему чувствуя себя в чем-то виноватым, сказал Геннадий.— У меня свободные дни были.

Он сидел вместе со всеми, потягивал остывший кофе, участвовал в разговоре и все-таки не испытывал ощущения собственного присутствия здесь, в квартире Антона. Мысленно он уже выходил на сцену, видел таинственный, тревожащий черный провал зрительного зала, слышал оркестр и даже суфлера Горловского, старательно произносящего, а вернее, выпевающего начальные фразы арии.

Геннадий всегда знал текст, и его раздражал вечно потный, с жирным, мясистым лицом и мокрыми, собранными в трубочку губами Горловский. И сейчас мысленно Геннадий демонстративно отвернулся от суфлера, уловил вступительные такты и запел — широко, свободно, будто летящим на крыльях голосом. И отчетливо услышал интонации, тембр, силу Антонова баритона. И как ни старался освободиться от него, как ни желал услышать свой собственный, настойчиво звучал в его ушах голос Антона Смолина.

Геннадий сделал усилие, и зрительный зал, светя-

щаяся оркестровая яма, мокрые губы Горловского, нервная дирижерская палочка — все исчезло, и только безграничный и властный голос звучал и звучал, вселяя в Геннадия суеверный, назойливый страх, наполняя его неуверенностью и все тем же, не покидающим ни на миг чувством собственной виноватости.

Он присмотрелся к Михаилу, Виктору и Шатько, прислушался к их негромкому — на печальной, тревожной ноте — разговору и с удивлением заметил, что и над ними тяготеет это непонятное, несправедливое чувство вины перед другим только за то, что сами они здоровы и благополучны. У них — троих — чувство это было острее, сострадание — искреннее и чище, потому что никогда не испытывали они зависти к Антону. Геннадий знал это хорошо, хотя коротко знаком был только с Михаилом, Виктора видел всего несколько раз, а с Шатько встретился впервые.

...Они сидели за низким кофейным столиком, так и не прикоснувшись к закускам. Говорили негромко и мало. Сами того не замечая, говорили в прошедшем времени, без конца повторяли: «Антон... был...»

На улице радовался весенний день, ломился солнечными лучами в окна комнаты и отступал перед мутной завесой сигаретного дыма, густым запахом кофе, глухими и очень трезвыми голосами мужчин. Отступал перед этим отрешенным словом «был».

— Он всегда был таким,— раздумчиво говорил Виктор.— Горластым... Не в смысле — крикливым. В смысле — пел где попало. В сорок первом на Синявинских... Отведут на отдых, отроем землянку, набьемся в нее «под завязку»: — «Спой, Антоха!» А ноги подкашиваются, голова не держится, на грудь виснет. Потеснимся, дадим ему место посуше, возле печурки, протянет руки к огню и — негромко так, словно самому себе: «Когда я на почте служил ямщиком...» И тоска в этой песне, и безысходность, и смерть всего в трех километрах от нас, а на душе легче становится. Так и задремлешь под песню и сон какой-нибудь хороший увидишь. Довоенный... И на марше пел, если обстановка позволяла, и однажды даже в тылу у немцев. Это не только я, это Алена помнит. Где она, кстати, Алена? Приехала?— Виктор скомкал пустую сигаретную пачку, поискал, куда бы ее кинуть, и положил в доверху набитую окурками пепельницу. Повторил раздумчиво: — Да... Алена должна помнить...

Больше он ничего не сказал, только посмотрел на Шатько, встретился с ним глазами и сразу догадался, о чем он сейчас подумал.

— А помнишь,— не отводя глаз, спросил Шатько,— как ты нас на дороге встретил? Утром... Я этот день вторым днем рождения считаю.

Виктор не ответил. Все так же смотрел Шатько в глаза, словно читал в них что-то еще, не сказанное и очень важное.

Неожиданно оказалось, что у всех кончились сигареты.

— Пойду к Черноскутовым,— выбрался из кресла Михаил.— Они оба смолят — наверняка разживусь куревом.

Геннадий тоже поднялся: хотел уйти. Но лишь прошелся по комнате, открыл форточку и снова сел, и снова налил себе горький, остывший кофе. Он понимал, что, возможно, связывает своим присутствием остальных, но — раз уж пришел — неловко было уйти, не дождавшись Антона.

Сегодня он чувствовал себя здесь чужим. И это было странно, потому что и Антона, и Люсю он знал давно, с консерватории. Даже был в те студенческие годы серьезно влюблен в Люсю и до сих пор испытывал к ней уже спокойное, но неизменно нежное чувство бескорыстной привязанности.

Виктор и Шатько все смотрели друг на друга и говорили как-то отсутствующе — каждый самому себе, и Геннадий не мог уловить — о чем они, хотя внимательно слушал, а иногда переспрашивал. Он не мог уловить — о чем, но безошибочно знал: об Антоне.

— Ты ведь с нами тогда еще не был...— не то спросил, не то самому себе сказал Виктор.— Под Новгородом. Когда отходили к Крестцам... Тогда еще Сашка Акиничев ранен был. И другой парень, белобрысый такой — не помню, как звали. Ну, того несильно царапнуло: кожу на голове содрало.

— ...А ты ничего и не понял. Тогда, на дороге,— не слушая Виктора, словно бы вспоминал вслух Шатько.— Думал, он просто так — напился? Думал, с пьяных глаз глотку драл?.. А-а!— оборвал он себя, поискал сигареты, не нашел, вынул из пепельницы окурок, прижег его, нервно затянулся.

Виктор, словно очнувшись, посмотрел на Шатько пристально, понимающе и сказал:

— Знаю, о чем ты. Отвел он тогда от тебя беду. Ты бы, дурак, себе пулю в лоб пустил.

— Точно,— глухо отозвался Шатько и потянулся к рюмке с ликером. Взял ее за широкое круглое дно, приподнял над столом, но пить не стал. Поставил обратно.

Геннадий посмотрел на часы. Было всего двадцать минут третьего. До спектакля оставалось еще пять часов.

Снова все замолчали, но Геннадий знал, что Шатько и Виктор вспоминают сейчас войну, фронт. Себя и Антона. И представил его таким, каким впервые встретил: в солдатской гимнастерке, со знаками ранения на груди — одной красной и двумя желтыми нашивками. В кирзовых сапогах с широкими неуклюжими голенищами, с забинтованной — на перевязи — рукой, припадающим на больную правую ногу. Он и потом долго видел его таким, только повязку с руки Антон снял на втором курсе и стал носить в слабой прозрачной ладони тугой резиновый мячик, все сильнее и сильнее сжимая его набирающими силу пальцами. К концу учебы он и ходил уже хорошо, свободно, танцевал с девчонками на вечерах, бегал по крутым консерваторским лестницам.

«А ведь сам не пришел бы в консерваторию,—вспомнил Геннадий.— Все Вера Генриховна. И лишь потому, что госпиталь был в соседнем здании».

— ...Через Волхов переправлялись,— услышал Геннадий и отвлекся.— А впереди, на горизонте, пыль во все небо. Послали парня узнать. Бежит обратно — руками размахивает, кричит что-то. Залегли. Ждем. Он подбегает ближе и от смеха говорить не может. Гуси, оказывается. Несметное стадо гусей. Ребятишки перегоняют...

Виктор продолжал рассказывать, а Геннадий и слушал его и думал — вспоминал свое.

И Шатько тоже словно бы слушал и, откинувшись в кресле, молчал, а представлялся ему исхлестанный, разбитый проселок, чужая, неизвестно какой части, кухня и повар — худой, скуластый мужик, кричащий: «Давай! Налетай! Разгружай кухню! Немцу, что ль, отдавать?» И ребята, бегущие к нему с котелками, с касками... Трое солдат растолкали патроны по карманам — освободили металлический ящик: повар набухал каши и в него: «Ешьте. Ложки-то небось есть?»

Пришел Михаил. Положил на стол пачку сигарет. Сказал о Люсе:

— Спит, кажется. В диванную подушку уткнулась и лежит.

Он снова подсел к столику, разорвал целлофановую упаковку, открыл пачку. Все потянулись за сигаретами, задымили.

— Д-да-а!..— вздохнул Михаил.— Черт знает что!..

— Не верится,— сказал в тон ему Геннадий.— Не верится, что Антон потерял голос.

Он сказал это искренне, он на самом деле не мог в это поверить. Но Михаил в ответ холодно замолчал, а Виктор резко поднял голову:

— Как вы сказали? Потерял?— И сухо заметил:

— Не то слово. Антонов голос — не перчатка и не носовой платок. Его нельзя потерять.

— Так... принято говорить,— сдержанно пояснил Геннадий,— у певцов, у медиков.

— Я не об этом,— устало возразил Виктор.

Геннадий уловил в его голосе скрытую неприязнь и подумал, что все они — и Виктор, и Михаил, и Шатько, и Люся, конечно, — видят в нем прежде всего дублера. Дублера, ценой Антонова несчастья выходящего на первый план. И им неприятно, что он сменит Антона. Не потому, что он. А потому, что сменит.

...Радовался за окнами первый весенний день, бросал в стекла солнечные зайчики, тянул через открытую форточку лукавые лучики и по-прежнему никак не мог пробиться через плотную завесу табачного дыма, через глухое и отрешенное слово «был». Казалось, одна эта квартира во всем городе оставалась безучастной к веселому празднику истосковавшейся по теплу природы, в одной этой квартире сидели сейчас подавленные, растерявшиеся перед чужой бедой люди.

## Глава II

Виктору вспоминалось, как осенью сорок первого отходили они к Крестцам. И виделись почему-то не переправа, не «юнкерсы», густо сыпавшие фугасками, и даже не Сашка Акиничев, тяжело раненный шальной разрывной пулей,— ему виделось невероятно огромное, шумное, белое, как разлив потревоженного ветром озера, стадо гусей. И он не мог оторваться от этого странного видения, потому что чувствовал: с ним связано что-то еще, очень важное для него сейчас.

...Шли и шли по черному обгоревшему полю белые гуси, прикрывая неуместной праздничной белизной изуродованную больную землю, обтекали воронки и торопливо продвигались к лесу. Даже когда голова этого несметного полчища скрылась в изрубленном осколками старом березняке, стадо все текло и текло по полю, и не было видно его конца.

Парень, которого посылали разведать, все еще удивленно смеялся: радовался, что не танки пылили на горизонте, не пехота немецкая обошла с тыла. Крутые коричневые кудри его сыпались из-под пилотки, вздрагивали над высоким красивым лбом.

Виктор вскинул автомат, чтобы срезать с краю нескольких жирных птиц, и только тогда заметил двух мальчишек с длинными хворостинами в руках. Неуклюже обмотанные поверх курточек серыми женскими платками, они шли устало и деловито. А чуть отстав, старательно шагала за ними кукольно-аккуратная — в коротком красном пальтишке и красном капоре — девочка, тоже с хворостиной.

Кудрявый парень, перестав смеяться, обалдело разглядывал ребятишек. Виктор опустил автомат.

А потом и Виктора, и кудрявого парня, и еще пятерых солдат послали разведать шоссе, и они пошли, сначала не таясь, открыто, потом маскируясь, перебегая. И большого труда стоило им исполнить приказ — вернуться к своим, не ввязавшись в перестрелку, не подорвав на шоссе ни одного, набитого боеприпасами или солдатами, тупорылого «Бьюссинга».

Вернувшись, они уже не нашли на месте свою часть. Доложили начальнику заградотряда, выспросили у артиллеристов, куда ушла их стрелковая, и отправились догонять. Километров через шесть нарвались на немцев, вклинившихся в болотную глухомань уже после того, как прошла дивизия. Чудом прорвались все семеро, перевязали поцарапанную немецкой пулей белобрысую голову Василенку, перетянули жгутом раненую, кровоточащую руку его дружка Спиридонова, пожевали сухарей, размоченных в студеном — до зубовной ломи — ручье, и пошли дальше. А к вечеру наткнулись на одинокий, застрявший грузовик из своей части.

Обнялись с шофером, одним махом вытащили машину, севшую задним мостом в желто-зеленую ряску придорожной болотины, помараковали над старой неточной картой, оказавшейся у водителя, и тогда только увиде-

ли в кузове, на охапке сена, привалившуюся к ящику с гранатами, крепко спящую девочку.

Кудрявый парень откинул прикрывавшую ее шинель и присвистнул:

— Да это же та... Красная Шапочка!

Девчушка спала, подтянув острые коленки к подбородку, по-старушечьи сложив на груди руки, и во сне судорожно подергивала истрескавшимися сухими губенками. Перепачканный засохшей грязью, красный шелковый капор развязался и съехал набок, открыв тоненькую светлую косичку.

В надвигавшихся сумерках солдаты не сразу заметили, что желтые исцарапанные ее ботинки, трикотажные шерстяные гамаши, пальто и руки запятнаны, забрызганы кровью. Но когда разглядели, они, уже привыкшие видеть и кровь, и смерть, испуганно замолчали.

Возившийся в кабине шофер открыл дверцу.

— Садись кто ко мне! И дите — на руки. Вот ты, раненый,— позвал он Спиридонова.— Или нет, руку намаешь. Вот ты давай, шах персидский!

Он кивнул Василенку, голова которого, как чалмой, была замотана широким бинтом и, вдруг обеспокоенный, весь вытянулся из-за дверцы кабины, привстал на подножку, заглянул в кузов:

— Чего там?

И сразу понял.

— Да нет! — сердито крикнул он на солдат.— Гуси это! Гусей поубивало несметно. Под обстрел попали. А она одного ухватила и бежать. Сама ревет, гусь кричит, кровь из него хлещет... Эти самые гуси, можно сказать, нас и спасли. Вывалились откуда-то из лесу и дорогу, и все вокруг затопили... Мы-то еще до ихнего нашествия проскочили, а потом... Немцы, видать, побуксовали на этом гусином месиве.

— А пацаны? — вспомнил кудрявый парень.

— Убило одного. Другого Машулин взял — батальонный повар. Братовья — пацаны-то...

Шофер спрыгнул на землю, обошел машину, попинал носком сапога скаты. Заторопился:

— До ночи, что ль, торчать будем? Поехали...

Кудрявый парень, примеряясь как поудобнее, стал поднимать девочку. Все так же нервно подергивая губами и не просыпаясь, она ухватила его руками за шею, ткнулась лицом в черствое сукно шинели. Кудрявый передал Василенку спящую девочку, тот влез с ней в ка-

бину, остальные устроились в кузове, и не ходко, не бойко, подпрыгивая на оплетавших проселок корневищах, машина потянула лесной дорогой на северо-восток.

Тишина была спокойной и мирной, и солдаты в кузове, привалившись друг к другу, дремали. Василенок напряженно держал на коленях девочку, и Виктору, сидевшему у стенки кабины, видны были в застекленное оконце его одеревеневшая спина и остро торчащий локоть.

Постепенно фигура Василенка расплылась, кабину затопила темнота, и только покачивающаяся, подпрыгивающая голова Василенка смутно белела на уровне запылившегося оконца.

Не зажигая фар, все медленнее и медленнее ползла машина проселком и наконец встала. Шофер клацнул дверцей, возник над бортом грузовика.

— Не вижу дороги.

— Подфарники включи,— неуверенно подсказал кто-то.

Шофер обрезал его молчанием и повторил:

— Ни черта не вижу! Что делать?

— Останавливаться нельзя.— Виктор узнал голос кудрявого парня.— Если верить карте, до ближней деревни километров десять. Надо ее ночью пройти: может, там немцы...

— Разве что пешим,— враз поугрюмел шофер.— А так — застрянем. Или в лесину врежемся.

Солдаты повставали с мест, Виктор под полой шинели чиркнул спичкой.

Шофер подождал ответа и с малой надеждой проговорил:

— Горючего-то еще хватит.

И все поняли, как жалко ему свою обшарпанную, побитую полуторку и каким неприкаянным, беспомощным почувствует он себя, когда придется оставить машину.

— Нас... вместе мобилизовали,— как о человеке, сказал он о грузовике.— В эмтээсе работал. Мобилизовали и сразу — на передовую. А передовая-то от наших мест была...

Он вздохнул и замолчал: видно, совсем рядом была от его МТС передовая.

Виктор, затягиваясь спрятанным в кулаке окурком, все смотрел в оконце на едва маячившее белое пятно. И когда шофер безнадежно спрыгнул на землю, перемахнул борт за ним следом.

— Слушай,— остановил Виктор шофера, возившегося под сиденьем.— Один пусть пойдет впереди и что-нибудь белое себе на спину накинет. Понимаешь?

— А то! — бойко откликнулся шофер.— Парни! — постучал он по кузову.— Скидывай кто рубаху! Я свою на бинты сполосовал.

— Не надо рубаху,— сказал кудрявый парень и, повозившись в сумке из-под противогаза, прошел вперед по дороге.

— Видно? — крикнул он приглушенно.

И все увидели в кромешной и плотной мгле движущееся белое пятно.

— Хорош! — сорвался на крик обрадованный шофер и, включив малую скорость, подъехал к пятну вплотную.

— Не сомни только,— пошутил парень.

— Дви-нули! — не приняв шутки, скомандовал шофер.

— Постой! Значит, так,— распорядился кудрявый.— Всем в кузове спать! Через час меняться.

— Решение верное,— по-командирски поощрил Виктор и тронул белую тряпку, повязанную парнем через плечо на манер чемпионской ленты.

— Орден чистой портянки,— на улыбке пояснил парень.— Прикажете идти?

Они так и шли, меняясь, впереди машины, у самого ее радиатора, и шофер, изнемогая от усталости, тянул свою полуторку на самых малых оборотах. Когда стали попадаться признаки близкого жилья — зароды сена, штабеля заготовленных дров,— поехали еще осторожнее. В кузове перестали дремать и сторожко смотрели в черноту ночи, сжавшую со всех сторон медленный, почерепашьи ползущий грузовичок.

Шедший впереди постучал по радиатору, остановил машину. Сказал в кузов:

— Развилка. Карту бы поглядеть.

По карте выходило, что около развилки — чуть поодаль — кончался лес, дорога шла полем и вела к какому-то селению, обозначенному едва заметным кружочком. Название стояло на сгибе потрепанной карты, и от него не осталось ни одной буквы.

Машину свели с дороги, стянули над ней две молодые березы — голые, но ветвистые. Следы от скатов закидали хворостом. Оставили в лесу — в стороне от машины — шофера, Василенка с девочкой и Спиридонова, едва не стонавшего от резкой боли в руке. И, держась

обочь дороги, пошли к месту, обозначенному на карте черным кружком.

Селение оказалось большой справной деревней, обнесенной, как все деревни в этих краях, длинными жердяными пряслами. Было безлюдно и тихо, и угрюмые в ночи — без единого огонька — добротные пятистенки выглядели пустыми, давно покинутыми.

Виктор оставил солдат за полуразобранным колодезным срубом, подошел к ближнему дому, потолкался в наглухо запертые ворота, приник к закрытому ставню. Осторожно постучал и, вскинув трофейный автомат, отступил в кусты палисадника.

Пятистенок молчал. Молчала вся затаившаяся деревня, и Виктор раздумывал: постучать громче или пройти дальше? Он выбрался из цепких зарослей не то смородины, не то разросшегося малинника, перемахнул обратно через штакетник и, когда проходил мимо ворот, услышал, как они тоненько, тревожно скрипнули.

Цепенея от напряжения и чувствуя от этого напряжения колкую боль в глазах, он, не отрываясь, смотрел на ворота, искал и не находил ни просвета, ни щели в притворе или подворотне. Ворота скрипнули еще раз, и Виктор понял, что с той стороны кто-то медленно отодвигает засов.

Приглушенно звякнула щеколда: чья-то рука поднимала ее осторожно и мягко. Наконец неслышно, медленно стала отходить в глубь двора боковая калитка.

Какое-то время калитка постояла открытой, словно заманивая жертву, а потом в ее проеме возникла высокая, крупная женская фигура. Помедлила и шагнула из ворот. Виктор отделился от изгороди палисадника и, не опуская автомат, вышел навстречу.

Женщина замерла, слегка качнулась назад, но не отступила, не попятилась. Спросила низким, сухим голосом:

— Кто такой?

— А кого ждете? — негромко и как мог спокойно ответил Виктор.

— Никого,— так же сухо сказала женщина и осталась стоять.

Наученный войной, он все же испытывал неловкость за предосторожность и недоверие к этой своей, русской женщине и потому не стал задавать заранее приготовленные вопросы, а сказал просто:

— Попить найдется?

— Входите,— отступила она, давая ему дорогу. Он помедлил, и она вошла первой, поднялась на крыльцо.

Виктор прикрыл калитку, нашарил ногой первую качающуюся ступеньку, спросил:

— В доме кто есть?

— Есть. Ребятишки... Свекруха со свекром.

Оба остановились на крыльце.

— Вынеси воды.

— Спят все,— чуть насмешливо пояснила женщина.— Я себе в горнице, под окнами, стелю — услышала.

— Спят, так проснутся,— упрямо сказал Виктор.— Вынеси.

— А что выносить? — легонько толкнула она дверь в сени.— Здесь она, в кадке.— И ковшик прозрачно, тихо шлепнул по воде.

Виктор пил огромными судорожными глотками, обливая подбородок и грудь и испытывал такое ощущение, словно ему не хватает рта, чтобы напиться досыта. Женщина стояла над ним, и он мимолетно подумал, что при свете ее присутствие стесняло бы его.

Задрав голову, он опрокинул ковш так, что железный его край холодно и мокро впился в лоб. Подбирая губами последние капли, сказал-выдохнул прямо в ковшик:

— Еще.

Потом он пил уже обстоятельнее, смакуя вкус воды, и чувствовал, как наступает утоление, а вместе с этим возвращаются настороженность, усталость. Ему вдруг показалось, что стоит он здесь вечность, и представилось, как напряженно, терпеливо ждут его затаившиеся за колодезным срубом в пыльном сохлом бурьяне товарищи.

— Зайди вот сюда, в чуланку,— позвала женщина.— Да расскажи, кто такой. Не в дверях же стоять.— И она потянула его за рукав.

Он вошел вслед за женщиной в тесный, без оконца, чулан, на ощупь сел на какую-то лавку, а хозяйка закинула крючок на двери в сенях, плотно притворила чуланную дверь и засветила тусклый фонарь, с каким обычно ходят в темные зимние вечера в стойло.

Виктор осмотрелся: со стен свисали золотистые плетенки лука и аккуратно связанные снопиками и пучками сухие травы. На полках теснились перевернутые вверх дном крынки и чугунки. В углах на полу были свалены половики, мешки и какая-то деревенская утварь.

Он внимательно посмотрел на хозяйку, выдержал ее пристальный ответный взгляд.

— Немцев у нас нет,— прямо сказала она.— И не было. Будут, однако...

Виктор уловил осуждение, но глаз не опустил.

— Вокруг во всех деревнях немцы. Только еще за угором, в Галчихе, нет.

Она скользнула глазами по его грязной солдатской одежде, спросила:

— Ты откуда идешь? — и перебила себя: — Есть хочешь?

— Своих догоняю,— скупо ответил Виктор.— Отстал.

— Отстал...— повторила она.— А остальные, значит, вперед ушли?..

Она поставила перед ним на покрытую клеенкой кадушку чугунок вареной картошки.

— Некогда,— отрезал Виктор.— В Галчихе-то что, наши?

— Нет. Не в самой. На молокозаводе.

— Скажи, как пройти. А картошку, если не против, с собой возьму.

— Не отпущу голодного.— И женщина стала торопливо доставать из корчаги огурцы, обрывать с золотистых плетенок луковицы. Громыхнув железной петлей, вынула из ящика завернутый в полотенце каравай хлеба, разломила пополам. Оглянув выставленную на кадке снедь, рванулась в дом:

— Щи с вечера оставались.

Он задержал ее.

— Ничего больше не надо. Пойду,— и, посмотрев пристально, доверился: — Не один я.

Тогда она сгребла все в мешок, вкусно пахну́вший на него отрубями, покидала туда еще огурцов, луку, картошек, сорвала с гвоздя телогрейку, задула фонарь.

— Много вас?

Виктор промолчал, и она больше не спросила.

— Пойдем сейчас... Детские дачи тут у нас есть,— уже за воротами, надевая телогрейку, сказала она помягчевшим, потеплевшим голосом.— Санаторные. Для малолеток... Детей вывезли, только нянечки наши деревенские остались. Отдохнете, выспитесь, с рассветом на Галчиху уйдете. Мост там снесло. Ночью не пройти.

— А с машиной? — вырвалось у Виктора.

— С машиной хуже. Однако вроде бы брод есть. Ребятишек-то машинами увозили.

За воротами она остановилась, стала вглядываться в темноту.

— Остальных тоже надо позвать. Ты не сомневайся.

Он снова промолчал. Остальные, должно быть, уже пробирались следом: такая была договоренность.

Женщина вела в сторону от деревни, к тому самому лесу, откуда они только что вышли.

Не прошло, наверное, и часа, как все они — и солдаты, и шофер, и Василенок с Красной Шапочкой на руках — сидели на маленьких детских стульях, за маленькими низкими столиками в просторном пустом зале и ели из мисочек сладковатую холодную манную кашу. Ели в темноте, на ощупь, зажигать свет опасались, и так же, на ощупь, орудовали в остывшей кухне санаторные нянечки, выскребая из котлов остатки вчерашнего ребячьего завтрака и радуясь неожиданным находкам: кастрюльке компота, черствым шаньгам, куску сливочного масла.

Дверь в зал постоянно открывалась, в нее все входили и входили женщины, судя по голосам,— и молодые, и старые, и даже простучал деревяшкой старик инвалид в сопровождении двух своих сверстников, и все они тоже садились на крохотные стульчики, а кому не хватало — на подоконники, на пол, или оставались стоять, норовя оказаться поближе к солдатам. Похоже было, что разбужена уже вся деревня и добрая половина ее сошлась здесь.

Женщина, которая привела их сюда, взволнованно и суетливо хозяйничала: не осталось и следа от ее холодной сдержанности. Она командовала и своими подружками, и солдатами, покрикивала на стариков, которые и без того охотно делились с фронтовиками едучим, горьковатым самосадом.

Потом, много дней спустя, уже в своей части, вспоминая проведенную на детской даче ночь, прозвали они эту энергичную, переполненную заботой и горем женщину Командиршей. А тогда окликали ее, как все деревенские,— то Варварой, а то Матвеевной.

Командирша турнула несколько баб в бельевую — глухую, без окон комнату,— велела там засветить лампу и «обштопать» солдат. По ее требованию парни беспрекословно стянули с себя и отдали женщинам починить кто — рваную гимнастерку, кто — расползшуюся по шву шинель. Виктора она, не церемонясь, заставила снять совсем новенькие диагоналевые гали-

фе, сучком или еще чем располосованные на самом видном месте.

Он сопротивлялся, стесняясь:

— Да я потом... сам. Не надо...

А она покрикивала и на него:

— Еще что — не надо?! Думаешь, ладно было, когда в чуланке передо мной ты этой прорехой светил?

— Да я и шинель не снимал,— бесполезно оправдывался Виктор.— Не видно было.

Туда же, в бельевую, препроводили на перевязку Василенка и Спиридонова.

Колхозной кладовщице Матвеевна наказала добыть для машины горючего и, как настоящая командирша, выставила бабьи пикеты во дворе усадьбы и у дороги, отправила наблюдателей в сторону занятой немцами соседней деревни.

Везде было тихо, спокойно, и она распорядилась снять с детских кроваток матрасы, постлать на пол в соседней пустой комнате.

Она уговаривала солдат пойти лечь соснуть, и вместе с ней уговаривали их все деревенские. А они почему-то не уходили, только Красная Шапочка, так и не сказавшая еще ни слова, вяло попив молока, снова спала, теперь уже в кроватке с высокой сеткой, под присмотром нянечки, раздетая и умытая.

Солдаты сидели, а обступившие их старики и бабы называли имена сыновей, мужей, внуков, спрашивали, не встречали ли, и с тоской говорили о колхозе: как трудно его поднимали, каким крепким и справным стал он перед войной. Солдаты слушали, обреченно ждали других — справедливо жестоких, обидных слов и признавали за этими людьми право на такие слова, и чувствовали себя виноватыми. Они не могли не думать, что завтра, а может быть, сегодня, уже хлебнувшие горя женщины, и изработавшиеся старики, и ребятишки, крепко спавшие сейчас в деревенских избах, окажутся в руках врага.

Они ждали, но так и не услышали упреков и были бесконечно благодарны этим ввергнутым в большую беду людям за их верность, за их прирожденную деликатность.

Именно это чужое на войне слово «деликатность» пришло тогда в голову Виктору.

То и дело кто-нибудь забегал с улицы и извещал, что все спокойно. Обойдя деревню, вернулась кладов-

щица. От нее пахнуло бензином, и Матвеевна обрадованно спросила:

— Сколько?

— С полведра, не больше. Нет ни у кого,— виновато ответила та, постояла около солдат, помолчала и снова куда-то ушла.

Виктору возвратили заштопанные брюки.

С перевязки вернулись Василенок и Спиридонов.

В окна нехотя просочился нездоровый, мутный рассвет, и от его неверного, недоброго света холоднее и неуютнее стало в раздавшемся сразу, большом зале, где шумели прежде веселые ребячьи праздники, упиралась золотой звездой в потолок нарядная новогодняя елка.

Солдаты сидели на маленьких стульчиках в неудобных, нелепых позах, высоко задрав остро согнутые колени, и походили на кузнечиков. Пора было уходить: гимнастерки и шинели вернулись из ремонта и машина во дворе стояла вымытой и протертой, и в кабине ее важно сидели два пацана, знающие дорогу вброд,— а солдат все не отпускали, все задерживали какими-нибудь вопросами, только бы продлить невеселую эту, и дорогую, и горькую встречу. Рядом с этими уставшими парнями, с горсткой солдат родной армии деревенские бабы и старики обрели обманчивое, временное спокойствие и, вопреки здравому смыслу, чувствовали себя около них в меньшей опасности. Им казалось: чем дольше будут рядом эти солдаты, тем дальше отодвинется другая, неизбежная встреча — с врагом.

Пора было уходить. Но солдатам тоже что-то мешало сделать первый шаг к двери. Словно что-то оставалось несказанным.

Они было уж встали, разметав ненароком ребячью мебель, но появилась запыхавшаяся кладовщица, подала Виктору баян и просительно сказала:

— Играет кто из вас?

Виктор пожал плечами и неуверенно оглядел солдат. Поставил баян на столик. И сразу же к нему потянулся Василенок. Привычно вскинул ремень на плечо, развернул мехи, и баян как-то облегченно, протяжно вздохнул, А потом, попробовав детский столик на прочность и сдвинув с края порожние миски, Василенок сел на него, как на табурет, наклонился торчавшим из бинтов ухом к баяну и осторожно рассыпал пригоршню чистых, прозрачных звуков.

И все остались как были: одни — продолжая сидеть, другие — стоя, в накинутых шинелях и уже сделав шаг к выходу. Женщины, сбившись стайкой, придвинулись к баянисту. А он спокойно и медленно, будто не на войне, будто и не на людях, пробовал певучие лады, заплетал неторопливую, задумчивую мелодию. И была эта мелодия незнакомой, не слышанной никогда прежде и вместе с тем не чужой. Была она очень своей, русской, деревенской, и простой, и в то же время загадочной, как просты и загадочны земля, небо, сама жизнь.

Рассвет подступил ближе и теперь заглядывал в окна откуда-то из-за соседних с усадьбой кленов. От него не стало ни теплее, ни мягче, только тревожнее.

Василенок, не меняя позы, сидел, склонив голову набок, вслушиваясь в творимую им песню, и теперь уже было видно лицо его — серьезное и отрешенное. Его слушали так же серьезно, задумавшись, и никто не заметил, как мелодия, казалось, только что сочиненная самим баянистом, перелилась вдруг в знакомую, запетую за деревенскими хмельными столами песню. И была она и той, и не той, словно вслед за людьми, отхлебнув от чаши войны, переменилась и песня.

Василенок играл негромко, и так же негромко и осторожно лег на музыку чистый певучий голос. Не сразу разобрал Виктор, кто поет, и лишь по тому, куда повернули головы стоявшие за спиной баяниста колхозницы, понял.

Пел красивый кудрявый парень в грязной, обожженной пилотке. Пел, продолжая сидеть, так, словно с кем-то тихо, печально разговаривал. Словно бы думал... Вспоминал.

— Шу-мел ка-мыш,— рассказывал его свободный, без малейшего напряжения голос.— Де-ре-вья гнул-лись. А ноч-ка те-мная бы-ла...

И Виктор удивился тому, как целомудренно звучит эта разудалая, лихая, пьяная песня.

— Од-на воз-люб-лен-ная па-ра,— выше поднимал парень, и голос его креп, наливался волнением, звенел тоской и разлукой.

Ему никто не мешал, не пробовал вступить, подтянуть. Никто не решался прикоснуться к очистившейся и словно рожденной заново песне. Она рвалась к потолку, билась в рассветные окна. И была в ней отчаянная, пронзительная тоска по шальным деревенским

свадьбам, праздничным богатым застольям, по вольным — до утра — гулянкам и тайным свиданиям где-нибудь за селом.

Певец поднялся из-за стола, прошел к дальнему окну. Баян вполголоса повторил последнюю фразу. И снова, припав к музыке, взметнулся в отчаянии голос:

— Всю ночь гу-ляа-ла до ут-ра...

Виктору стало беспокойно за парня: а вдруг сорвется?.. Но голос летел по-прежнему легко и свободно, и, казалось, нет ему конца, нет предела.

Билась, плакала в песне неизбывная тоска по прежней, простой жизни и беззвучно, таясь друг от друга и от солдат, плакали женщины.

Теперь все понимали, что в сердечной и горькой встрече их не хватало именно песни. Такой вот простой, бесхитростной, запетой по всей России.

Парень смолк, и баян, собирая мехи, опять вздохнул протяжно и тихо. Василенок замедленно, все еще в ритме песни, снял баян с плеча, поставил на столик. Обнял кудрявого парня:

— Спасибо, Антоха.

— А теперь пошли,— резко поднялся Виктор и сказал, обращаясь к женщинам: — Спасибо вам...

Солдаты вразнобой повторили «спасибо», и тогда завыли, заголосили бабы, а те, что постарше, заобнимали солдат, заприпадали к их продымленным, жестким шинелям, запричитали, прощаясь. И так, словно провожали на войну своих, из родной, кровной семьи, продолжая голосить, вышли они вместе с солдатами во двор, на дорогу, прошли чуть ли не до самой реки, понимая, что уже мешают, задерживают, и не находя сил повернуть обратно.

— Ну, бабоньки,— остановила их та, кого прозвали потом Командиршей.— Хватит. Назад надо вертаться.— И сказала солдатам:

— Хоть и не верите: храни вас бог!

Они прыгали в кузов медленно пылившей по большаку машины. Перегибаясь через борт, еще и еще прощались.

Запыхавшись, прибежала молодуха с баяном:

— Возьмите. Что же оставили?

— Не донести, пожалуй,— возразил Василенок.— Поберегите. Вернемся — сыграем. Веселую...

Шофер прибавил скорость, но вслед за машиной,

вырвавшись из толпы, вдруг побежала сама Матвеевна, крича и размахивая руками.

Шофер остановил, она ухватилась за борт, задыхаясь, спросила:

— А девчушка-то? Чья она, откуда? Где потом родных-то искать?

— Ничего мы не знаем,— сказал Василенок.— Шофер на дороге ее нашел. Меточка на пальто у нее под воротником: «А» и «С».

— Отойдет, выспится, может, и заговорит,— вмешался шофер.— Испуганная она...

Кудрявый парень достал из кармана письмо-треугольник, оторвал от него клочок с адресом. Сказал, отдавая Матвеевне:

— Если никого не найдете, после войны... Мне пишите. Сам не вернусь, мать жива будет. Там обратный адрес — ее.

— У меня поживет,— кивнула Матвеевна и, свернув клочок письма, спрятала его на груди под кофтой. Заглянула в кабину, пригрозила мальчишкам: — Сразу же чтоб домой!

Потом было все: обстрелы, бомбежки. Как ни ловок оказался шофер — прямым попаданием разворотило радиатор, вспыхнул по крохам собранный колхозный бензин, смертельно ранило Василенка, разметало по клочьям самого водителя. И все-таки вышел отряд к своим.

Едва держась на ногах, пошел Виктор с докладом к командиру. А тот снял фуражку, услышав о гибели шофера и Василенка, и, не скрывая тревоги, спросил:

— Антон Смолин... жив?

Точно так же — обеспокоенно, торопливо — спросил, как спрашивали друг друга солдаты, выходя из обстрела. Как спрашивал, не найдя рядом Антона, сам Виктор.

Он спустился тогда в ближайшую — неважно чью — землянку, присел в углу на трухлявый, пыльный настил соломы, и в засыпающем сознании туманно, вяло, как в том недобром деревенском рассвете, возник перед ним склонивший к баяну забинтованную голову, задумавшийся Василенок. Баян в его руках протяжно вздохнул, и голос Антона высоко, чисто повел тоскующую о прежней жизни песню.

Виктор упал, провалился в тяжелый сон — черный, глухой, без страха перед опасностью, без видений, и даже там, в мягкой, угретой темноте его летел, то под-

нимаясь ввысь, то возвращаясь к земле, не для войны рожденный Антонов голос.

## Глава III

Мужчины молчали. Виктор поднял глаза, столкнулся взглядом с Шатько, и тот едва заметно кивнул ему. Зажженная сигарета тлела в руке, пепел сыпался в тарелку, но Шатько этого не замечал и не сразу почувствовал, как обожгло пальцы. Подобно Виктору, он возвращался памятью в сорок первый.

...Он ел крутую и скользкую, сдобренную тушенкой, перловую кашу. Ел из металлического патронного ящика, сталкиваясь своей ложкой с тремя другими...

Так же, как Виктор, Шатько не мог разобраться, почему ему вспомнился сейчас именно этот фронтовой обед на разбитых путях железнодорожного узла Погостье, и не знал, куда еще поведут воспоминания... А они повели его, не обстрелянного еще младшего лейтенанта, недалекой, но горькой дорогой на восток, к новому рубежу обороны, и там столкнули с разведчиками, уже побывавшими в переделках ребятами, потерявшими в последнем бою своего командира.

Разведчики встретили нового комвзвода сдержанно, даже настороженно, и Шатько, понимая и не осуждая их, все-таки не мог преодолеть своего раздражения. Он старался не выказывать его, но неизбежно срывался на какой-нибудь мелочи. Вчерашний курсант, он мыслил еще строго по уставу, твердо помнил наставления преподавателей и возмущался малейшими отклонениями от преподанных ему законов и правил ведения войны.

Он привез с собой из глубокого тыла, из солидного офицерского училища свои представления о героизме, самоотверженности, о солдатской фронтовой жизни и теперь недоумевал, а часто и возмущался, находя обстановку на передовой не похожей на то, к чему он привык в мыслях о фронте. В нем бродила, кипела застоявшаяся энергия, тяготило ощущение избытка физических сил, не давало покоя желание подвига. А жизнь на их участке передовой после нескольких свирепых схваток с фашистами потянулась однообразно, буднично, без ЧП, без подвигов, без побед. Подозрительное затишье сменялось вялой перестрелкой, и снова наступала неприятная, неестественная для передовой тишина. Враг явно что-то готовил, и разведчики чуть ли не каждую ночь уходили

далеко за линию отрытых в несколько рядов траншей противника и неизменно возвращались измотанные, подавленные, злые — без «языка». Соседи тоже охотились безрезультатно, и в штабе на чем свет ругали начальника разведки...

Шатько был вне себя. Он подозревал разведчиков в излишней осторожности, нежелании пойти на риск. Он сам рвался повести группу за «языком» и, уверенный в успехе, только огрызался на предостережения командира роты, на его товарищеские уговоры: «Присмотрись, подожди, пообвыкни...» А когда тот заговорил с ним тоном приказа, обратился к командиру полка и, как только получил разрешение, отдал команду одному из отделений: готовиться к ночному поиску.

Это было ранним утром, когда далекий, невидимый за горизонтом рассвет чуть тронул черноту ночи и солдаты, заснувшие всего час назад и теперь снова разбуженные, не выказывали ни рвения, ни особой готовности. Не скрывая досады, устало и, как показалось Шатько, совершенно равнодушно они выслушали его и дали понять, что ради одного только заблаговременного сообщения не стоило их будить.

Шатько и сам уже это понял и ругал себя за ненужную поспешность, но держался строго.

— В двадцать ноль-ноль выходим,— сказал он.— Артиллеристы помогут. А пока отдыхайте.

— Так надо бы сейчас, утром, наблюдателей выслать,— просто, не по уставу возразил парень, который до этого дня у разведчиков был старшим группы.— Чтоб потом идти не вслепую.

— А может, еще и шоссейную дорогу проложить? — съязвил Шатько.

Парень удивленно поднял глаза и словно какую невидаль стал рассматривать командира.

— Как стоите? — вскипел Шатько.— Как фамилия?

Тот не торопясь, с достоинством отступил на шаг, вытянулся.

— Сержант Смолин, товарищ младший лейтенант.— И повторил настойчиво: — Наблюдателей надо выслать. Чтоб правильный подход сделать.

Шатько захотелось оборвать разговор, но вместо этого он почему-то сказал, словно оправдываясь:

— На правом фланге пройдем. Там, похоже, спокойно.

— Правый фланг укреплен, товарищ младший лейтенант,— нарочито бесстрастно отчеканил парень.

— Пойдем левым,— сухо возразил Шатько.— На правом откроют огонь, отвлекут.

— Левый фланг тоже укреплен, товарищ младший лейтенант.

Шатько показалось, что сержант произносит слово «младший» с удовольствием и ударением.

— Можете идти,— едва сдержался он и понял, что начинает ненавидеть солдата и что теперь трудно ему будет держаться с ним ровно и что этим он наверняка вызовет еще большую неприязнь разведчиков, ходивших в любимчиках у всей дивизии.

Шатько пошел в штаб, но по дороге встретил капитана с передовой и, как бы между прочим, не объясняя зачем, спросил его:

— Что у вас перед глазами, товарищ комбат? Где фрицы закрепились слабее?

— Везде — основательно.

— А все-таки?

— Что задумали? — вопросом на вопрос ответил капитан.

— За «языком» опять пойдем. Думаем, левым флангом. Через просеку...

— Ваши ребята, лейтенант, все просеки и перелески локтями пробороздили, все здесь на брюхе исползали. Знают.

— Видно, плохо знают, если впустую ползают,— не сдержался Шатько.

И комбат так же, как тот сержант, внимательно, удивленно и вроде бы изучающе посмотрел на него. Промолчал.

— Нам помощь артиллеристов нужна,— не отступал Шатько.— Для отвлечения. В двадцать два ноль-ноль. С правого фланга.

Комбат пообещал, позвал тут же:

— Зайдем в штаб, уточним.

Потом, прощаясь, сказал: «Желаю успеха», и Шатько долго еще чувствовал на себе его взгляд.

К вечеру он собрал у себя в блиндаже семерых разведчиков, повторил задание, сослался на одобрение и помощь комбата и опять натолкнулся на раздражавшую его осторожность сержанта Смолина.

— Вряд ли сумеем пройти,— сказал тот, не глядя на Шатько, но остро чувствуя его метнувшийся, насто-

роженный взгляд.— Луна вылезет к ночи — не спрячешься.

— Ну, если думать только о том, как бы спрятаться,— старательно, холодно выговаривая каждое слово, ответил Шатько,— тогда... лучше всего за линией фронта в погребе отсиживаться.

Сержант молча снес издевку, и Шатько остался собой доволен. Солдаты тоже хмуро промолчали.

— Кстати, выйдем на улицу,— позвал всех Шатько и, когда вышли, показал на небо.

Густо и прочно закрывали его плотные серые тучи.

— Откуда же быть луне?

Он чувствовал себя выигравшим поединок и уже хотел быть великодушным, но не мог.

— Вы просто устали, сержант Смолин,— сказал он.— Можете отдыхать. Я освобождаю вас от сегодняшней операции.

Смолин резко и быстро шагнул к нему, Шатько так же быстро отступил.

— Что? — закричал сержант.— Ос-во-бож-дае-те? — И, сразу окруженный товарищами, спокойнее, но попрежнему непримиримо возразил:

— Ветер усиливается. Часу не пройдет — луна откроется. Сами убедитесь.

— Отдыхайте,— повторил Шатько, повернулся к Смолину спиной, и тот сразу ушел, шумно отшвырнув пинком с дороги валявшуюся консервную банку.

Солдаты осторожно поддержали Смолина, и Шатько сказал примирительно:

— Посмотрим... До выхода еще есть время.

И все это время он нервно ходил по позиции и сдерживал, отгонял нараставшее в нем волнение. А потом не смог сопротивляться ему, как не смог сопротивляться лихорадочному распаленному воображению, рисовавшему не то чтобы благополучный, а блестящий, театральный, эффектный исход операции.

Он верил в удачу, верил в свою силу и смелость; так верил, что даже суеверно боялся этой уверенности.

В двадцать ноль-ноль тучи закрыли все небо, и Шатько не отказал себе в удовольствии снисходительно посмеяться над Смолиным. А когда группа была в зоне обозрения немецких наблюдателей — в неубранном, иссохшем на корню гороховом поле,— тучи разошлись, открыли луну — огромную, низкую, полную, и она высветила каждый бугорок, каждую воронку, каж-

дую полегшую гороховую плеть и придавила к слегка припорошенной снегом земле распластавшиеся фигурки людей.

И в это время — точно, ни одной минутой не погрешив против договоренности,— ударили с фланга минометы. Размеренно, деловито, как если бы начинали солидную, хорошо подготовленную операцию. Немцы помолчали и огрызнулись — нехотя, вяло. На нашей стороне тяжело ухнули стопятидесятидвухмиллиметровки, а немцы замолчали, как будто действительно поняли, что готовится какой-то обманный маневр, и не утруждали себя участием в этой ненужной дуэли.

Солдаты, набросав на себя гороховые плети, продолжали ползти, и Шатько остановил их, еще не зная, как поступить, но отчетливо понимая, что допустил ошибку.

Парни, затаившись, ждали приказа.

Шатько поймал себя на мысли: «А что бы сделал сейчас этот... сержант? — И решил за него: — Конечно, повернул бы обратно!» И тогда вопреки сержанту, который словно бы стоял над его спиной, Шатько кинул вперед локти и пополз, шурша сухими стеблями, оплетавшими стылую, жесткую землю.

Батарея палила и палила и, казалось, своими размеренными залпами раскачивала тяжелый, тугой воздух и землю тоже раскачивала, и Шатько становилось невмоготу слышать эту пальбу, потому что не было от нее толку, а связаться с батареей они уже не могли — этого Шатько тоже не предусмотрел заранее, и теперь каждый растраченный снаряд оставался на его совести. Тот сержант что-то говорил и о связном — Шатько вспомнил это только сейчас и подумал о себе как-то со стороны и осудил себя за эту вторую ошибку.

Его обожгло чувство вины перед сержантом, перед разведчиками, находившимися сейчас в полной его власти, перед комбатом и артиллеристами, и еще острее, нетерпеливее стало желание удачи теперь уж и для того, чтобы прикрыть ею свои просчеты.

Немцы вдруг словно обозлились — нервно, торопливо ударили по батарее густым сильным огнем, запалили одну за другой две осветительные ракеты. И те повисли дополнительными лунами, залив поле голубоватым, мертвенным светом и убрав с земли даже маленькие, едва заметные тени.

Шатько нетерпеливо пережидал и полз снова, изо всех сил работая локтями и коленями, и когда кто-

нибудь из солдат опережал его — напрягал усилия и вырывался вперед, хотя понимал, что совсем не скорость передвижения решит исход дела.

Уже хорошо стал виден колхозный ток с широким, крытым соломой навесом. Солдаты ползли медленнее, осторожнее, и Шатько, сдерживая себя, тоже полз осмотрительнее, маскируясь гороховыми плетьми, отыскивая едва заметные бугорки, пытаясь за ними укрыться.

Резко, словно остановившись с разбега, смолкли орудия, и тишина вокруг стала хрупкой и напряженной до тонкого комариного звона в ушах. Шатько зацепил сапогом плеть, она сухо треснула, и треск этот жарким толчком крови отдался в голове, во всем теле.

Луна продолжала висеть над разведчиками, будто застряла в небе огромная и неиссякаемая осветительная ракета.

Не встретив заграждения, не напоровшись на часовых, они благополучно проползли поле, и Шатько стал понемногу успокаиваться и рад был, что не выказал своей растерянности, минутной слабости духа перед солдатами, для которых он — командир.

Его легонько толкнул в подошву сапога солдат, ползший следом. Шатько приподнял голову и сразу увидел немца. В каске, с автоматом, он стоял ссутулившись возле столба, подпиравшего высокий навес, и, казалось, смотрел на разведчиков. Постоял, потоптался на месте и не торопясь пошел вдоль бывшего колхозного тока. Снова остановился и снова пошел. Повернул обратно.

Долго сверлившие темноту под навесом глаза Шатько нащупали контуры стоявших там штабелями ящиков и одновременно засекли второго немца, неторопливо ходившего взад-вперед с обратной стороны тока.

Разведчики некоторое время наблюдали. Убедившись, что кроме этих двух часовых поблизости никого нет, Шатько настораживающе поднял руку, а потом резко, властно кинул ее вперед, и солдаты, поняв приказ, осторожно и быстро стали отползать: нападающие — к более удобным позициям, ближе к часовым; прикрывающие — за ними следом. Шатько полз в паре с солдатом в обход, к тыльной стороне тока, намереваясь взять второго часового.

За кромкой редкого кустарника кое-где просматривались плетни огородов. Однако с той стороны не доносилось ни звука, ни даже слабого запаха дыма. Над не-

убранным полем, над заснеженными огородами висела теперь тягучая тишина, казавшаяся спокойной и сонной.

Шатько чувствовал непрочность этой тишины и почти слышал напряженный, ускоряющийся ее пульс. Его вдруг захлестнуло нетерпение. Он ощутил неведомый ему прежде азарт риска и вместе с тем другой, уже когда-то знакомый азарт охоты. Он подивился этому и устыдился самого себя.

Один часовой спокойно окликнул второго, тот ответил, засмеялся чему-то, и снова наступила тишина. И в этой тишине вдруг резко, сухо хлопнул со стороны плетней одиночный выстрел. Вслед за ним очередью ударил автомат. Паля наугад, залегли немецкие часовые, и напарник Шатько с ходу первым же винтовочным выстрелом уложил одного. И тут Шатько увидел, как со стороны огородов короткими перебежками движутся немцы. Он крикнул: «Отходить! К лесу!» И уже напрямик, срезая клин поля, запинаясь за гороховое витье, проваливаясь в воронки и при этом беспрестанно отстреливаясь, побежал, преследуемый суматошным огнем и резкими, лающими криками немцев.

Он добежал до леса, а пальба все не прекращалась. Обхватив ствол сосны, приложив разгоряченное лицо к шершавой, жесткой ее коре, стоял, пытаясь справиться с тяжелым, сбившимся дыханием, прислушивался, угадывая перемещение огня, улавливая все реже и реже отвечавшие немцам винтовочные выстрелы. Он не сразу сообразил, что прибежал первым, а может быть, и — единственным... И, вернее, не прибежал, а убежал.

Но как только понял это — решил немедленно выйти из леса и пошел быстро, торопясь успеть, не таясь, равнодушный к самому себе — к своей жизни и смерти.

Он выскочил на опушку и едва не открылся немцам, двигавшимся к лесу, растянувшись редкой цепочкой и палившим, видимо, наугад. Остановился даже не прячась, только шагнул к сосне.

Немцы приближались, крича и прошивая лес автоматным огнем. Шатько перезарядил винтовку, вскинул, ожидая и уже твердо веря, что дорого отдаст свою жизнь. Но в крике немцев он уловил вдруг такое свирепство, такую лютость, такую сиюминутную ненависть, что подумал с надеждой: а может, ушли? Ушли стороной и потому не встретились?

Он опустил винтовку и теперь уже затих, припал к сосне, а сердце словно бы ожило — заволновалось, за-

выстукивало неуместную сейчас радость, рвалось любить и беречь этих усталых, вечно недосыпающих парней, рискующих жизнью даже тогда, когда для других — затишье... Сердце тянулось к ним, и было нестрашно умереть, но умереть он теперь, казалось, не мог. Не мог хотя бы до тех пор, пока не увидит живыми своих солдат, ставших ему сейчас удивительно близкими.

Немцы подошли к опушке, но дальше идти побоялись: побродили у крайних сосен, постреляли еще и повернули обратно. Когда голоса их затихли, Шатько без всяких предосторожностей торопливо пошел напрямик через лес, держа за спиною, чуть справа, побледневшую и словно тоже уставшую, не добрую к нему сегодня — луну.

Сначала он вышел на минометчиков. Потом, покружив изрядно, добрался до своего блиндажа, но прошел мимо, отыскал в березнике одинокую рубленую избу — не то бывшее убежище лесника, не то охотничий домик — и, испытывая острое нетерпение, рванул на себя дверь.

В избе было тепло и пусто. Серо-голубой лунный свет из маленьких окон прошивал ее всю, до огромной русской печи, спокойными бледными полосами.

Шатько, слабея, привалился к косяку и так остался стоять в проеме, не в силах переступить порог и закрыть дверь.

Он опомнился, когда с улицы кто-то крикнул:

— Пришли? Наконец-то!

Простучали по крыльцу сапоги, и сержант Смолин остановился за его плечом, спросил уже другим, полным недоумения и тревоги голосом:

— Где они? Что случилось?

И сразу Шатько решил... Переступил порог, поставил к стене винтовку, тяжело сел на лавку возле протопленной Смолиным печи. Подумал о нем: «Ждал. Постарался для ребят».

Смолин закрыл дверь.

— Где ребята, товарищ командир? — и сразу же сбился на крик: — Где они?

И Шатько не одернул его, только попросил:

— Не кричи.

Он стянул ушанку, вытер ею мокрый, холодный лоб. Потом взял себя в руки: выпрямился, развернул упавшие плечи. Посмотрел на часы. Зеленоватые фосфорные стрелки показывали четыре.

— Не знаю, где они,— в условленное место один вышел. Обнаружили нас...

Сержант долго стоял возле него молча, и молчание его становилось угрожающим. Потом резко отошел, зажег от тлеющих в печи углей лучину, от лучины — сделанную из снарядной гильзы коптилку. Поставил на стол перед Шатько кружку с кипятком, начатую банку консервов, положил несколько сухарей. Принес из сеней и бросил на стол гроздья прихваченной морозом, чуть привядшей рябины. Объяснил:

— Мы ее в чай запариваем.

Шатько, обжигаясь, отхлебнул кипятку, снял шинель, расстегнул меховую безрукавку.

— Я их здесь подожду. Не против?

Смолин кивнул, свернул самокрутку, прикурил от коптилки. Шатько он не предложил. И вообще больше не сказал с ним ни слова. Долго сидел на скрипучем табурете, по другую сторону голого, щербатого стола, словно бы отсутствующий, словно бы ни к чему не причастный, и лишь изредка останавливал на Шатько далекий, тоже отсутствующий взгляд. Смотрел не мигая, и тогда в глазах его как-то постепенно, издалека, зажигались недобрые тревожные огоньки. Шатько выдерживал взгляд, и Смолин первым отворачивался.

Влажные кисти отогревшейся рябины лежали под рукой, и Шатько машинально взял одну, отщипнул несколько ягод, раздавил их зубами и проглотил, не почувствовав горечи.

Стрелки на часах — одна быстрее, другая медленнее — неумолимо двигались по циферблату. Ждать оставалось недолго.

— К рассвету придут,— самому себе сказал Смолин и опять посмотрел на Шатько далеким, постепенно приближающимся взглядом.— Должны прийти...

Он отошел к вороху лапника, занимавшему половину этой старой, низкой избы, потеребил, повзбивал его с краю и лег, накрывшись шинелью, так ничего и не спросив. Видно, он твердо верил, что ребята вернутся.

А Шатько уже все для себя решил. В возвращение разведчиков он больше не верил и оставался сидеть только из-за слабой, вечно живущей в человеке надежды на чудо да из желания увидеть, что Смолин заснул. Шатько боялся быть откровенным с самим собой и потому гнал навязчивую, предательскую мысль о том, что

он сознательно и бесполезно тянет время и это — проявление слабости.

За окнами послышались голоса, бойкая беззлобная ругань, и сержант, резко сбросив шинель, вскочил, выбежал из избы, но тут же вернулся и, не говоря ни слова, опять лег.

Шатько еще машинально пожевал рябину, запил остывшей водой. Подумал: «Надо задуть коптилку», но, покосившись на Смолина, делать этого не стал, решил: «После, когда уснет». Облокотился о столешницу, подпер голову руками и притворился задремавшим. А потом, когда уверился, что сержант спит, поправил зачем-то ворот гимнастерки, суетливо достал из нагрудного кармана письмо от знакомой девчонки, мелко, торопливо порвал его и расстегнул кобуру.

Ему вдруг остро захотелось покурить — хотя бы только затянуться, но на это уже не было времени. Не сводя глаз с темного угла, где спал Смолин, Шатько медленно вытянул из кобуры пистолет, подержал его — холодный и гладкий — в потной ладони под столом, медленно, продлевая последние секунды жизни, сосчитал до трех, прихлопнул левой ладонью пламя коптилки и быстро, уже ничего не сознавая, вскочил, рванул к виску руку и... не успев уцепить пальцем спусковой крючок, отлетел к стене, ударился боком о край лавки и сполз на пол, задыхаясь под наброшенной на голову пыльной, душной шинелью.

— Сво-о-лочь! — откидывая пинками табурет, стол, лютовал сержант Смолин.— Трус! Гадина!

Он сорвал шинель и с маху наугад ударил Шатько по лицу, навалился на его правое плечо, соскользнул рукой по рукаву гимнастерки. И тут Шатько ощутил тяжесть согревшегося в ладони, цепко сжатого пистолета. Опершись на лавку, намертво прибитую к стене, он сбросил сержанта.

— Не подходи! Не твое дело!

Глаза уже привыкли к серой полутьме, и Шатько хорошо видел напружинившуюся, словно изготовившуюся к прыжку фигуру сержанта. А тот видел его, сторожил каждое движение и люто, безобразно ругал и, казалось, готов бы задушить, пристрелить собственными руками.

— Уйди,— устало попросил Шатько и, вспомнив, что он не у себя, поправился: — Дай мне уйти. Какое твое дело?..

— Умереть-то сейчас легче, чем жить,— совсем вплотную подошел Смолин и, резко вскинув руку, попытался выхватить пистолет.

— Отдай!

— Ну, нет!

Смолин помолчал, сказал ровно:

— Спрячь в кобуру.

Шатько помолчал тоже, тяжело дыша, проговорил:

— Все равно. Дело решенное.

Он медленно убрал пистолет, застегнул кобуру.

Смолин, не спуская с него глаз, поставил на место стол, табурет, поднял из-под ног кружку. Сел, достал жестянку с махоркой и зачитанную, уже пущенную на раскур, сложенную книжечкой фронтовую многотиражку. Подвинул это богатство к Шатько.

Тот устало сел на прежнее место, потянулся к махорке. Неумело сыпанул ее на квадратик бумаги, еще более неумело стал свертывать самокрутку. Смолин уже не раз затянулся, а Шатько все копался, просыпая табак и пытаясь на ощупь собрать его со стола. Он почти не курил, разве что баловался иногда папиросами, а сейчас испытывал неодолимое желание глотнуть горького махорочного дыма и, когда, наконец, затянулся — жадно и нервно,— его качнуло: сдвинулись в сторону сероватые квадраты окон и нависшая над столом фигура Смолина, но тут же все это вернулось обратно, и Шатько даже не закашлялся, даже не поперхнулся, хотя махра была крепкой и едучей.

Смолин ничего этого не заметил. Он сидел и молчал и прислушивался к малейшему шуму на улице. Потом спросил недоброжелательно:

— Откуда ты? Не земляк ли?

Шатько не хотелось отвечать.

— Я пойду,— осторожно и неторопливо, будто насидевшись в гостях, поднялся он с лавки.

— [illegible] ...ко что выровняв-

[illegible] ...куда!

нул обратно на лавку и сказал утомленно, почти брезгливо:

— Возьмите себя в руки. Если виноваты — ответите как положено.

Он отошел, пошарил под лапником и вернулся к столу с флягой. Плеснул в кружку. Поискал, поднял с полу сухарь, обдул и разломил его.

— Пейте.

Он говорил с ним теперь на «вы», и это еще больше отдаляло их, проводило какую-то непреодолимую черту, которую Шатько не имел права перешагнуть.

— Пейте,— повторил Смолин.

Шатько хлебнул большим глотком и закашлялся.

Смолин отошел к печи, зачерпнул откуда-то там воды в котелок, поставил на стол. Слегка подтолкнул Шатько и сел на лавку с ним рядом. Сказал:

— Ахмед Шарипов у нас был. Так он первый свой бой на дне окопа пролежал. Испугался. Старшина потом его чуть штыком не запорол. Ребята не дали.— Он помолчал, покурил.— И не сказали никому. А после, когда уж он сам группу водил,— узнали: тайком на фронт убежал. Наврал, что документы украли. У него порок сердца был. Если бегать приходилось — задыхался. К Красной Звезде посмертно представили.

Шатько угрюмо, упрямо думал о своем. Смолин по-прежнему сторожил каждое его движение.

— Закон разведки знаешь? — не оставлял он Шатько в покое.— Семеро ушли — семеро должны и вернуться. Убитого и того — вынеси.

Он обращался к нему то на «вы», то на «ты», как видно, в зависимости от того, какое из чувств, испытываемых им к Шатько, брало верх.

Протарахтел в стороне танк. Мимо избы тяжело, глухо, строем прошли солдаты, и, не видя их, по одним только звукам — усталым голосам и вялому шагу Шатько определил, что это [illegible] уверенно по[illegible]

Тот удивился. Отодвинувшись, повернулся к Смолину и стал смотреть на него и слушать так, словно заново открывал для себя этого человека.

А солдат безукоризненно, профессионально точно и свободно пел где-то когда-то слышанный Шатько романс и уже не следил за ним, не сторожил его, потому что вернее, чем он сам, берегла теперь командира-неудачника удивительно неуместная здесь, но почему-то исцеляющая песня. А может, дело было не в самой песне, а в том, как, с каким умыслом ее пел солдат.

В щелястые, плохо застекленные окна потянуло дымком, слабо запахло подгоревшей кашей: полковая кухня стояла далеко, но ветер, видно, дул с той стороны.

Смолин где-то на полуслове оборвал романс — то ли забыл дальше слова, то ли просто задумался. А когда запел снова, то уже другую, совсем другую песню:

— Дан приказ ему на запад,— доверительно, очень лично рассказывал он знакомой песней знакомую Шатько историю.— Ей — в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.

Эта песня была уже не первой помощью дрогнувшей, растерявшейся душе — новая песня не врачевала, а звала, не успокаивала, а что-то с Шатько спрашивала.

А потом были еще и еще песни, и пел их Смолин по-разному — которые целиком, которые наполовину, а где лишь один куплет, один припев... Словно примерялся к каждой, пробовал ее, решал — подходящая ли?—и уж потом либо отбрасывал, либо пел до конца. Конечно, пел он не просто так — от нечего делать, и не для себя. Это Шатько хорошо чувствовал. Смолин пел для него: ненавязчиво, просто. И этим осторожно, чутко приводил в порядок растрепанную и потерявшую было мужество его душу. И было так, словно они друзья и один рассказывает доверительно, а другой слушает.

А потом они вместе поднялись, вместе вышли на пробитую в березняке, побеленную редким снегопадом дорогу.

В утреннем, словно бы выцветшем небе таяла прозрачная, выцветшая за ночь луна.

— Теперь можешь мне поверить,— сказал Шатько.

Смолин кивнул:

— Я знаю.

— Жаль только, что пользы не принес. Я ведь... тоже добровольно. В училище оставляли.

Он шел к начальнику разведки доложить о том, что произошло, и не ждал, и не хотел для себя снисхождения. А при мысли о шестерых невернувшихся снова начинал терять самообладание, тяжелым взглядом косил на Смолина и всеми своими обостренными нервами ощущал и винтовку за спиной, и вороненый ТТ у пояса.

Они обошли скособоченный, растрепанный ветром или снарядами большой зарод сена, свернули на развороченный танками, разбитый проселок.

Смолин неожиданно метнулся вперед и побежал по дороге, вскидывая руки и что-то крича солдатам, шумно столпившимся у груженной ящиками трехтонки. Ему ответно взмахнули две-три руки, кто-то отделился от толпы и пошел навстречу, и, встретившись, оба добродушно потолкали друг друга, пошли рядом, потом Смолин резко, с ходу остановился и стоял, слушая солдата, и не двигался, и исподлобья поглядывал на подходившего к ним Шатько.

По устало опущенным плечам, по грязным, свежеисцарапанным сапогам, по каким-то другим, еле уловимым признакам Шатько угадал в солдате одного из своих разведчиков. Смолин и солдат замолчали, а Шатько кинулся к разведчику, с трудом сдерживаясь, чтобы не обнять, и отступил, натолкнувшись на холодный, враждебный взгляд.

— Все живы?— только и спросил он.

— Все,— ответил за солдата Смолин,— Спиридонов тяжело ранен... В санбат отнесли.

Солдат все не отводил от Шатько ненавидящего, брезгливого взгляда и наконец резко, обвиняюще, хлестнул командира словами:

— Не выживет Спиридонов. В голову его...

Шатько сжал кулаки, чтобы унять внезапную дрожь в пальцах. Голова закружилась. Он широко, носками внутрь, расставил ноги и удержался, даже не покачнувшись. «От голода,— сказал сам себе.— От спирта».

Смолин внимательно посмотрел на него, незаметно встал рядом.

Солдат почувствовал запах спирта от обоих, угрожающе рванулся к Смолину:

— С ним?!

Тот промолчал.

— С ним?!— не желая в это поверить, почти прокричал солдат и, сверля их обоих зеленоватыми, обесцветившимися от злобы глазами, притворно восхитился:

— А вы, товарищ младший лейтенант, не пропадете. Хорошо бегаете...

Шатько сильнее стиснул зубы и кулаки. Ощутил своим плечом плечо Смолина. Медленно, тяжело повернулся, пошел к штабу.

— А «языка» мы доставили! — мстительно и ликующе кинул вдогонку солдат и, словно бы израсходовав весь запас гнева, устало пояснил: — Подранить, правда, пришлось. В ногу...

А через две недели Шатько, разжалованный в рядовые, вместе с этим самым солдатом — Виктором Поляковым — под огнем волоком тащил на своей шинели раненого Смолина, а тот все вскидывался, грозил здоровой рукой, яростно, люто, разрывая голосовые связки, кричал немцам:

— Вернусь! Вер-нусь!.. Ну, тогда!..

И падал обессиленный, и снова вскидывался, а они ползли, ползли, с каждым усилием всего на несколько сантиметров удаляясь от смерти.

Смолин цеплялся за землю, за кустарники и поднимался опять, и опять грозил немцам... Он мешал и без того медленному движению, невольно снова подставлял себя под пули, и Виктор досадливо и успокаивающе покрикивал на него, а Шатько старался небольно прижать его рукой к земле. Смолин стонал сквозь зубы и снова срывался на крик:

— Вер-нусь! Все равно вернусь!

И была в этом крике не столько боль, сколько досада — свирепая, нечеловеческая досада на то, что вот помешали довоевать. Бессильная злоба оттого, что не может он вот сейчас, здесь отомстить за себя...

Они передали его медсестре потерявшим сознание и без конца — то сами, то кто-нибудь другой из разведки — приходили в землянку, топтались в тесном проходе между нарами, надоедали сестре: «Будет ли жить?» Ждали: вот-вот очнется. Да так и не дождались. На третьи сутки ушли к железнодорожной станции медсанбатовские летучки, и Смолина, так и не пришедшего в сознание, отправили в тыловой госпиталь.

На войне и приобретают и теряют друзей. Теряют чаще. К этому не привыкают, нет. С этим не смиряются... К этому относятся стойко. По-мужски. По-солдатски. И только в редких случаях оставшимся недостает

мужества молча, не выдавая себя, переживать утрату. Бывает: ушел человек, и никто другой не в силах занять его место. Не то что в землянке, в окопе, в орудийном расчете, а место в сердцах товарищей. Много славных ребят — честных, смелых, а равного — нет... И тогда остро чувствуют солдаты невосполнимую пустоту.

Разведчики стрелковой дивизии очень хотели верить, что сержант Смолин жив. Они говорили о нем: «Вот вернется... Напишет... Споет...» Но ощущение утраты, ощущение невосполнимой пустоты все-таки было сильнее этой веры.

## Глава IV

Геннадию представлялся Антон таким, каким он впервые появился в консерватории. Прихрамывающий, рука на перевязи, гимнастерка с красной и двумя желтыми нашивками: трижды ранен. Он пришел на урок по вокалу, ждал преподавателя, а Геннадий заглянул в класс — искал кого-то. Антон спросил время, Геннадий ответил и задержался, разглядывая новичка. Спросил зачем-то:

— Вы... здешний?— А сам подумал: «Что он, такой, сможет? Покалеченный...»

— Ленинградец,— ответил тот.

Геннадий спросил еще:

— Где живете?

— Пока нигде,— неохотно сказал парень.— Не успел устроиться.

Он отошел к окну, прихрамывая, но старался идти ровнее, и от этого был напряжен и неестественно прям. Остановился, прислонясь к подоконнику, и стоял так, спиной к Геннадию, не замечая больше его присутствия. А Геннадий все не уходил и, подталкиваемый любопытством к необычному студенту, тоже перешел к окну, остановился рядом.

— Я вас не встречал раньше. Вы начали заниматься... с опозданием?

Парень, не поворачиваясь, сказал:

— Да.

Геннадий посмотрел из-за его плеча на улицу. От соседнего здания — госпиталя, наискосок пересекая дорогу, шли к набережной пруда четверо мужчин в длинных госпитальных халатах и тапочках на босу ногу. Шли не торопясь, не озираясь, словно это не была проезжая часть самой бойкой, главной улицы города. Из-под халатов у всех четверых мелькали перевязанные у

щиколоток штрипками белые кальсоны. Выздоравливающие раненые вопреки строгим запретам врачей и в обход всяких заградительных госпитальных кордонов постоянно выходили на улицы, разгуливали по всему городу.

Новичок проводил их глазами и, когда компания, оказавшись на набережной, затерялась в толпе, отвернулся от окна.

— Вы... преподаете? — он быстро оглядел Геннадия.

— Нет, тоже студент.

Парень еще раз посмотрел на него очень внимательно, но ничего больше не спросил.

Геннадий некоторое время побыл в классе, однако разговор возобновить не сумел и ушел, так и не узнав даже имени первого в их консерватории студента-фронтовика.

На другой день, проходя мимо, он снова задержался возле этого класса и, услышав, что идут занятия, осторожно приоткрыл дверь. Вера Генриховна — старейший в консерватории педагог — занималась с первокурсницей.

— Ну, что же вы? — удивилась Вера Генриховна.— Смелее!

Взяла ноту, и к ее уверенному звучанию присоединился мягкий, приятный, но робкий и слишком открытый женский голос.

— Еще,— сказала Вера Генриховна.— Не напрягайтесь. Спокойнее.— И, оборвав себя, к чему-то прислушалась.— Извините,— сказала она ученице, продолжая прислушиваться, встала из-за рояля.— Что это?..

Она неожиданно быстро прошла к двери, раскрыла ее и, не обратив внимания на смутившегося Геннадия, остановилась в коридоре. И тут Геннадий тоже услышал. Где-то в конце коридора незнакомый тенор неистово, вдохновенно пел под аккомпанемент рояля «Песню певца за сценой».

Вера Генриховна пошла на звук голоса, и Геннадий тоже почему-то пошел с ней. Шли быстро, а голос приближался медленно и, когда Вера Генриховна распахнула дверь последней на этаже аудитории, продолжал звучать где-то впереди.

Они дошли до лестницы и стали подниматься: Вера Генриховна, торопясь, но останавливаясь, чтобы отдышаться, Геннадий, замедляя шаг, чтобы не бежать впереди нее.

Первый от лестничной клетки класс был полон незнакомым Геннадию ликующим и словно бы вырвавшимся на свободу голосом.

Он хотел отворить дверь, но Вера Генриховна отстранила его, и, пока не кончилась песня, они стояли и слушали. Геннадий невольно улыбался, а Вера Генриховна казалась обеспокоенной. Когда, взобравшись на самую высь, певец эффектно закончил арию, Вера Генриховна открыла дверь. Навстречу ей шагнул студент-фронтовик, смущенный и по-мальчишески виноватый.

— Я вас просила, Антон Николаич,— строго сказала она.

— Извините,— стараясь побороть смущение, улыбнулся студент.— Товарищ вот... аккомпанемент репетировал.

Из-за рояля поднялся не менее смутившийся второкурсник — болезненного вида паренек в коротком не по росту свитере.

Она рассердилась еще больше.

— Я же просила — только уроки!

В знак согласия и повиновения новичок наклонил голову, и Вера Генриховна, больше не глядя на него, стала спускаться по лестнице. Студенты почтительно пошли следом. В вестибюле разошлись. Геннадий оказался возле Антона, спросил:

— Чего это она?

— Запрещает петь... тенором. Говорит, он у меня от плохой привычки подражать хорошим певцам.

Они остановились у вешалки.

— «Вытаскивает» из тебя баритон?

— Ну да.

— Обычно она не ошибается,— с некоторой неуверенностью сказал Геннадий и подумал: «На этот раз, может, и ошиблась. Голос-то у него!..»

Он кинул на руку плащ.

— Ты идешь?

Они сделали вместе несколько шагов и сразу же в дверях столкнулись с комендантом общежития — маленьким, сухоньким, совершенно седым человечком, очень подвижным, очень говорливым и в то же время застенчивым.

— Ну вот! — обрадовался он Антону.— Вас-то мне и надо! Сможете сейчас зайти в общежитие?

— Место освободилось?— остановился Антон, и Геннадий остановился тоже.

— Не совсем,— замешкался комендант и неуверенно посмотрел на Антона.

— А что?— заинтересовался тот.

— Ну... матрасы там старые хранились, стулья сломанные,— приободрился комендант.— Так я все это на чердак стаскал, а кладовку велел жене побелить и вымыть.

Он уже не мог скрыть радости и говорил торопясь, улыбаясь, доверительно трогая Антона то за рукав, то за локоть, то за пуговицу гимнастерки, словно что-то с него стряхивал дрожащими, нервными пальцами.

— Кровать там войдет. И тумбочка. Может, еще и стул...

— Спасибо вам,— поймал его руку Антон.

— Стол, правда, не войдет,— перестал улыбаться комендант.— И окна нет. Но... знаете... я подумал: это же на время. Это же все равно лучше, чем ничего.

Лицо его излучало доброту, готовность помочь и вместе с тем выдавало растерянность и беспомощность.

— Вентиляция там есть,— вспомнил он.— И потолок высокий. Может, посмотрите?

— Зачем же?— весело перебил его Антон.— Зачем же смотреть?— и, заметив, как обиженно подпрыгнули седые редкие бровки коменданта, поспешно добавил: — Пойду сразу вселяться. Можно?

Втроем они подошли к соседнему зданию техникума, где теперь размещался госпиталь. Комендант и Геннадий подождали около подъезда. Антон вошел и скоро вернулся с шинелью на плече и деревянным ящиком-чемоданом в здоровой руке. За ним следом высыпали, стуча костылями о каменные плиты тротуара, несколько раненых и рассерженная молоденькая медсестра. Все громко кричали. Раненые — Антону: «Заходи!», «Не забывай!», «Аккордеон теперь есть!», сестра — раненым: «Товарищи! Нельзя же. Главврач увидит! Ну, что вы? Ну, пожалуйста!..» Она чуть не плакала, а парни смеялись и беззлобно отругивались. Но все-таки послушались и, помахав Антону кто рукой, кто костылем, ушли в раскрытые медсестрой двери. Она тоже помахала Антону, уже веселая и даже кокетливая. И тоже крикнула: «Приходите! Не забывайте!»

Чемодан-ящик имел две металлические скобы, в которые, по-видимому, продевался висячий замок, но замка сейчас не было, и скобы были схвачены завязанным в узел бинтом. Антон нес чемодан с напряжением, это

было заметно, да еще сползала перекинутая на плечо раненой руки шинель.

Геннадий понимал, что надо помочь, и хотел помочь, и помог бы, если бы чемодан оказался приличным, с каким не стыдно пройти по улице. Никто из прохожих не обращал внимания на Антонову ношу: для военного времени и мешок за спиной не был в диковинку. Но Геннадию казалось: на него непременно будут смотреть и непременно встретится кто-нибудь из знакомых. И потому он шел, рассеянно поглядывая по сторонам, делая вид, что не догадывается помочь товарищу.

Комендант беспокойно смотрел то на Антона, то на Геннадия, руки его все еще находились в нервном движении и лишь изредка замирали в карманах старого, вытертого, добела застиранного плаща. Наконец он приподнялся на носках, стянул с Антонова плеча шинель и словно бы даже присел под ее тяжестью.

— Позвольте,— тоном извинения сказал он.— Позвольте, я понесу. Вам неудобно.

Общежитие было недалеко, на соседней — параллельной — улице, и они скоро подошли к массивному, мрачному, дореволюционной постройки зданию. Обогнули его и со двора поднялись на расшатанное — без перил — крыльцо.

Геннадий бывал здесь однажды: по заданию комсомольского комитета проверял студенческий быт. Обстановка была ужасная: комендантша — запойная, вороватая баба — растаскала и без того скудное хозяйство общежития и была поймана однажды при попытке увезти старый беккеровский рояль, выставленный в коридор и дожидавшийся отправки в ремонт. Геннадий прошел тогда по всем комнатам, мрачным, холодным и неуютным,— до войны это были служебные и складские помещения,— наслушался жалоб, добросовестно записал эти жалобы и, когда ушел, почувствовал облегчение. Потом написал нечто вроде акта обследования, отдал его секретарю комитета и обо всем сразу забыл, как забывал все неприятное, к чему прикасался мимоходом, что существовало за порогом его собственной жизни.

Они прошли через сводчатую, с широким тамбуром дверь и оказались в темном коридоре, по обе стороны которого на ящиках, на табуретках шумели и жужжали угарные примусы. Пахло керосином, кислой капустой, а под слабенькой, тусклой лампочкой висел плотный и сизый, медленно покачивающийся, тяжелый чад.

— Здесь семейные,— повел руками комендант.— Эвакуированные.— И жест его означал: «Что поделаешь?..»

Он быстро побежал по коридору вперед, покрикивая на стоявших у примусов женщин и призывая из туманного парного полумрака:

— Сюда, пожалуйста! Антон Николаич!

— Идем! — ответил ему Антон, однако поставил чемодан на пол и выпрямился.

Сообразив, что теперь-то можно помочь товарищу без риска быть кем-то увиденным, Геннадий сразу же подхватил чемодан. Он оказался тяжелым, и неудобная металлическая ручка больно впилась острыми краями в ладонь.

— Чуть подальше, Антон Николаич,— мягко сказал комендант, когда они подошли, и, напуская строгость, на бегу крикнул хозяйкам:

— Придут пожарники — оштрафуют! Сколько вам говорить?

С разбегу он остановился вдруг у последнего примуса, упавшим голосом зашептал:

— Настя, ну что ты? Как же так? Ведь я с других требую...

— А что?— плавно повернулась от примуса спокойная, медлительная женщина.— Куда ж его, в комнату? И без того тесно. Скорее пожар сделается.

Она так же плавно повернулась обратно, подняла над кастрюлей крышку, помешала, спросила через плечо:

— Ты скоро домой?

— Скоро,— потоптался возле нее комендант.— Ключ у тебя?

— Там, в двери.

Он сразу что-то утратил, сник и пошел дальше вместе с Антоном и Геннадием, уже не торопясь и не убегая вперед.

— Жена,— сказал он, когда отошли, и опять развел руками, словно бы добавляя: «Что поделаешь?..»

Коридор поворачивал под прямым углом и дальше был пуст, свободен от примусов, табуреток и даже запахов. Такая же слабая лампочка светила здесь ярче и видны были написанные белой краской на дверях номера комнат. В конце коридора клавиатурой к стене стоял тот самый злополучный рояль.

Комендант подвел спутников к последней двери —

узкой и низкой, очевидно, пробитой во время какого-то переустройства,— достал из кармана кусок мела и написал на ней, обведя несколько раз, цифру девять и маленькое круглое «а». Потом отступил, полюбовался своей работой, и тогда все увидели торчавшие в ручке двери какие-то ветки и в них — листок бумаги.

Комендант удивленно посмотрел на Антона, на Геннадия, осторожно вынул ветки, подошел ближе к лампочке и развернул листок. Сказал весело:

— Это же вам, Антон Николаич! Смотрите.

И прочитал вслух, торжественно:

— С но-во-сель-ем!

Повертел бумажку в руках, но ничего в ней больше не нашел.

Он открыл дверь, не входя, пошарил у притолоки на стене и щелкнул выключателем. Ударил в глаза резкий, неестественно яркий после коридорного полумрака свет, и все трое перешагнули через порог в ослепительно белую крохотную каморку. Потоптались, не зная куда себя деть, да так и остались стоять на маленьком пятачке между стеной, кроватью и тумбочкой.

— Ну как?— неуверенно спросил комендант.

— Хорошо,— осмотрелся Антон.— Жить можно.— И еще раз оглядел стены, видно, машинально искал окно.

Геннадий чувствовал себя неловко. Он явно был здесь ни к чему, никто его не звал: ни Антон, ни маленький беспокойный комендант. Было бы естественно сейчас уйти: проводил, помог донести чемодан и до свидания. Он вспомнил, что все еще держит этот чемодан в затекшей руке, и поставил его на пол. Антон хлопнул по чемодану рукой и попросил коменданта:

— Садитесь.

Комендант сел, а Геннадий, толкнув плечом дверь, открыл ее и, пятясь, переступил порог.

— Я пойду. До свидания.

— Ну, нет!— повернулся к нему Антон.— Снимайте плащ, будем...— он втянул несопротивляющегося Геннадия обратно в каморку.— Будем... новоселье праздновать. У меня в чемодане что-то должно быть. Парни проговорились.

Комендант сидел на ребре чемодана торжественный, улыбающийся, как жених на деревенской фотографии, и держал в напряженных руках ветки с гроздьями спелой, оранжево-красной рябины.

— И вы раздевайтесь, Родион... Ильич?..— осторожно, вопросительно назвал Антон его имя.

— Да, да,— закивал комендант.— Родион Ильич. И беспомощно оглянулся, не зная, куда деть рябину.

Антон взял у него ветки, еще раз развернул записку. Пожал плечами.

— Ваша жена, наверно?

— Что вы! — развеселился комендант, вытянувшийся с плащом в руках перед высоко забитым гвоздем.— Это из девчат кто-то.

Геннадий помог ему, повесил и свой плащ. Заинтересовавшись, взял у Антона записку.

— Я сейчас воды принесу,— протиснулся к двери комендант.

— Родион Ильич, попросите у жены стаканы,— крикнул Антон вдогонку и, встав на колено, открыл чемодан.

Геннадий все стоял с запиской в руке, всматривался в крупные круглые буквы и вспоминал: чей это почерк?

Антон что-то вынимал из чемодана, удивленно присвистывая, складывал на полу. Оглянувшись на Геннадия, попросил:

— Садись на кровать, все равно больше некуда.

Геннадий сел.

Почерк был очень знаком: где-то совсем недавно он видел такие же буквы.

— Поставь на тумбочку,— Антон передал ему видавшую виды, помятую жестяную кружку.— И это,— он протянул пузатую аптечную бутылку с красной резиновой пробкой и один за другим два свертка, упакованные сверху в лоскуты марли.

Геннадий сдвинул рябиновые ветки и застыл над тумбочкой с кружкой и свертками в руках. Он наконец отчетливо вспомнил обложку тетради с надписью: «Л. Зотова. 2-й курс. Класс фортепьяно». Такие же крупные круглые буквы.

За дверью послышались шаги, возня и голос коменданта:

— Откройте, пожалуйста!

Антон встал, открыл. Комендант внес в комнату табурет, заставленный горкой тарелок, с кастрюлькой наверху, солонкой, перечницей и бутылкой с зеленоватым конопляным маслом на донышке. Все это было искусно размещено, и не меньшее искусство требовалось донести сложное нагромождение до цели.

— Это жена,— сразу же стал оправдываться комендант.— Очень просила не отказываться. Конечно, без сметаны, зато с маслом.

Он поставил табурет, открыл крышку кастрюльки и, все так же оправдываясь, сказал:

— Пельмени капустные...

— Да ну?— Антон наклонился над исходящими горячим паром пельменями.— Никогда не ел! Вот спасибо вашей жене! Зовите ее сюда.

— Нет, нет, она занята. Что-то там дочке перешивает. Благодарю.— И, ободренный Антоновой простотой, комендант стал проворно доставать из карманов стаканы и вилки.

Антон тем временем сложил в тумбочку вынутые из чемодана книги. Геннадий заметил, что книги по искусству: пособие по рисованию, книга о Леонардо да Винчи, «Палитра Делакруа» Пио Рене. Не сдержался, рассеянно спросил:

— Рисуете?— И невольно посмотрел на больную правую руку.

Бледные, неестественно тонкие пальцы ее выглядывали из повязки и казались безжизненными.

— Занимались раньше?— поправился он.

— Только собирался,— захлопнул дверцу тумбочки Антон.— Не успел.

Он стал помогать коменданту, накрывавшему импровизированный стол, а Геннадий опять посмотрел на записку, поискал, куда ее положить, и сунул почему-то под подушку.

— Вы в госпитале долго лежали?

— Год.

— И... не поправились?— Геннадий показал глазами на руку.

— Это надолго. Нервы перебиты.

«Зачем же в консерваторию?» — хотел спросить Геннадий, но смолчал и сказал другое: — Завтра занятия отменяются: в оперном — генеральная. Пойдете, конечно?

И не расслышал ответа, потому что мысленно спросил самого себя: «Зачем его приняли? Калека не может стать артистом.— И одновременно подумал: — Надо пойти раньше. Занять место для Люси. Она вечно прибегает после увертюры».

В пузатой аптечной бутылке оказался чистый спирт. В марлевых свертках — хлеб, масло, вареное мясо, ма-

лосольные огурцы, головка лука и большое красное яблоко.

Когда Антон развернул все это, он даже посерьезнел от неожиданности.

— Ну, спирт, это — Александр Парамоныч... Главврач,— сказал он задумчиво.— А остальное откуда? Яблоками в госпитале не кормят...

— Ну, ладно! Это,— он протянул коменданту яблоко,— отнесите дочке.

«Стол» получился «двухэтажный»: табурет и тумбочка. Проворный маленький комендант так искусно сервировал его, так аккуратно, красиво нарезал огурцы, хлеб, мясо, что Антон сказал:

— Такое великолепие должен еще кто-нибудь оценить. Может, соседей позовем? Родион Ильич, кто живет рядом?

В соседней комнате жила Люся, и Геннадий все время об этом помнил. Он с беспокойством посмотрел на коменданта: а вдруг пойдет сейчас и позовет именно ее?..

Но Родион Ильич равнодушно сказал:

— Пятеро девчат тут живут. Все не поместятся. А двоих кого позвать — неудобно.

— Ну, ладно,— согласился Антон и шутливо-церемонно повел рукой над столом.— Прошу вас...

Он разлил в стаканы спирт, плеснул в свой немного воды, передал банку Геннадию. Геннадий сделал то же самое, передал коменданту, и когда банка с остатками воды вернулась к Антону, тот поставил в нее рябиновые ветки, удивительно ловко одной рукой обрезав места облома, расправив смявшиеся листья. Потом нашел банке место среди закусок, потеснил их и как-то задумчиво, невесело помолчал, словно забыл на мгновение, что не один.

Сотрапезники тоже помолчали: комендант — деликатно, выжидающе, Геннадий — обеспокоенно, недобро. Это овеществленное поздравление с новосельем не давало ему покоя.

Антон услышал тишину, поднял голову. Поддел вилкой пельмень, положил обратно. Сказал:

— Когда выходили из окружения — одной рябиной питались. Трое суток. Думали — смотреть на нее не сможем. А теперь, как увижу где,— чуть ли не кланяюсь. Спасительница...— Он поднял свой стакан:

— Ну, поехали.

Выпил, принялся за пельмени.

— Вкусно...

— Уральское блюдо,— довольно пояснил комендант.— Еще с редькой делают. И с грибами.

От выпитого спирта и отличной по военному времени закуски все повеселели, разговорились и долго сидели. Геннадий и комендант расспрашивали Антона о фронте, о Ленинграде, о скитании его по госпиталям, а он больше отшучивался, видно, не хотел говорить о себе и забрасывал веселыми, незначительными вопросами своих новых знакомых.

Они сидели бы еще, да постучала в дверь комендантова жена и, не входя, даже не показавшись, позвала мужа, и он сразу поднялся, снял с гвоздя плащ и послушно ушел, легкомысленно помахав с порога рукой.

— А знаешь, можно выяснить, кто это тебя с новосельем поздравил,— сказал, пересаживаясь на освободившийся чемодан, Геннадий. И испугался, что выдал себя.— Если хочешь, конечно,— добавил он уже нарочито равнодушно и рассеянно.

Антон, однако, не придал этому значения. Ответил:

— Ну, зачем?..

И перевел разговор.

— Гена,— посмотрел он на него очень пристально.— А из твоей семьи кто-нибудь воюет?

— Отец,— быстро сказал Геннадий.

Помедлил и сказал еще:

— Сестра.

— Старшая?

— Нет. А что?

Геннадий насторожился, даже приподнялся и как-то неестественно выпрямился на чемодане.

— В каждой семье кто-нибудь воюет...— раздумчиво проговорил Антон и снова посмотрел на Геннадия. Спросил осторожно: — А ты... здоров?

— Конечно. А в чем дело?

Он понимал, о чем хочет спросить Антон, он часто читал в глазах собеседников этот вопрос, но до сих пор никто не посмел задать его.

— Почему же тогда ты... здесь?

— Наша семья — четверо,— Геннадий говорил спокойно, не повышая голоса, но это напускное спокойствие трудно ему давалось.— Двое — там. Этого мало?

— Не надо арифметики,— покачал головой Антон.— Я не об этом. Война — не женское дело. Не для сестер,

если у них есть братья. Не для младших сестер,— повторил он, уже не сумев сдержать раздражения.

— У меня бронь,— стараясь держать себя в руках, сказал Геннадий.

— В консерватории — сплошь девчонки,— не мог остановиться Антон.— На нашем курсе кроме меня — один парень. Со зрением — минус восемь.

— У меня бронь,— вскочил с чемодана Геннадий.— Я ее не просил! Это не мной решалось.

Он хотел пройти по комнате, шагнул и сразу уперся в стену. Повернул обратно. Снова сел.

— На всех курсах — не больше десяти парней,— не спускал с него глаз Антон.— Почти все — очкарики. А было, говорят, больше, чем девчонок. Что же, тебе одному бронь дали?

— Не мне одному,— у Геннадия от волнения сдавило горло, и он говорил каким-то шершавым, срывающимся голосом.— Наиболее одаренным.

— Где же они?

Антон поднялся, сдвинул ногой табурет — задребезжали, зазвякали на нем пустые стаканы и тарелки. Достал из кармана шинели «Беломор», спички, закусил губами мундштук папиросы, сел. Вложил в перевязанную руку спичечный коробок, и два пальца, медленно согнувшись, слабо сжали его. Наклонился к руке, осторожно высек огонь.

«А ведь весь вечер не курил»,— заметил Геннадий.

Антон дернул шнурок, свисавший по стене над кроватью, и с треском открылась круглая, как пустая консервная банка, крышка отдушины. Папиросный дым вытянулся, как-то причудливо перекрутился и, светлея, истаивая, потек вверх, к отверстию.

Геннадий посмотрел на часы.

Они помолчали, не зная, о чем теперь говорить. Возвращаться к прежней, трудной теме не хотелось обоим. Сказано было достаточно.

— У тебя нет учебника по сольфеджио? — нашелся наконец Антон.

— Конечно есть! — обрадованно ухватился Геннадий за спасительную нейтральную тему.— У меня даже тетради с первого курса есть. Я завтра занесу. И по живописи кое-что захвачу. Отец немного в студии занимался.

— Спасибо,— сказал Антон.— Заходи. Вместе на генеральную пойдем. Я в здешнем оперном ни разу не был. Говорят, тут Козловский начинал?

— И Лемешев.

— Ого!.. А отец у тебя кто? — поколебавшись, спросил Антон.

— Инженер-строитель,— снова насторожился Геннадий.— Сейчас майор.

— Будет ему работы после войны,— не глядя на Геннадия, покачал головой Антон. Помолчал, задумавшись.— И теперь хватает...

— Писем давно нет,— отозвался Геннадий.— Мать места себе не находит.

Он проговорил это печально и просто и как-то сразу обмяк. Доверительно, ожидающе посмотрел на Антона.

— Бывает,— как о чем-то обыденном сказал Антон.— Бывает, полгода ничего нет, а потом целую пачку принесут.

Они еще немного посидели, и Геннадий поднялся. Антон вышел в коридор проводить его. Рядом, в соседних комнатах, еще не спали: за неплотно пригнанными дверьми рассыпался смех, доносились беззаботные разговоры девчат. Геннадий замедлил шаг, тоненького Люсиного голоска слышно не было.

В «семейной» половине коридора стояла тишина. Все примусы с ящиков были убраны, но не от страха перед пожарной инспекцией, а из боязни воровства. Домой Геннадий шел медленно, раздумывая о состоявшемся знакомстве и все время беспокойно и остро помня о Люсиной записке.

До сих пор в отношениях с людьми — знакомыми, соседями, соучениками, товарищами — у него все было просто. Одним он симпатизировал, другим — нет. Одних уважал, других игнорировал. К третьим был равнодушен. Каждый человек вызывал в нем какое-то одно чувство, и оно определяло отношение. Еще раньше, в школе, все люди вообще делились в его представлении на два «сорта»: хорошие и плохие. Геннадий без особых раздумий выносил свою оценку человеку, соответственно ей вел себя с ним и, кроме одного, казавшегося ему главенствующим, качества уже не принимал никаких «сопутствующих». Он их просто отбрасывал, они его не интересовали и не могли изменить сразу сложившееся у него суждение о человеке.

Антон вызывал у него противоречивые чувства. Он не был — по его меркам — ни плохим, ни хорошим. Он был другим. И отношение к нему не определилось у Геннадия сразу, оно складывалось постепенно и каза-

лось каким-то новым, тоже «другим», незнакомым Геннадию прежде. Определенным пока было одно: этот человек интересовал его.

Почему-то Геннадий не чувствовал здесь собственного превосходства — такого прочного и привычного в отношениях с товарищами,— и это тоже было новым, и раздражало, и удивляло, и слегка беспокоило.

Наутро, шагая этой же дорогой в общежитие с увесистой пачкой книг под мышкой, он думал все о том же: почему, чем интересует и чем подавляет его Антон?

Профессиональные качества он тут же сбрасывал со счета: голос хороший, но на сцене Антону не быть. Разве что солистом на радио. В этом, значит, не соперник. Записка от Люси?.. Он все еще думал о ней. Успокаивал себя, находил объяснение: все консерваторские девчонки ходят в госпиталь помогать сестрам, читать раненым книги, писать письма... И Люся — тоже. И, конечно же, рябиновые ветки и записка не больше чем проявление сочувствия, естественное для сестры милосердия.

Он уже подходил к общежитию. Книги оттянули руку, он остановился, переложил их. Заметил на обложке одной летящий стремительный росчерк отца: так была помечена вся его библиотека. И тотчас же вспомнил во всех подробностях вчерашний разговор об отце, недобрый прямой вопрос Антона: «Почему же тогда ты... здесь?» И вспомнил парней, с которыми вместе сдавал вступительные экзамены, с которыми учился в первый — радостный, шумный — год студенчества... В битком набитом молодежью зале консерватории по старой традиции первокурсники всегда оставались без мест и все учебные концерты слушали, стоя в проходе, возле двери. Оттуда хорошо виден был весь зал, и Геннадий, припомнив это, удивился: на самом деле, до чего же много было парней! Куда больше, чем девчонок. И представил этот же зал сейчас. В обычные дни он превращается в аудиторию, потому что классов не хватает — весь первый этаж отдан эвакуированному музучилищу. И только в торжественных случаях да во время публичных экзаменов возвращается ему былое назначение. И тогда зал заполняют девчонки. Одни девчонки! И не то чтобы «заполняют». Всегда остаются свободные места, и никто не стоит около двери в проходе.

«Почему же тогда ты здесь?»... И Геннадий впервые почувствовал неловкость от того, что вот он — здоровый,

благополучный, удачливый — идет себе спокойно, по спокойной утренней улице, идет в хорошо сшитом костюме, в новом — нараспашку — пальто и беспечно, игриво улыбается встречным девчонкам. А девчонки оглядываются и смотрят ему вслед. Смотрят или восторженно или растерянно. Почему растерянно?..

Раньше он считал: ну, теряются при виде симпатичного парня. Вполне понятно. А сегодня подумал: «Неужели и они... как Антон Смолин?» И сразу все девчонки стали чем-то походить на сестру Зойку. И Зойка вспомнилась — заплаканная, испуганная и... гордая. Даже надменная. Он пошел проводить ее, но на полдороге, угадав издали знакомого парня, в окружении родни спешившего на тот же, что и они, сборный пункт, торопливо простился, путано объяснил, что срочно должен сбегать в консерваторию и мигом вернется, и Зойку еще увидит, проводит к эшелону. Убежал, оставив сестру с подружками и убитой расставанием матерью. И не вернулся. Просидел в консерваторской библиотеке над какой-то ненужной книгой...

Потом он долго ходил по улицам и вернулся домой ночью, но все равно — раньше матери. Она пришла под утро, уставшая и тихая. Не сняв пальто, прошла в комнату, села к столу напротив Геннадия, подняла на него словно бы остановившиеся глаза.

— Я не нашел вас,— соврал он.

— Я так и думала — эшелон ушел с Сортировки.

Тогда Геннадию показалось: она поверила. Сейчас он не сомневался: мать знала, что он соврал.

И отдаленно, неясно возникла в нем не то жалость, не то зависть к Зойке. Потом все это подавила невесть откуда взявшаяся виноватость перед нею. И тогда захлестнул стыд. Осознанный, жгучий стыд перед сестрой, перед матерью, перед Люсей. Перед фронтовиком Антоном. Перед встречными, глазеющими на него девчонками. А что если все они думают, будто он — трус? Мысли, что он и на самом деле трус, Геннадий не допускал.

Он уже шел по коридору общежития и жалел, что не повернул обратно еще там, на улице. Ему казалось, что любой, кого он встретит, прочтет на его лице боязнь, беспокойство и непременно догадается, о чем он сейчас думал. А догадавшись, действительно сочтет его трусом.

Открылась дверь, и из нее шумно высыпали девчонки.

— Ой, Гена! Ты за нами?

Он сделал неопределенный жест в сторону Антоновой двери, и Люська побежала к двери, бойко стукнула кулаком, прокричала:

— Девятая комната — на старт!

Антон открыл дверь, взял у Геннадия книги. Стоя, полистал. С сожалением оторвался, убрал в тумбочку. Девчонки, подхватив под руки поджидавшего их Родиона Ильича, скрылись в изломе коридора, и парни догнали их только возле трамвая. С шумом все вместе ввалились в вагон, заняли всю площадку, а потом долго, медленно ехали три остановки и сошли у нарядного бело-зеленого здания с тремя музами на классическом, строгом фронтоне.

Геннадий, опередив всех, пошел к театру быстро, чтобы успеть занять хорошие места. У самого входа оглянулся. Девчонки торопливо бежали следом. Притихшая Люся шла рядом с таким же маленьким, как она, Родионом Ильичом. Антон стоял посреди тротуара, расставив ноги, прижав к груди перевязанную руку, и смотрел на здание театра так, как в картинных галереях смотрят на большие — во всю стену — полотна.

Геннадий вошел в зал, когда опередившие его девчонки уже заняли целый ряд и с трудом оберегали места от посягательств студенток театрального института. Увидев Геннадия, обрадованно и ожесточенно замахали ему. Потом пришла Люся. Молча, не торопясь, села рядом и, повернувшись назад, вытянув шею, уставилась на ближайшую входную дверь.

— Ну, наконец-то! — притворно оживившись, сказала она и, привстав, крикнула: — Родион Ильич! Сюда!

Она подвинулась, освободив коменданту кресло рядом, и тот, оказавшись между нею и Геннадием, суетливо и неловко откинул тут же отскочившее обратно сиденье, смутился и, еще немного поборовшись с креслом, наконец устроился, блаженно погладил бархатные подлокотники, сказал мечтательно:

— Этот театр очень похож на Большой. Я там перед самой войной... сына слушал.

— Артист? — рассеянно спросила Люся и, обернувшись через плечо, нетерпеливо глянула в сторону забитого людьми прохода.

— Артист,— значительно произнес комендант.— В хоре.

Люся шарила глазами по освещенному, полному дви-

жения залу и уже не слушала коменданта. А он с удовольствием пояснял:

— Теперь-то воюет. Как все. И в госпитале свое отлежал.

Она больше не скрывала своего беспокойства, встала.

Геннадий не выдержал:

— Ты кого ждешь?

— Места же есть,— недовольно повела плечами Люся.— Наших смотрю.

Когда прозвенел второй звонок, Антон сам нашел их, но сесть не успел: его окликнула Ванда Ляхова, крупная, грубо сбитая, но для своей комплекции удивительно подвижная девица. Она легко растолкала оставшихся без мест, забивших проход студентов, остановилась у края их ряда.

— Ты это что же, Смолин, на учет не встаешь?

Тот, видно, не понял, и она повторила рассерженно:

— На учет не встаешь, а взносы платишь.

И переметнулась на Люсю:

— Почему принимаешь?

И снова прикрикнула на Антона:

— Где комсомольский билет? Потерял? Так и скажи. Напиши заявление. А мудрить нечего.

— Перестаньте кричать,— попросил Антон сдержанно.— В райкоме все известно.

— А мне неизвестно,— отрезала Ванда.

— Хорошо. Я зайду в комитет объясниться. После спектакля...

В зале стоял шум, но сидевшие рядом прислушивались и с любопытством оглядывались. Разволновавшаяся Люся стояла теперь рядом с Вандой, теребила ее за рукав и умоляюще уговаривала:

— Не надо здесь. Я ведь тебе все рассказывала...

Ванда, не слушая, отстранила ее мощным, распирающим рукав локтем, сказала угрожающе:

— Не посмотрим, что фронтовик. Комсомольская дисциплина для всех одна.

Антон резко рванулся, подтолкнул Ванду, ухватил ее за обмякшую сразу, безвольно повисшую руку, решительно повел к выходу.

— Куда? — не поняла она.

— В райком... в горком... Куда угодно!

Она было остановилась, обрела прежнюю свою уверенность, вскинула голову, милостиво разрешила:

— Можешь после спектакля. Буду в комитете.

— Ну, нет! — оборвал Антон и пошел из зала.

Ванда раздраженно пошла за ним. Обернулась, крикнула Люсе:

— Место сохрани. Заступница!

Она вернулась в антракте, одна, шумно пробралась между рядами, втиснулась в кресло, перевела дыхание.

— Ходили в райком? — всмотрелась в ее разгневанное лицо Люся.

— Такие дела собрание решает,— отрезала Ванда.

И по ее тону, по красным, припухшим пятнам на больших рыхлых щеках, по тому, как беспокойно и бессмысленно двигались ее тяжелые руки, то одергивая, ощипывая платье, то укладываясь на коленях, Геннадий предположил, каким резким, даже, может быть, оскорбительным получился у нее разговор с Антоном.

Прежде тихая, замкнутая, стеснявшаяся своей нелепой внешности, Ванда, как только избрали ее комсомольским секретарем, стала криклива, шумна, недобронапориста. Она вечно кого-то за что-то отчитывала, или поучала, или подозревала и буквально охотилась за «персональными делами», выискивала их, видела порок в самых безобидных товарищеских отношениях.

Красивых девчат она считала пустышками, а к мужчинам испытывала какое-то особое мстительное чувство. По-видимому, за их равнодушие, за отсутствие всякого к ней интереса. И, как ни старалась, не умела этого скрыть. Студенты, не замечавшие ее поначалу, теперь откровенно недолюбливали и с нетерпением ждали перевыборов, желая положить конец ее бурной, граничащей с деспотизмом деятельности.

У Геннадия тоже было столкновение с Вандой по какому-то пустячному поводу. И поэтому сейчас, не зная причины инцидента, он заранее был на стороне Смолина. Однако заступничество Люси его обеспокоило.

Люся торопливо и возбужденно что-то объясняла, доказывала Ванде, но та сидела не глядя на нее и, казалось, не слушая. Началось действие, а Люся, понизив голос, все шептала ей в ухо, пока наконец не обернулись сидящие впереди.

Словоохотливый Родион Ильич, явно симпатизировавший Антону, потерял всякий интерес к спектаклю и до конца действия подавленно молчал.

На другой день в зале консерватории шло общее

комсомольское собрание. Объявление о нем висело уже давно, однако собрание несколько раз откладывалось, как говорили злые языки, за неимением очередного персонального дела. А тут вдруг появился повод — студентов снова посылали в колхоз «на картошку».

Поднявшись на сцену, где стоял покрытый старым красным коленкором стол, Ванда произнесла строгую, призывную речь, похожую скорее на обвинительную, потому что в ней как бы подвергались сомнению и патриотизм, и дисциплинированность, и элементарная порядочность студентов. Ей не возражали. Ее просто не слушали: кто переговаривался, кто читал, а некоторые откровенно дремали. Речь эта была ни к чему: от работы в колхозе никто не отлынивал. Единственно, что пугало и беспокоило студентов: в чем ехать? Уральская осень переменчива, и недолгое бабье лето неожиданно могло смениться холодными обложными дождями, липким, слепящим снегом. По собственному опыту студенты знали, какой пыткой может обернуться тогда для них работа на поле и как подведет тогда не пригодная в деревенских условиях, не спасающая от холода и сырости их одежда. Она не успевает за ночь просохнуть, а обувь, задвинутая ухватом в самое нутро долго не остывающей русской печки если и просыхает, то становится жесткой, коробливой, до крови стирает ноги.

Ванда произносила речь, когда дверь медленно отворилась, и, стараясь не шуметь, вошли в зал и сели с краю в первом ряду Люся и Антон Смолин.

Геннадий оторвался от книги, Ванда споткнулась на пышной призывной фразе, повторила ее, крикнула в зал: «Кто хочет выступить?» — и осталась стоять, поджав губы и невольно скосив глаза в сторону опоздавших.

«Выступить» никто не хотел. Все торопились уйти, рвались в студенческую столовку, где можно было в обмен на талончик продовольственной карточки получить тарелку жидкого пшенного супа, а на три талончика — три тарелки и, слив жидкость, съесть густоватое варево, приправленное всего лишь одной солью.

— Ясно! — захлопали откидными креслами комсомольцы.— Закрывай собрание!

Усмиряя зал, Ванда властно подняла руку и стояла так, пока все не притихли.

— Завтра в восемь утра сбор на вокзальной площади,— произнесла она зычно и, опять предотвращая

шум, вскинула руку: — Членов комитета, комсоргов и товарища Смолина прошу остаться.

Неизменно наперегонки кидавшиеся к двери, едва заканчивалось собрание, комсомольцы на этот раз не выказали поспешности. Стали расходиться медленно, переговариваясь, поглядывая на Смолина.

Когда наконец все «рядовые комсомольцы» ушли, Ванда отпила из стакана воды, постучала широкой стеклянной пробкой по щербатой, словно обкусанной, горловине граненого графина и прошлась острым лихорадочным взглядом по всем, кроме Смолина, присутствующим, словно сшила их этим взглядом в единую связку. Еще раз испытующе посмотрела на каждого, будто проверяла «связку» на прочность. И нашла в ней два слабых звена: Люся, повернувшись к Ванде спиной, тихо разговаривала с Антоном, а Геннадий мрачно следил за ними и ни на что больше не обращал внимания.

Тогда Ванда резко, стремительно прошла за кулису, рванула оттуда, из темноты, стул, со стуком поставила его возле стола.

— Времени у нас мало. Начнем,— Ванда жестом пригласила оставшихся к столу на сцене.

Все тоже кинулись за кулису, с треском, шумом стали выдирать оттуда сваленные друг на друга стулья. Геннадий медлил, ожидая, когда наконец встанет Люся, но она по-прежнему сидела, неуважительно отвернувшись от всех, будто кроме Антона Смолина здесь никого и не было.

Ванда зло, понукающе глянула на Геннадия, и он, подчиняясь ей, невольно поднялся, тоже занял свое место за столом.

— Зотова! — крикнула Ванда и стукнула пробкой по графину.— Ждем!

Люся нехотя повернулась, а Антон взбежал на сцену и, хотя рядом с Геннадием и Вандой стояли свободные стулья, принес и поставил к столу еще один. Позвал Люсю глазами, а сам, уже не так бойко, с усилием переступая раненой ногой, вернулся на свое место. И остался в большом пустом зале один.

Геннадий уловил, как оба они что-то еще сказали друг другу взглядами, и это определило его отношение к делу, которое еще не было известно, и восстановило против Антона, независимо от того, был он виноват или прав.

— Студент Смолин выдает себя за комсомольца,— сказала Ванда и потерла друг о друга взмокшие от волнения ладони.— Фактически он комсомольцем не является. У него нет билета, удостоверяющего принадлежность к Коммунистическому Союзу Молодежи. Он просто утерял его и не желает в этом признаться. Зотова незаконно принимала у него взносы и за это ответит.

Сидящие за столом молчали. Ни на кого не глядя, Ванда послушала тишину и спросила:

— Какие будут мнения?

Члены комитета и комсорги завозились, зашумели. Кто-то сказал: «Ерунда какая-то. Недоразумение»... Кто-то попросил: «Объясните подробнее». Люся вскочила, сжала маленькие пальцы в крепкие кулачки, подалась к Ванде.

— Да ты скажи им, как было. Ведь знаешь!

— Помолчи! — прикрикнула Ванда.— О тебе тоже разговор будет. Корнев, ты хочешь сказать?

— Если студент Смолин не комсомолец,— очень четко и холодно выговорил Геннадий,— так зачем мы здесь тратим время?

Антон сидел спокойно, слегка откинувшись на спинку стула, и с некоторым интересом, приправленным легкой иронией, смотрел на сцену. Смотрел так, словно там шло неловкое самодеятельное представление, заслуживающее снисхождения зрителей.

— У меня был разговор со студентом Смолиным,— продолжала Ванда.— Он в грубой форме заявил, что билет кому-то отдал там... на фронте, что писал в часть из госпиталя, но ответа не получил. А между тем,— она повысила голос,— проверить ничего невозможно. Да, кстати,— вспомнила она,— почему вы опоздали, Смолин и Зотова?

— Были в райкоме! — с вызовом сказала Люся.

Ванда оставила это без внимания.

— Мы знаем много примеров,— возбуждаясь от своих слов, говорила и говорила она.— Много примеров достойного обращения фронтовиков с документом, выданным в торжественный момент посвящения их в комсомольцы! Мы знаем...

Единственный, кроме Геннадия, член комитета — парень Андрей Михеев в сильных, толстых, как увеличительные стекла, очках со сломанной, скрепленной проволокой дужкой, внимательно посмотрел на Ванду и сказал, не вставая:

— По твоему разумению, если солдат ранен, значит, и комсомольский билет кровью залит. Экспонат для будущих военных музеев. Только так?

Она почувствовала в парне врага и тотчас оборвала его:

— Вы хотите что-то сказать? Конкретнее...

— А Смолин — разведчик,— словно не заметив ее раздражения, не слыша подчеркнуто-официальной фразы, повысил голос Михеев.— А у разведчиков закон: идешь на задание — сдай документы. Все. Даже, кажется, медальона иметь при себе не положено... А хранят, думаешь, где? В несгораемых шкафах?

Михеев вдруг резко встал, уперся ладонями о край стола, уничтожающе посмотрел на Ванду через очки сильно увеличенными глазами.

— Я нахожу заявление секретаря комитета комсомола недостойным и непорядочным. И в обсуждении его принимать участие не собираюсь.

По лицу Ванды медленно расплылись лихорадочные красные пятна, руки беспомощно заметались над столом. Однако она уже поняла, что зарвалась. И потому постаралась сдержаться. Сказала почти ровно:

— В таком случае вы можете быть свободны, Михеев.

Но он не ушел. А только не торопясь поднялся из-за стола, убрал в потертый кирзовый планшет карандаш и исчерканный, изрисованный листок серой оберточной бумаги, спрыгнул со сцены и неожиданно для всех сел рядом с Антоном — просто, непринужденно, без малейшей демонстрации и все-таки достаточно значительно для того, чтобы жест этот был истолкован единственно правильно: Михеев доверял Смолину и решительно принимал его сторону.

Ванда снова совладала с собой, и только красные пятна потекли от подбородка по шее, и Геннадий вдруг глупо хмыкнул, вспомнив дурацкую фразу: «...у меня вся тела такая».

Она что-то опять говорила, но он уже не мог сосредоточиться, боролся с душившим его нервным смехом. И только когда за столом опять началось движение и он увидел, как резко вскочила Люся, услышал дрожащий, всхлипывающий ее голос, смех отошел. Но понять, что же произошло, он не успел: Люся метнулась со своего места в зал и, уткнувшись в плечо Михеева, расплакалась.

Тогда поднялся не проронивший до сих пор ни слова Антон Смолин и так же молча вышел из зала.

Члены комитета, оставшиеся за столом, облегченно задвигались, считая злополучное заседание законченным. Однако Ванда призвала их к порядку и как ни в чем не бывало повторила традиционный вопрос:

— Кто хочет высказаться?

Люся продолжала рыдать на плече Михеева, тот неловко ее успокаивал. Комитетчики молчали. Ванда ждала. Появившееся в начале заседания раздражение против Антона захлестнуло Геннадия. И раздражение это не имело ничего общего с предметом обсуждения; просто Геннадий не мог больше противиться самому себе.

— Я считаю, мы должны осудить студента Смолина,— сказал он.— И запретить ему участвовать в жизни комсомольской организации.

Он покосился на Люсю, понял, что с каждым словом теряет ее расположение, ее доверие, но остановиться уже не мог.

— ...Потому что все его объяснения действительно невозможно проверить. Деньги, которые принимала у него Зотова, вернуть.

Он хотел сказать еще и о том, что некоторые видят в Смолине только фронтовика, чуть ли не героя и потворствуют его спекуляции на ранении. Иначе чем объяснить, что его без документов об образовании и без всякой музыкальной подготовки приняли в государственную консерваторию?..

Но он этого не сказал: не хотел еще раз напоминать комитетчикам, что обсуждаемый ими Смолин — действительно фронтовик.

— Надо обсудить на общем собрании! — предложил кто-то.

— Завтра же!..— крикнула Люся.— И я все расскажу комсомольцам.

— Нет! — отрезала Ванда.— Мы завтра едем на трудовой фронт. И ты отвечаешь за свой курс...

Обычно Геннадий не ездил на уборочную. Он договаривался со старшекурсниками, сколачивал небольшую концертную бригаду и, заручившись поддержкой филармонии, утвердив там репертуар и маршрут, отправлялся в турне куда-нибудь не слишком далеко от города. Кон-

церты были вполне профессиональны, неизменно имели успех, и артисты, возвращаясь, привозили восторженные отзывы зрителей, официальные благодарности и немалые для студентов деньги. Консерваторское начальство, круто расправлявшееся с организаторами тайных халтурных бригад, к Геннадию благоволило и вписывало эту его работу во всякие справки и отчеты, а благодарности и отзывы аккуратно подшивались в канцелярские папки.

И в этот раз он мог бы зайти в директорский кабинет, вежливо извиниться перед Валентином Фомичом за то, что «оторвал от работы», выслушать добродушное: «Ничего, ничего! Проходите. Что там у вас?», изложить план очередной поездки и обезоруживающе спросить: «Как вы на это смотрите?» А потом, получив согласие, собрать надежных ребят, оговорить программу и утвердить ее в «соответствующих инстанциях».

Но что-то произошло тогда, на заседании комитета. Чем-то поставил он себя в положение человека, обязанного теперь — или хотя бы пока — поступать по законам коллектива. И дело было даже не в его выступлении. Он никогда не слыл молчуном, и в консерватории привыкли к его категоричным суждениям. Но всегда выходило так, что суждения эти были сами по себе, касались лишь тех, о ком и для кого он говорил, и не имели никакого отношения к самому Геннадию. Потому что не только он был убежден в праве на исключительность своего положения, но и все вокруг принимали это как должное. И только столкновение с Антоном поколебало в Геннадии привычное, прочное ощущение избранности. А то, что он, не разобравшись, не пытаясь вникнуть в существо дела, осудил Смолина, вдруг поставило под угрозу его собственное спокойствие и душевное благополучие.

И вот Геннадий, отработав, как все, в слякотных осенних полях около двух недель, изодрав в кровь ладони и перетаскав на своем горбу до придорожных буртов не одну сотню корзин и мешков с картошкой, кормовой брюквой, ехал обратно в город. В теплушке, прицепленной к хвосту очень медленного товарного поезда, неосвещенной и какой-то очень непрочной, их было полным-полно. Кроме консерваторских теснились здесь студенты политехнического и старшеклассники одной из городских школ. В компании парней, которых на всю теплушку было не более двадцати, Геннадий сидел на

полу, подобрав ноги в добротных яловых сапогах, прислонившись к шершавой тряской стенке, и устало дремал, забываясь тяжело, но ненадолго, потому что мешал уснуть холод, от которого не спасала короткая влажная телогрейка.

Мерзли все. Многие надрывно, громко кашляли, надсадно сморкались, но все были на ногах, никого не свалила непосильная для городских непривычных рук крестьянская работа, и потому, наверное, поверх кашля, поверх посапывания уснувших ребят и занудного однообразия колесной возни рассыпался вдруг беззаботный заразительный смех, не смолкали беззлобные веселые подтрунивания. Даже на Геннадия, все время державшегося наособицу, подействовало это всеобщее хорошее настроение, и он подумал удивленно: а ведь источник его не в том, что медленный товарняк верно и настойчиво тащит их к дому, а в той исконной, древней и необходимой человеку радости содеянного труда. Он и в себе ощущал эту гордую радость, она теснилась, толкалась, почти физически распирала окрепшую на тяжелой работе грудь, искала выхода. Она сладко и беспокойно томила его даже в дремоте, и, может, не холод, не влажная телогрейка, а избыток трудно добытой радости и чистой — без примеси самодовольства — честной гордости мешали Геннадию в тот раз уснуть.

Товарняк останавливался часто, подолгу стоял, и тогда едва выносимый во время движения холод одолевал всех. И в одну из таких стоянок какой-то парень не выдержал: взобрался на тендер, не таясь, скинул оттуда несколько здоровенных кусков угля. Кто-то другой выдрал из поредевшего станционного забора кусок сухой серой доски. А уж девчата нащепали из нее лучины, разожгли в теплушке остыло торчавшую до сих пор «буржуйку». И огонь сразу взялся, заплясал жарко и весело, словно радуясь тому, что его наконец выпустили из долгого заточения в крохотной спичечной головке.

В теплушке началось движение: все потянулись к огню, окружили «буржуйку», но только некоторым удалось протиснуть к теплу промокшие, в рваных ботинках, в сношенных сапогах ноги.

— По очереди будем сушиться,— успокоил зашумевших было девчат парень, который лазал на тендер. Он теперь как бы чувствовал ответственность за огонь, за рациональное использование тепла.

Геннадий присел на краю освободившихся нар, рядом с непривычно молчаливой, недовольной Вандой. В колхозе она почти не работала, только «руководила» — как всегда шумно и грубо, доводя обидчивых девчонок до слез,— и, приметив это, колхозная агрономша, провожая помощников, благодарно пожимая им всем руки, словно невзначай обошла Ванду, и та осталась стоять с протянутой рукой, пока не догадалась сделать вид, что не обратила на это внимания. Агрономше, однако, показалось этого мало, и она, приглашая ребят и на посевную, довольно язвительно пообещала Ванде: «Тебя, милая, на физический труд поставлю. По теперешним временам весу в тебе лишку А начальничать может кто другой, послабже». Была агрономша маленькая, сухонькая, совсем старушка, а работу ворочала за десятерых, и потому слова ее имели особый смысл и не остались незамеченными.

Парень продолжал распоряжаться:

— Только чтоб честно: погрелся — другому дай. Проверять буду.

— Кто это? — спросил Геннадий.

— Выскочка! — с готовностью бросила Ванда, будто слово это давно держалось на языке и наконец сорвалось.— Из политехнического.

— Комсорг строительного факультета,— пояснил лежавший на нарах за ее спиной Михеев и тотчас поднялся, раскинул затекшие, видно, руки, согнул их в локтях, потянулся. Обошел Ванду и остановился, закрыв собой полосу света, протянувшуюся от дверцы «буржуйки»

— Что, Михеев, к теплу потянуло? — ядовито сказала ему в спину Ванда.— Очереди своей ждешь?

— Да нет,— повернулся он к ней.— Не очереди. Отчетно-выборного собрания давно жду.

Даже Геннадий опешил: «Чего это он?» и покосился на Ванду. А она как будто перестала дышать, ожидая, что тот еще скажет.

— Понимаешь, вот с самого того дня — с заседания комитета — жду не дождусь! — Он подошел ближе и даже наклонился, чтобы видеть ее лицо.— Очень хочу, чтобы не просто так, бездумно — только бы не меня! — в комитет выбирали. А чтобы за порядочных людей руки тянули.

Она не успела или не сумела ответить, и Михеев так же резко отошел и остался стоять, заслонив от нее

и Геннадия розоватый неяркий свет, сочившийся от раскаленной уже печурки.

Ребята там, в теплом, уютном кругу, шумели, пересмеивались, и Геннадий вдруг заметил, что кроме него и Ванды в этом темном углу ни на нарах, ни на полу никого нет. И одновременно почувствовал локтем широкий бок Ванды, отодвинулся осторожно, делая вид, что зачем-то лезет в карман. Но она придвинулась еще ближе и сказала многозначительно, кивнув на Михеева:

— Пред-став-ля-ешь?

И задышала прямо ему в лицо — неприятно и влажно, и он опять полез в карман телогрейки, нашарил там несколько мелких, отсыревших семечек. Выбросил их, вывернул карман, вытряс остатки. А сам незаметно отодвинулся снова и неопределенно проговорил в ответ Ванде:

— Да-а... Представляю.

Еще тогда, на комитете, он почувствовал, как что-то неуловимое и неприятное — какая-то скользкая холодная нить потянулась от Ванды к нему и такая же от него к ней. И вот сейчас, когда Михеев демонстративно стоял к ним обоим спиной и Ванда, ожидая поддержки, влажно дышала Геннадию в лицо, он опять ощутил эту незримую нить.

Он остался сидеть возле Ванды, сам того не желая, готовый сейчас же встать и уйти и вместе с тем словно прикованный. Выходка Михеева непонятно почему сняла с него, как пиджак с плеч, и радостно-спокойную усталость, и небрежное, снисходительное любование собой — трудягой. Он почувствовал себя одиноким и невесело подумал, что в этой битком набитой теплушке за целый день пути не нашлось человека, захотевшего позвать, окликнуть его, принять в разговор или хотя бы подшутить над ним, посмеяться. Он искал оправдания этому в том, что и сам не тянулся к ребятам, и на поле не торчал возле костров, не зубоскалил с девчонками, а работал до изнеможения, с отчаянностью и добросовестностью человека, искупающего этим какую-то ему одному известную вину.

Поначалу его тормошили и наперебой угощали печенной в золе картошкой, а потом оставили в покое, словно поняв, что работает он не со всеми вместе, а один. И не для всех, а для себя самого. А он и на самом деле не просто как все работал. Он приговорил себя

к этой поездке и исполнял приговор, не давая себе поблажки.

Изредка среди согнувшихся над мокрыми бороздами девчат он отыскивал глазами Люсин желтый платок и, убедившись, что поблизости нет Антона, который поехал вместе со всеми вопреки освобождению деканата и врачебному запрету,— забывал о ней, забывал о нем, забывал о войне и не замечал ни дождя, ни стекавших за воротник потеков непривычного, раздражающего кожу мужицкого пота. Работа не оставляла сил для забот, мыслей и посторонних ощущений. Он постоянно чувствовал только собственную спину — затяжелевшую, словно раздавшуюся под грузом трехпудовых мешков; чувствовал задубевшие — оказывается, сильные! — свои руки и налитые непроходящей усталостью ноги, которыми ступал по расползавшейся, липкой земле широко и прочно.

...Застоявшийся товарняк неторопливо — из конца в конец — простучал сцеплениями и нехотя потянул теплушку. Геннадий прилег на нары, вытянулся и, вдохнув нагретый печуркой воздух, расстегнул телогрейку.

В теплушке уже не смеялись, не спорили, а пели нестройным большим хором — в основном политехники и старшеклассники. Потом, видно, не вытерпев разноголосицы и стремления поющих перекричать друг друга, вступили в песню консерваторские. И сразу поправили ее, повели по чистому руслу, подняли на легкие, спокойные крылья. И Геннадий задремал, и в дремоте слышал, как выделились из хора два голоса: высокий — Антонов и незнакомый, неловкий бас, неумело, но старательно пытавшийся вторить Антону. Теперь каждую песню в полнейшей добровольной тишине запевал этот странный дуэт, а хор подхватывал потом — подобранно и азартно — не фальшивя, не раздражая слуха Геннадия. Он скоро догадался, что старательный бас принадлежит бойкому парню из политехнического и сквозь дремоту вслушивался в его голос с высокомерным любопытством. Дуэт наконец распался: басистый парень умолк. Видно, устал. А Антон пел еще, и Геннадий подумал о нем: «Дурак. Надрывает голос». Но не слушать уже не мог, потому что это было опять здорово, как тогда, в консерваторском классе на третьем этаже. И опять это была «Песня певца за сценой», только что узнанная Антоном и теперь, наверное, все время звучавшая в нем.

И вдруг что-то в его пении поразило Геннадия. Поразило настолько, что он мгновенно — одним рывком — поднялся, обошел сидевших на полу и оказался совсем рядом с Антоном. Тот стоял в стороне от печурки, положив здоровую руку на брус, закрывавший раздвижные двери теплушки, и пел, глядя куда-то поверх голов, в темный, продымленный потолок. Но песня его не просто звучала во всем пространстве вагона, а словно посылалась Антоном в один-единственный адрес. И Геннадий, безошибочно угадав направление, проследил ее путь и увидел у самой печурки на полу совсем маленькую, по-детски обхватившую руками коленки Люсю. Ботинки, от которых он сам год назад помогал ей отдирать коньки-гаги, щерились на огонь отвалившимися, подвязанными проволокой подметками.

Она сидела, низко наклонив голову, и лица ее совсем не было видно. Развязавшийся желтый платок медленно сползал по волосам, но она не поправляла его. Словно боялась малейшим движением спугнуть песню.

Антонов голос доверительно признавался в чем-то сокровенном, и было так, словно в этой теплушке и на всей земле не было никого, кроме Антона и Люси.

Геннадий, сжав зубы и кулаки, слушал запетые оперными корифеями выспренние, красивые слова и впервые воспринимал их простую, вечную суть. Он страдал оттого, что не мог не слушать, не мог никуда уйти, не мог совладать с собой.

А Люся все сидела, наклонившись, не двигаясь, и теперь Геннадий определенно знал, что лицо у нее разгоряченное и счастливое, и она потому не открывает его, что стесняется своего счастья.

Он не сразу заметил, как отдохнувший бас загудел снова, а заметив, стал присматриваться к ребятам, отыскивая на их лицах отношение к тому, что произошло. И ничего не нашел. Все, кого он мог видеть при свете печурки, или подпевали, или слушали, или дремали, или сидели, задумавшись, образовав теперь уже широкий, отступивший от огня круг, и никому не было дела до Люси, потому что никому, кроме нее, не дано было услышать откровения и признания Антона. Он подумал: «А может быть, показалось? Может, предчувствие: именно такого, именно Антона она предпочтет мне?..»

Утром медленный товарняк дотащил наконец их до города. Вернее, до его дальней окраины — Сортировки. И ребята тут же рассыпались, разбрелись: кто побежал

к трамваю, кто — на шоссе, «голосовать» попутным машинам, кто — на пассажирскую платформу, в надежде доехать одну остановку на каком-нибудь проходящем поезде.

Геннадий видел, как Люся с общежитскими девчонками бежала по пустырю к трамвайному кольцу, как все они, облепив подножку, некоторое время маячили в открытых дверях, а потом видел, как, прихрамывая, прошагал по тому же пустырю Антон, как оглянулся он на чей-то оклик, постоял и его догнали Михеев, бас-политехник и еще какой-то незнакомый щуплый парнишка. Все они закурили, чему-то посмеялись и пошли не торопясь к шоссе, в обратную от трамвайного кольца сторону.

Геннадий еще постоял, бездумно, отсутствующе походил взад-вперед вдоль опустевшей теплушки, увидел Ванду с двумя девчонками и пошел за ними через тот же пустырь к трамваю. С пересадками они доехали до центра, вышли у консерватории, и Ванда попросила:

— Помоги мне написать отчет для райкома. Сейчас же, по горячим следам.

Ему было все равно куда идти, что делать, и он согласился. Подумал только: «Вот так, неумытым, мятым — в консерваторию?» Но Ванда тут же ответила его мыслям:

— Рабочий вид... Пусть поглядят на нас, черненьких.

И, шумно открыв дверь, демонстративно и как-то даже победно застучала грязными ботинками по великолепному рисунчатому паркету.

В крохотной комнатушке комитета, отгороженной от канцелярии тонкой фанерной переборкой, стояли стол, шкаф и два стула. И на столе, поверх нескольких старых газет, лежало помеченное полевой почтой, свернутое в треугольник письмо.

Ванда взяла его, пробежала глазами адрес и коротко, остро глянула на Геннадия. Потом долго рассматривала почтовые штемпеля и наконец, не выпуская письма из рук, села, задумалась.

— Комсомол! — постучала в перегородку машинистка.— Там письмо какое-то принесли. Медсестра из госпиталя... Слышите?

— Да, да! — раздраженно крикнула Ванда.— Слышим.

И опять так же взглянула на Геннадия. И по этому

ее взгляду он вдруг понял, что письмо имеет отношение к Смолину.

Ванда еще посидела молча, еще повертела в руках письмо и наконец быстро, словно боясь, что Геннадий ее остановит, раскрыла сложенный треугольником, густо исписанный лист бумаги.

И все время, пока она читала, Геннадий испытывал неловкость. Неловкость оттого, что читала она чужое письмо. Но еще большую — оттого, что читала она ПРИ НЕМ и он молчаливо соглашался с этим. Он сознавал свою непорядочность, удивлялся ей и пытался оправдать ее тем, что письмо, должно быть, деловое, проясняющее историю с комсомольским билетом и Ванда, секретарь комитета, все равно обязана это знать.

Она прочитала и отложила письмо с досадливым видом очень занятого человека, вынужденного отвлекаться по пустякам. Достала из ящика стола бумагу, ручку, чернилку-непроливашку и деловито сказала себе:

— Значит, так: «На уборочной в колхозе «Знамя коммуны»...

И стала сама себе диктовать вслух и быстро писать, иногда вспоминая о присутствии Геннадия и советуясь с ним.

Ему было все равно, как составит она отчет, какие — реальные или завышенные — цифры будут в нем фигурировать. Его интересовало сейчас письмо — распечатанное, прочитанное чужими глазами и потому словно бы беззащитное. Оно лежало, прижатое мощным локтем Ванды и вместе с ее рукой двигалось по столу и наконец упало. И тогда Геннадий нагнулся, поднял его и, как бы между прочим, стараясь выглядеть равнодушным, незаинтересованным, прочел первую строчку.

«Антоха, друг! — нервно и весело плясали уродливые буквы.— Жив, курилка!»

А потом он прочел все письмо, но уже не таясь от Ванды и самого себя. И узнал из письма, что представлен Смолин «за ту операцию под Погостьем» к ордену Красного Знамени, что друзья его фронтовые — следовал целый список — «пали смертью героев», а «Вальку Макарыча послали куда-то в тыл, в офицерскую школу, и вестей от него покамест нет».

Были в этом письме и крепкие — без многоточий — словечки, и мальчишеское неуклюжее признание: «...а Зинкину фотку порвал и на ветер выбросил. Неверная она мне». И была восторженная привязанность к Анто-

ну, доверительное и безоговорочное обожание его. И о комсомольском билете преданный Антону корреспондент писал тоже: «Мы тогда все твои бумаги и деньги в бритвенный прибор завязали. Лишнее из коробки вынули, а это вложили. Денег богато было — все ребята сложились, чтобы тебе на лечении хотя бы первое время не бедствовать. Ну, и билет там был. Но поскольку ты в память не приходил, доверили все парню, который рядом лежал. Фамилию не знаю, из минометчиков он. Похоже, что парень-то умер до отправки. Концов никаких теперь не найдешь. Может, надо, так подтверждение мы тебе в любой момент напишем и все, кто остался, распишемся. А вообще, если какая там сволочь тыловая сомневаться затеет — пиши прямо Погибе. Он теперь генерал и в обиду своих ребят не дает».

Была еще в конце плохо заметная приписка карандашом, совсем другим почерком: «От меня тоже привет, и спасибо тебе за все. Шатько».

На той стороне письма, которая одновременно служила конвертом, поверх зачеркнутого адреса: «Передвижной госпиталь №...» было написано тушью: «Выбыл» и четко, аккуратно: «Красноярск, госпиталь №...» Но и это — зачеркнуто. И еще выше — торопливо, размашисто — адрес здешнего госпиталя.

Геннадий тоже, как Ванда, рассмотрел почтовые штемпеля, разобрал даты и ужаснулся: письмо ушло с передовой восемь месяцев назад!

Он молча положил письмо около Ванды, и она не глядя бросила его в ящик стола. Сказала:

— Послушай, что у меня получилось.

И стала читать этот свой отчет — длинный и нудный, а Геннадий не слушал, но одобрительно кивал головой и, когда она прочитала все, сказал, не дожидаясь вопроса:

— Хорошо.

Потом они вместе вышли, закрыли каморку на ключ и несколько кварталов прошли вдвоем, потому что было по пути. А потом Ванда спросила:

— Ты не торопишься?

И он пошел провожать ее.

Всю дорогу она возбужденно говорила: и о поездке, и о премьере в оперном, и о том, что в конце месяца особо нуждающимся студентам будут давать талоны на ботинки и полотенца и что ей удалось «вытребовать» у месткомовцев кое-что для активистов; и о столовской

хлеборезке Маруське, приторговывающей на базаре хлебными карточками — говорила обо всем на свете, только не о письме. Будто его и не было. Будто оба они не совершили ничего предосудительного и будто бы попрежнему обоим сомнительна история с комсомольским билетом Смолина.

Геннадий проводил ее до подъезда, и Ванда дарственно протянула ему не по-женски большую руку. Он торопливо коснулся влажной ладони, но она успела поймать его пальцы и крепко сжала, сказав:

— Заходи. Седьмая квартира на втором этаже.

И это ее рукопожатие, и приглашение, и вообще все, что произошло в этот день, обернулось вдруг нежеланным, но неизбежным, стыдным, но необходимым Геннадию союзом с Вандой. И чем больше чувствовал он себя виноватым перед Смолиным, чем больше завидовал ему и отчетливее понимал невозможность вернуть расположение Люси, тем крепче и нерасторжимее виделся ему этот союз. Неуловимые, нащупывающие нити, потянувшиеся навстречу еще тогда, за столом заседания комитета, теперь словно связали их надежным, прочным узлом. И хотя ни он, ни Ванда ни словом не обмолвились о только что прочитанном чужом письме, Геннадий твердо знал, что они сговорились. Молчаливо сговорились скрыть его от Антона. Оно несло в себе доказательство их неправоты, и это решало судьбу письма.

Сколько раз потом пытался Геннадий себя «амнистировать»! Сколько раз пробовал списать прошлое за счет молодости-глупости! Но это ему никогда не удавалось. Не удалось и сейчас, и он с еще большей остротой почувствовал себя в кругу Антоновых друзей совершенно чужим.

Почему-то ему представилось, что обязательно позвонит Ванда. Позвонит и скажет в трубку грубовато и вроде бы простодушно, пряча за этой грубоватостью ликование: «Ну, что, Смолин отпелся?» Или что-то в этом же роде. Через многие годы она пронесла свою нелюбовь к Антону. И Геннадий хорошо понимал, что причиной тому не давние их студенческие столкновения, а нечто гораздо большее.

Прямая, открытая, щедро одаренная натура Смолина уже сама по себе была отрицанием не менее сильного, но ничтожного по своей сути характера Ванды.

Он ждал, что она позвонит. И она позвонила. И трубку взял Геннадий, потому что был рядом. И она обрадовалась ему и спросила грубовато и простодушно:

— Ну, что, Смолин-то наш отпелся?

Геннадий опять почувствовал, как прочна до сих пор связавшая их в студенчестве недобрая сила. Слегка, самую малость, устыдился этого и одновременно обрадовался. Потому что Ванда была теперь не бездарной студенткой с дирижерско-хорового и не секретарем комсомольского комитета, а работала в областном отделе культуры и кое-что от нее зависело.

— Очень хорошо, что я на тебя напала,— словно бы тут же зачеркнув «отпевшего свое» Смолина, деловито сказала она, и Геннадий плотнее прижал к уху телефонную трубку: — Зайди ко мне — возьми анкету. Для заграничных гастролей. Поедешь вместо него. Без сувениров не возвращайся!

Она наигранно громко рассмеялась, и Геннадий еще плотнее прижал трубку.

— Ясно,— сказал он, едва сдерживаясь, чтобы не выдать сразу выросшую до необъятных пределов, торжествующую в нем радость.— А когда... зайти?

— В понедельник. Нет, лучше во вторник. После двенадцати.

И она, не простившись, ничего больше не спросив об Антоне, бросила трубку.

У входной двери трижды позвонили. Михаил вышел открыть и вернулся, церемонно держа под руку молодую женщину в светлом пальто и маленькой норковой шапочке, кокетливо надетой не столько на голову, сколько на высокую замысловатую прическу.

— Але-е-ена! — поднялся из-за стола Виктор и, раскинув руки, быстро пошел навстречу.— Все хорошеешь! — Он обнял ее, поцеловал в щеку.

— А ты портишься,— сказала она, мягко освобождаясь от объятий.— Научился говорить комплименты.

— Раньше я говорил колкости,— согласился Виктор.— Это было лучше?

Михаил унес в прихожую ее пальто. Геннадий поклонился ей и придвинул свое кресло. Она подала ему руку, сказала просто:

— Здравствуйте, Геннадий Борисыч.

Виктор подвел ее к Шатько:

— Однополчанин. Войну вместе прошли.

И об Алене:

— Антошина сестренка...

Алена села в кресло, оглянулась на дверь в смежную комнату.

— Антона нет, я знаю. А где же Люся?

— У соседей. Ты есть хочешь? — спросил Михаил.

— Только что,— Алена отставила подвинутую ей тарелку.— Я уже знаю,— сказала она тихо.— Это правда?

— Послушай,— Виктор сел возле нее.— Ты гусей помнишь?

— Каких? — не поняла Алена.

— Белых гусей. Стадо огромное...

Она посмотрела на него как на сумасшедшего. Даже отстранилась.

— Ты никуда никогда не перегоняла стадо гусей?

— Что с вами? — шепотом спросила она и беспомощно оглянулась.

Михаил и Шатько курили, стоя под форточкой, и смотрели в ее сторону, и это ей смутно что-то напоминало.

— А-а-а...— протянул Виктор.— Ну, ладно. Я так. А детский санаторий в немецком тылу помнишь?

Алена слушала его с каким-то болезненным выражением лица.

— Да ты не думай,— он понял ее по-своему.— Я не пьян.

И опять спросил:

— Когда Антон пел там... Под баян. Помнишь?

— Не помню,— насторожилась Алена.— А что? — ждала она пояснений.

Виктор замолчал.

— Я помню, когда он пел,— медленно сказала Алена.— Но не там. Ни в какой не в деревне.

Весь день — дома, как только узнала она от мужа о болезни Антона, в трамвае, когда ехала сюда, за дверью, когда нажимала кнопку звонка, когда здоровалась, знакомилась с полковником,— Алена отгоняла и отгоняла навязчивые, цепкие видения, в которых обязательно был Антон и обязательно пел. Они рассыпались и возникали снова, а она боролась с ними и испытывала перед этими видениями какой-то суеверный страх.

До сих пор она любила все, что в ее жизни было связано с этим человеком, и, как самое дорогое, берегла это в своей памяти и время от времени осторожно, бережно извлекала оттуда. А теперь прошлое стучалось, теснилось в ней так требовательно, так настойчиво, буд-

то становилось важнее, значительнее настоящего. И это было неестественно. Страшно. Алена подумала, что так, наверное, бывает, когда близкий тебе человек умер. Содрогнулась от этой ужасной мысли, постаралась прогнать, но уже никак не могла от нее отделаться.

— Ты помнишь,— опять спросил ее Виктор,— он под баян пел. В темноте, на рассвете...

— И вовсе не под баян,— сказала Алена.— Это река текла. И плескалась о наш паром.

## Глава V

Алена не забыла, с чего это началось, и чем старше становилась, тем чаще, обстоятельнее вспоминала все дальше и дальше уходившее от нее время. Теперь это время виделось ею со стороны. Виделось с подробностями, которые она тогда не замечала, а может быть, их и не было тогда совсем. Виделось с проникновением в тогдашнее ее настроение, с осознанием тогдашних неожиданных, нелепых, неизвестно чем вызванных ее поступков. Больше того: памятью своей возвращая прошлое, она отчетливее, чем тогда, видела и других, окружавших ее людей, догадывалась, понимала, о чем они тогда думали, что чувствовали. Она, пожалуй, немного домысливала... Но лишь настолько, что сама этого не замечала.

...Тогда ее еще звали Алей. Они сажали во дворе картошку. Старшие ребята заранее вскопали и разрыхлили землю на всей территории детдома, оставив небольшую площадку вокруг турника да несколько совершенно необходимых узких дорожек, соединявших старые деревянные здания, именуемые здесь «корпусами». Теперь работники законно отдыхали и наблюдали, как ребята из средней группы шли по рыхлой земле на одинаковом расстоянии друг от друга и через каждый шаг отваливали лопатами жирный парной пласт, а малыши, едва поспевая за ними, деловито, сосредоточенно бросали под лопаты, в образовавшиеся лунки, дряблые, ощетинившиеся розовато-фиолетовыми ростками картофелины. Бросали осторожно, оберегая эти бледные ростки, и так же осторожно перешагивали засыпанные лунки. Были соблюдены все условия экономии, но картошки все равно не хватило, и в ход пошли картофельные очистки, собранные на кухне бережливой посудницей тетей Глашей.

Алена прижимала к себе старую, помятую кастрю-

лю, брала из нее горсть очисток и, наклонившись, бросала их под лопату Вали Ветряковой, сумрачной, неразговорчивой пятиклассницы. Валя работала быстро, Алена еле поспевала за ней и все просила: «Не торопись, а то у меня все просыплется...»

Они уже заканчивали свои рядки, когда от главного корпуса, похожего на двухэтажный барак, по узкой дорожке прошла к ним воспитательница Валиной группы, остановилась недалеко и спросила:

— Помочь?

— А мы уже все. Заканчиваем! — оживилась польщенная вниманием Валя и очень быстро, в четырех местах, ковырнула землю. И так же быстро Алена заполнила все четыре лунки.

Они сошли с черной земли на серую дорожку, где все еще стояла Валина воспитательница, и та, полуобняв Валю, повела ее в дом. Алена, перевернув вверх дном кастрюлю, забарабанила по ней кулаком и запрыгала на одной ноге вслед за ними. Она хотела допрыгать так до самого дома, но ее толкнул тети Глашин Митька — тощий, конопатый мальчишка, прозванный кем-то в насмешку Митькой Круглым.

Митька вечно всех толкал, обзывал и плевался и потому Алена тоже его толкнула, и тоже на него плюнула, и тоже сказала, как он: «У-у-у, зараза!» И после этого они разошлись, но прыгать на одной ноге ей уже расхотелось. Она стала наблюдать, как сажают картошку те, которые отстали, и ей все казалось, что делают они это неправильно, и она сердилась, покрикивала:

— Как ты ее зарываешь? Зачем топчешь?

И вдруг наотмашь, громко хлопнула дверь центрального корпуса, и от него по дорожке побежала, дико крича и размахивая какой-то бумажкой, Валя Ветрякова. Все перестали работать и смотрели на нее испуганно, а она подбежала, и оказалось, что смеется. Ребята побросали лопаты, ведра, обступили ее, и тогда Валя, захлебываясь от счастья, запинаясь и путаясь, стала читать им письмо от отца. Но читала она так, что никто ничего не понимал, все переспрашивали, и тогда Валя перестала читать, просто держала письмо в руках, перепачканных землей, прыгающих от радости, и говорила, что папа ее нашел и маму тоже нашел, а брата Мишу еще не нашел, и что скоро он приедет и увезет ее отсюда домой.

Валя с этого дня стала веселой, разговорчивой, доброй, а все ее подружки поскучнели, задумались.

Алена не была ни ее подружкой, ни одноклассницей, но она оказалась свидетельницей Валиного счастья, и этого ей было достаточно, чтобы впервые за свою короткую, не осознанную еще жизнь почувствовать себя несчастной.

Очень скоро, когда картошка на детдомовской усадьбе только-только проклюнулась из земли морщинистыми зелеными листочками и ребята по утрам бегали рассматривать каждый свои рядки, приехал Валин отец. Кто-то увидел его подходившим к детдому, кто-то столкнулся с ним в коридоре, мальчишки заглядывали в кабинет директора и старались рассмотреть долго сидевшего там немолодого уже, могучего майора танковых войск... И только Алена не видела в этот день ни Валю, ни ее отца, потому что заболела и сразу после завтрака попала в изолятор. Однако и она знала о Валином отце все, что знали детдомовцы,— через нянечку Вассу Титовну, медсестру Кронидовну и от тети Глашиного Митьки Круглого, весь день торчавшего под окном изолятора.

Утром следующего дня Ветряковы уезжали, и Алена решила с вечера не спать, чтобы увидеть в окно, как они пойдут по дороге к автобусной остановке.

Тетя Глаша покормила ее ужином, убрала посуду. Васса Титовна вымыла в палате. Кронидовна принесла и заставила при ней проглотить порошок и таблетку. Митька Круглый прибежал к окошку в последний раз, вскарабкался на высокий фундамент, обхватил руками наличники, прижался к стеклу и, поведя веселыми, озорными глазищами, скорчил для нее ужасную рожу. Вверху, в пионерской комнате, выключили радио. Алена приготовилась к тому, что одной, в тишине, ей будет, наверно, страшно. И сейчас же забыла об этом. Стала думать о Вале Ветряковой, о том, как поедет она с отцом сначала в автобусе, потом в поезде и приедет домой, а дома ее встретит мама. Автобус Алена представляла себе очень хорошо, потому что видела его несколько раз во время прогулки в соседний заводской поселок Пески. Поезд тоже представляла, потому что помнила, как ее и других ребят откуда-то везли сюда в вагоне со множеством людей, мешков, лавок и полок. А город, где будет жить Валя, никак не могла представить: он почему-то придумывался похожим на Пески.

Потом она представила себе Валин дом, и он оказался точь-в-точь как четвертый корпус, где помещалась спальня Алениной группы. И комнат в нем было столь-

ко же, и окон, и кроватей, и занавески такие же — розовые, выгоревшие от солнца. Только ребят не было в этом доме, а ходила по комнатам одна Валина мама в вязаной черной фуфайке, как у воспитательницы Лилии Петровны, с такой же, как у нее, прической, с такими же блестящими печальными глазами, и, если бы Алена не знала, что она Валина мама, обязательно приняла бы ее за свою воспитательницу...

Проснулась она от стука в окно. Приподнялась и увидела на стекле приплюснутый нос Митьки Круглого, а рядом улыбающуюся, лихорадочно веселую Валю. Она махала Алене рукой, что-то говорила, но рамы в изоляторе все еще были двойные, и Алена не могла разобрать слов. Потом Валя и Митька Круглый сразу исчезли — видно, кто-то согнал их с завалинки, и Алена, сбросив одеяло, босиком подбежала к окну.

Они шли — Валя и ее отец — по дороге, взявшись за руки, и рядом, вокруг них шли все воспитатели, и директор Валентин Кузьмич, и повар, и посудница тетя Глаша, и Кронидовна, и ребята из старшей группы.

С этого дня главным в жизни Алены стали не подружки, не школьные занятия и не детдомовские праздники. Главным стало терпеливое и уверенное ожидание такого же, как у Вали Ветряковой, счастливого дня отъезда.

Быть может, оттого, что в детдоме этом собрались дети, осиротевшие или потерявшиеся во время войны, оторванные от семей неожиданно, неестественно, они принимали детдомовскую жизнь как явление временное. Все, кто хоть сколько-нибудь помнил свой дом, мать и отца, жили надеждой на возвращение в семью. А те, кто не помнил, подрастая, начинали понимать рассказы и разговоры старших ребят, видели приезжавших, отыскавшихся чьих-то родственников и выдумывали себе пап и мам, фантазировали и по-детски самозабвенно верили этим своим фантазиям.

У Алены, в ее распаленном воображении, тоже теперь была мама. Голосом, походкой, манерами она походила на школьную учительницу, а лицом, крупными золотыми локонами и красивыми голубыми глазами — на женщину с цветной открытки, которую Алена видела над кроватью в комнате тети Глаши. Был у Алены и папа — высокий, широкоплечий, в военном кителе и фуражке с черным околышем. Точь-в-точь как отец Вали Ветряковой.

Алена представляла себе, что когда-нибудь ее вызовут к старшей воспитательнице или даже к директору детского дома Валентину Кузьмичу, заботливо подвинут ей стул, скажут: «Вот получили...» — и протянут конверт с марками и штемпелями. И в конверте будет письмо, которое она так ждет.

Но ее не вызывали.

Отликовал, отшумел встречами послевоенный год. У одних ребят нашлись родители, других увезли к себе близкие родственники, некоторых взяли на воспитание чужие — но уж, наверно, хорошие! — люди. И каждый раз проводы превращались в веселый и грустный праздник. И каждый раз Алене казалось, что следующий такой праздник будет устроен для нее. Но проходило время, и опять провожали кого-нибудь другого, а ее праздник так и не наступал. И однажды она сама пошла к Валентину Кузьмичу...

Постучала в дверь кабинета, услышала голос директора и растерялась, и осталась стоять в коридоре.

— Входите! — громче позвал директор, но Алена вся сжалась и продолжала стоять, желая лишь одного — незамеченной уйти обратно.

— Входите, входите,— совсем близко сказал директор и распахнул перед Аленой дверь. И очень удивился.— Это... ты стучала?

— Я,— не подняла глаз Алена.

— Входи.

Она шагнула в кабинет.

Директор подвинул ей стул и участливо спросил:

— Что у тебя?

— Вы... вы...— она не знала, как спросить.— Вы... получили письмо?

— Какое? — не понял ее директор.

— От моего папы.

Он внимательно посмотрел на Алену, теперь уже широко, отчаянно раскрывшую ему навстречу глаза. И он, наверное, понял, почувствовал, что, о чем бы она ни спросила, ее нельзя, ее опасно обманывать.

— Нет,— сказал он,— от твоего папы письмо еще не пришло.

Ей шел одиннадцатый год, она начала учиться в четвертом классе, и, быть может, непедагогично было разговаривать с ней, как со взрослой, но это был единственный тон, который директору детдома, недавнему фронтовику, а в прошлом партийному работнику, пока-

зался тогда необходимым. Он угадал за этим ее приходом, за единственным ее вопросом недетское настороженное ожидание.

Ну конечно же, она, как и все ребята, и смеялась, и играла, и радовалась. И укладывала кукол спать, и пела вместе со всеми, и шалила, и была бездумно, беспричинно, свободно счастлива, как бывают счастливы только дети. И со всем этим уживалась в ней почти взрослая тоска и накапливалось, оформлялось неосознанное пока, страшное чувство собственной неполноценности. Такое происходило в детдоме со многими ребятами, и, может, виноваты были их воспитатели, не посмевшие поднять руку на туманные ребячьи мечты об утраченном родном доме и радужные надежды на возвращение.

— Валентин Кузьмич,— Алена вспомнила наконец от волнения вылетевшее из головы имя директора...— А как это делается? Ну, находят друг друга как?

Он встал, убрал со стола в ящик бумаги, звякнул связкой ключей.

— Пойдем, Аля.

И направился в глубь кабинета, к бархатной синей портьере, белесой, вытертой по бокам и, как все занавески и шторы в детдоме, выгоревшей рыжеватыми, мягкими полосами.

За портьерой оказалась дверь, за дверью — еще одна комната, маленькая, тесная и очень напоминавшая библиотеку. Все стены ее, от пола до потолка, были заняты грубо сколоченными, некрашеными полками, разделенными на равные небольшие ячейки. В ячейках лежали сшитые из матрасного полосатого материала мешочки: одни — пухлые, набитые доверху, другие — совсем тощенькие. Многие ячейки были совершенно пусты.

— Садись вот сюда,— показал Валентин Кузьмич на табурет, стоящий около лестницы-стремянки. Сам неловко присел на ее ступеньку.— Спрашиваешь, как находят?

Он помолчал, подумал, остановил взгляд на стоптанных Алениных ботинках.

— К Первому мая всем девочкам будут новые туфли. Парусиновые, правда, но красивые.

Алена слабо улыбнулась.

— Мы знаем. Матвей Фомич на станцию за ними уехал.

Она сказала это бесстрастной скороговоркой, торопясь кончить ненужный, отвлекающий разговор. И опять

распахнула на директора ожидающие, полные тревоги глаза.

— Хорошо,— решился Валентин Кузьмич.— Есть такие учреждения, где специально занимаются розыском пропавших без вести. В том числе и детей. Родственники, потерявшие ребенка, пишут туда, сообщают его имя, возраст, приметы, ну и другие подробности. Понимаешь? Вот, например, Таня Портнова...

— Валентин Кузьмич,— неестественно спокойно попросила Алена.— Вы мне все... Пожалуйста! Вы мне все-все скажите.

Он замолчал.

— А в этом... учреждении. Там о нас знают? — Алена не могла усидеть, поднялась с табуретки и теперь стояла, нервно уцепившись руками за перекладину стремянки.

Валентин Кузьмич тоже поднялся.

— Обязательно. О каждом,— ответил он успокаивающе.— Таких ребятишек сейчас по всей стране много. И о каждом знают.

— И обо мне?

— И о тебе.

— А что обо мне знают? — серьезно спросила Алена.

Валентин Кузьмич медленно, видно, все еще раздумывая, надо ли это делать, подошел к стеллажам-ячейкам, взял из одной, где не было полосатого мешочка, толстую, похожую на классный журнал книгу, полистал ее и пригладил ладонью поднявшиеся веером страницы. Алена отняла маленькие жесткие пальцы от стремянки, быстро подошла к нему.

— Только ты успокойся,— попросил Валентин Кузьмич.— И пойдем-ка туда. Там удобнее.

Они вернулись в кабинет.

— А дверь закроем. Чтобы никто не мешал...

Валентин Кузьмич повернул ключ в двери, ведущей в коридор, и они оба сели на зыбкий, ухабистый старый диван.

— Значит, так,— словно собираясь с силами, начал директор.— Если ты что-нибудь вспомнишь, даже мелочь какую, сразу скажи.

— Скажу,— прошептала Алена.

— Вот что нам известно...— Валентин Кузьмич склонился над толстой книгой.— В детский приемник тебя передала Анна Максимовна Миронова. И рассказала...

Анну Максимовну Алена помнила.

Мирониха — ее все так звали, даже ребятишки — повязывала на ней свой большой жесткий платок, всхлипывала и говорила незнакомой женщине, приехавшей за Аленой на лошади:

— Я бы с удовольствием. Пусть живет. Хорошая девочка. Тихая. Да ведь своих четверо... А Варвара мне так и наказывала: придут наши — отдай в детский дом. И это вот — тоже.

Она подала женщине узелок, заверила:

— Как оно было — все в целости. Я посмотрела только. Варвара тогда пришла вечером, положила ее к ребятам на печь и узелок этот мне подала. Ну, и сказала... Торопилась она очень. А как рассвело, все уже знали, что ее да колхозную кладовщицу Симу Мухоркину ночью возле моста взяли. Выследили. Повесили их потом. За связь с партизанами.

Алена помнила, как незнакомая женщина завернула ее в душный тулуп, посадила в сани и, нахлестывая унылую лошаденку, привезла в дом, где было полным-полно крикливых и зареванных ребятишек и где ее сразу же накормили сладкой рисовой кашей.

С неделю она жила в этом доме, и каждый день туда привозили ребят, а потом всех отвезли на станцию, посадили в вагон, и вагон этот очень долго стоял. Потом немножко поехал и опять остановился, и тогда в двери и в окна с улицы забарабанили люди, а воспитательницы, которые везли ребят, закричали им:

— Здесь дети! Нельзя! Что вы делаете?..

Ударом камня снаружи высадили стекло, и кто-то огромный с трудом влез в окно, принял мешок и втащил другого. Оба они побежали в тамбур, кричали там, ругались, наконец открыли дверь, и было слышно, как в нее хлынула хрипящая, ревущая, страшная толпа. В разбитое окно тоже все лезли и лезли, Алена видела это со своего места. Она выглянула из-за перегородки купе. Вагон был еще почти пуст. Ребята сидели на лавках, сбившись вокруг перепуганных воспитательниц. Со стороны открытых дверей нарастал и нарастал рев: люди, чемоданы, мешки, котомки образовали в тамбуре судорожно дергавшуюся пробку, и, как ни напирали на нее вновь и вновь поднимавшиеся в вагон, пробка не поддавалась. Тогда все тот же мужик, первым влезший через окно, ухватил кого-то из толпы-пробки, выдернул, и сразу масса народа ввалилась в вагон, возбужденно,

шумно растеклась, занимая лавки, полки, углы и проходы, и загудела, и задымила махрой.

Поезд тронулся и пошел тяжело, медленно, словно спотыкаясь, останавливаясь на полустанках и вовсе в пустых, безлюдных местах. Ребята прилипли к окнам, толкали, теснили друг друга, смеялись, кричали, и молоденьким воспитательницам, вдвоем сопровождавшим эту сорокаголовую армию, было не под силу с ними справиться.

Невменяемые час назад пассажиры теперь успокаивались, добрели и оказывались в большинстве даже стеснительными людьми. Разобравшись со своими мешками и котомками, определившись — кто под лавку, кто на третью, багажную полку, они вдруг заметили ребятишек, стали с ними шутить, разговаривать, а когда узнали, кто они, почему и куда едут — как-то сразу притихли, потеснились, давая им больше места. Мужики, поплевав на свои едучие «козьи ножки», попрятали их или, протискиваясь с трудом, потянулись докуривать в битком набитый людьми тамбур.

Высадивший окно мужчина раздобыл где-то на остановке две доски и закрыл ими дыру, а сверху повесил — распялил свой полушубок, и от окна больше не дуло. Потом кто-то первым развязал котомку, вынул ржаные лепешки и катышек масла в капустном листе, протянул сидевшим ближе к нему ребятам. Алена хотела уже взять, но почему-то застеснялась, отдернула руку, и лепешки схватил проворный большой мальчишка. Он оторвал и сунул ей скомканный липкий кусок, остальное тут же стал жадно толкать себе в рот. Видевшие это ребята привстали, вытянули шеи, а малыши беззастенчиво, просяще подошли к закрытой, уже завязанной котомке.

И тогда во всем вагоне завозились, задвигались пассажиры, стали доставать из своих скудных подорожников: кто — кусочек сахара, кто — шматок сала, кто — туесок с квашеной капустой. Женщины, покопавшись в корзинах, выставили ребятам бутылки с молоком, стеснительно попросив при этом: «Опростаете, дак уж обратно отдайте — она вам ни к чему, посуда-то...» Ребята принимали подношения и жадно, и застенчиво, и тут же впивались зубами в горбушки черного хлеба, в картофелины, в соленые огурцы и доверчиво жались к одарившим их людям.

Воспитательницы панически метались между детьми,

пытались отобрать у них огурцы, туесок с капустой, в который залезли руками сразу несколько мальчишек, пробовали увещевать пассажиров, но все это было бесполезно .

— Пусть едят! — кричали им сразу несколько голосов.

— Ничего не случится!

— У нас свои такие же!

— Теперь организма другая. Приспособилась...

А кто-то предостерегал, советовал:

— Молоко после капусты не давайте!

— Сало-то порежьте на всех.

— Вон тому маленькому не хватило...

Ликование ребят и отчаяние воспитательниц достигли предела, когда здоровенный мужик, высадивший, а потом закрывший окно, развязал свой мешок и рассыпал перед ребятами расколотый на мелкие кусочки желтый соевый жмых.

— Нате, ешьте,— щедро сказал он.— Поделимся...

Его напарник, одноногий, на новенькой, свежеоструганной деревяшке, тоже тряхнул котомкой.

— Баба моя кашу из его варит. А пацаны так едят. Только не догляди — растаскают.

Они и сами прихватили по куску, поколотили ими об угол лавки.

Одноногий сказал мечтательно:

— Эх, раньше-то скотина жрала!..

И принялись есть.

Когда подъезжали к станции, где ребятам предстояло выходить, соевый жмых грызли не только дети, но и обе воспитательницы.

Поезд, до бесконечности торчавший на глухих, безлюдных разъездах, стоял здесь всего минуту, и пассажиры вагона, словно предвидев это, заранее обдумали план высадки ребятишек.

Опять откупорили злополучное окно, вынули из пазов оставшиеся кое-где осколки, собрали возле окна самых маленьких. В тамбур вынесли зашитый в мешковину багаж. И как только поезд остановился, одна воспитательница и трое мужчин спрыгнули на платформу и быстро приняли и детей, и багаж.

Малыши, которым посчастливилось выбираться через окно, повизгивали от восторга, когда одноногий мужик, широко отставив и прочно уперев в пол свою деревяшку, хватал их сильными заскорузлыми ручищами, подни-

мал над головой и, перегибаясь через раму, подавал стоявшему на перроне напарнику.

Спрыгнула с подножки и другая воспитательница. Поезд сразу же тронулся — резко и быстро,— и мужики, ухватившись за поручни, стали запрыгивать на ходу. Они все задержались в дверях и на подножке и, пока было их видно, что-то кричали, махали руками, и из разбитого окна тоже махали, а ребята и воспитательницы хоть и отвечали тем же — смотрели больше не вслед поезду, а на крытый брезентом грузовик, стоявший совсем рядом с дощатой дырявой платформой.

В синюю щетку дальнего леса нырнул хвостовой вагон, и ребята зашевелились, загалдели, а воспитательницы запоздало кинулись их пересчитывать.

Тогда подошел к ним мужчина в поношенной офицерской шинели и высокой заячьей шапке. Назвался директором детского дома Валентином Кузьмичом. Придирчиво осмотрел ребят, завязал на нескольких грязных подбородках ушанки и, отведя в сторону одну из воспитательниц, спросил:

— Что это они у вас все время жуют?

Воспитательница невольно коснулась рукой своего кармана, покраснела и безнадежно сказала:

— Мы ничего не могли поделать. В вагоне там... угостили.

— Покажите,— попросил он.

Еще больше краснея, она вынула из кармана с одной стороны слоистый, сколотый, с другой — размякший, влажный кусок жмыха.

— И вкусно? — пошутил Валентин Кузьмич.

Воспитательница совсем смутилась.

— Ну, ладно! — махнул он рукой.— Поехали.

Кое-как разобравшись парами, ребята пошли к машине, а через час их уже принимал, осматривал детдомовский врач, мыли, терли мочалками сердобольные нянечки, и разрумянившаяся повариха досыта кормила пышным омлетом из яичного порошка.

— ...Анна Максимовна Миронова,— все еще говорил директор.— А попала ты к ней от Варвары Матвеевны Чернотоповой. А Варваре Матвеевне передали тебя солдаты, выходившие из окружения. Нашли они тебя на дороге, одну. Больше ничего о тебе не знали. Как ты одна-то осталась, не припомнишь?

Валентин Кузьмич спросил безнадежно, знал, что не однажды затевали этот разговор воспитатели, когда ре-

бят только что привезли, и в детской памяти свежи были обездолившие их трагические события.

Алена сидела, опустив голову.

Валентин Кузьмич поднялся, сходил в кладовую, принес оттуда полосатый мешочек. Развязал, бережно вынул маленькое красное пальто, такой же красный — в оборочках — капор, исцарапанные, побитые желтые ботинки, чулки, платье, трикотажную кофточку, рубашку...

— Вот видишь,— осторожно сказал он и взял в руки капор.— На всех вещах метка: «А. С.» Тебя и стали звать Аля. Еще там, в деревне. Болела ты долго. И не говорила ничего. А на имя это отзывалась. Вот видишь...— Валентин Кузьмич внимательно посмотрел на нее.— А может, раньше тебя Александрой или Анной звали...

— Меня звали Аленой,— испуганно сказала Алена.— А когда надевали вот этот капор, я ревела. Он был очень... глухой.

Ее глаза округлились, заблестели лихорадочно, беспокойно.

— Капор на меня... мама надевала? — спросила она тихо и удивленно.

Валентин Кузьмич молчал, боясь спугнуть ее.

— А еще собака была. Лохматая...

— Постарайся вспомнить свой дом,— сдерживая волнение, осторожно попросил Валентин Кузьмич.

Алена долго и напряженно молчала. Он старался не смотреть на нее, но все-таки увидел, как большие, расширенные глаза ее заморгали часто-часто и до краев наполнились слезами.

— Ничего не знаю,— сквозь слезы сказала она.— Вот уже который раз: начну вспоминать — собаку эту черную, лохматую помню, а больше ничего не помню. А может, собака и не наша была, а соседская? Я боялась ее.

— Ну, не надо, не надо,— мягко заторопился Валентин Кузьмич.— Давай-ка все уберем.

— Надо! — резко перебила его Алена и уже не могла остановиться, закричала сквозь слезы: — Надо! Надо! Я, наверно, когда-нибудь смогу вспомнить!

Он торопливо убирал вещи в мешок, а она тащила их обратно и снова судорожно раскладывала их на диване. Теперь это были не просто капор, ботинки, платье... Это были вещи, которые надевала на нее мама, в которых она бегала по двору, по комнатам своего дома, в которых ходила гулять, держась за руку отца...

Метки, наверно, вышивала мама... Ровные, аккуратные буквы выведены оранжевыми нитками. Их, видимо, не хватило, таких ниток; на одной метке половина буквы «С» и точка — желтого цвета.

Алена все смотрела на эту двухцветную метку, уже не плача, а глубоко задумавшись. Валентин Кузьмич, устало опустив руки, сидел рядом, тоже задумавшись.

В дверь постучали, и оба они вздрогнули.

Директор открыл, но никого в кабинет не пустил, а сам вышел в коридор.

Алена подумала, что, наверно, это ищут ее, и стала нехотя, медленно складывать в мешок вещи. Убрала платье, чулки. Подержала в руках капор: одна лента была оторвана. Убрала и его. Долго, старательно свертывала пальто и удивлялась: неужели она была такой маленькой? И без того измятое, ей не хотелось мять его еще, и, чтобы положить аккуратней, Алена снова все вытряхнула из мешка.

Валентин Кузьмич закрыл дверь, вернулся к дивану. Алена стояла над разбросанной детской одеждой бледная, с клочком бумаги в руках.

— Это...— растерянно сказал он,— адрес... Кто-то из солдат оставил.

— Да нет! — ухватилась за его рукав Алена.— Никакой не солдат. Смотрите!

Она протянула ему неровный, истрепанный клочок бумаги и показала на заглавную букву написанной там фамилии.

— Буква «С». Та же самая!

Она затормошила его, радостно и горячо что-то заговорила и, неожиданно оборвав себя, замолчала на полуслове.

— Валентин Кузьмич,— прошептала Алена,— а вдруг это папа?

И села на диван, прямо на разбросанную одежду, сраженная этой своей догадкой.

— Аля, милая,— погладил ее по голове Валентин Кузьмич.— Это не папа. Это чужой человек.

— Но смотрите же! — она все держала в руках записку и показывала пальцем на заглавную букву «С».— Надо же написать! Надо сейчас написать, Валентин Кузьмич! Если не папа, так, может, это мой брат?..

Она снова вскочила и, заглядывая ему в лицо, стала взволнованно, радостно, сбивчиво говорить, что, конечно, это кто-то родной, что не мог же чужой человек

просто так, ни с того ни с сего оставить свой адрес...

— Ведь зачем-то же он оставил,— раскрасневшись, говорила и говорила она, и Валентин Кузьмич не в силах был ее успокоить.— Я напишу! Я сегодня же напишу!

Алена быстро, не глядя и не свертывая, побросала в мешок одежду, торопливо завязала его. Аккуратно свернула бумажку, зажала ее в руке.

— Можно мне это взять?

Валентин Кузьмич сел к столу, переписал адрес на чистый лист и подал его Алене.

— Подлинник надо сохранить,— объяснил он.

Теперь Алене не терпелось уйти. Едва сдерживаясь, чтобы не убежать, она отступала, отступала к двери и наконец взялась за ее ручку.

— Подожди,— позвал Валентин Кузьмич и тут же раздумал.— Нет, нет. Иди. Ладно.

Он не нашел в себе сил сказать ей, что по ленинградскому адресу этого солдата уже писали и получили ответ от работницы домоуправления. Все до одной квартиры в доме были разрушены, оставшиеся в живых расселены по соседству, но среди них не оказалось ни матери, ни сына Смолиных.

«Пусть напишет,— решил Валентин Кузьмич.— Запретить невозможно».

И сказал ей вслед.

— С Лилией Петровной посоветуйся. Она поможет тебе.

— Я сама,— сказала Алена не по-детски твердо.

Она никогда не писала и не получала писем, но знала, как они начинаются, и потому поставила в верхнем правом углу число, месяц и год, а строчкой ниже старательно по линеечке вывела: «Здравствуй, мой незнакомый, дорогой брат Антон Николаевич Смолин!..»

И писала долго-долго, страницу за страницей — о Миронихе, о Варваре, о детском доме и Валентине Кузьмиче, о Вале Ветряковой и о том, как разыскал ее и увез домой приезжавший в детдом отец. В конце она написала, что все зовут ее здесь Алей, а на самом деле ее имя — Алена.

Сложила письмо треугольником, надписала адрес и, никому не сказав, пошла одна в поселок, чтобы опустить его в почтовый ящик. Обычно письма отдавали

возчику Матвею Фомичу, который каждое утро уезжал за хлебом и молоком в поселок и по пути отвозил и привозил почту. Но Алена до следующего утра ждать не могла. Теперь, когда письмо было написано, оно жгло ей руки, оно не должно было оставаться без движения ни минуты. Не могло задерживаться...

Всю дорогу Алена бежала, переходя на шаг, только когда уставала, и, отдышавшись, бежала снова. Рука, державшая в кармане пухлый, с острыми углами треугольник, была горячей и влажной, но Алена так ни разу и не разжала ее.

Почтовый ящик оказался ближе, чем она предполагала. На первой же автобусной остановке он висел, прикрепленный к столбу, и на его потертом темно-синем боку была нарисована мелом веселая рожица. Рожица Алене понравилась: своим широким и плоским носом она напоминала Митьку Круглого, припавшего к оконному стеклу изолятора. Однако Алена все-таки стерла рожицу и только тогда, приподняв металлический козырек ящика, протолкнула застрявшее было в отверстии толстое и угластое свое письмо. И, как-то сразу устав, медленно побрела обратно.

И с этой минуты она стала ждать ответа на свое письмо. И когда лежала в постели, дожидаясь подъема, и когда одевалась, и когда сидела на уроках, бегала на переменах, и когда очередная почта опять не приносила ей весточки. Конечно, Алена понимала, как долго письмо будет идти в Ленинград и обратно. И допускала, что, может, адресат не сразу прочтет — вдруг он куда уехал! — но все равно она уже не могла не ждать. И это состояние ожидания надолго стало для нее постоянным, главным фоном, на котором происходило все остальное, что было в ее жизни.

На другой день после их разговора Валентин Кузьмич уехал в областной центр на курсы усовершенствования. Алене некому было рассказать о письме, а делиться с другими — даже с Лилией Петровной — ей не хотелось. Она бы могла рассказать о письме только тети Глашиному Митьке, но, как нарочно, они поссорились, и Митька, считая себя обиженным, ходил теперь надувшись и демонстративно не разговаривал.

Сначала Алена ждала ответ на письмо радостно. Было в этой радости и нетерпение, но оно не омрачало, не раздражало, оно только привносило праздничное, не знакомое ей прежде волнение. Потом, когда мино-

вали все возможные сроки получения ответа, радость стала постепенно притухать. Так постепенно, что даже сама Алена нескоро это почувствовала. Зато появились в ней, одиннадцатилетней девчонке, неведомые прежде твердость, терпеливость, собранность. К ней пришло неосознанное, интуитивное умение беречь заветные и светлые свои надежды. И она берегла, она не давала им уйти, потеряться. Хотя и не знала еще, как велика, как волшебна сила живущих в человеке надежд; не знала, какими беспомощными и бесполезными становятся люди, их потерявшие. Она все ждала и ждала ответ из неведомого Ленинграда и решила, если не получит к осени, написать снова: ведь то, первое, письмо могло и затеряться в дороге...

Вернулся с курсов Валентин Кузьмич. Встретил во дворе Алену с подружками, весело и легко спросил:

— Ну, как? Что нового?

А сам остро взглянул на изменившуюся, посерьезневшую Алену.

Девчонки все сразу затараторили, зажестикулировали, заприплясывали вокруг, и только Алена осталась безучастной.

В этот же день Валентин Кузьмич позвал Алену к себе в кабинет. Когда она вошла, быстро поднялся навстречу, усадил на тот самый, продавленный, диван, вопросительно заглянул в лицо.

— Ты ведь хотела в Ленинград письмо послать?.. Рассказывай.

— А я послала.

Она сидела неестественно прямо, напряженно...

Валентин Кузьмич невольно опустил глаза.

— Ответа не получила?

— Нет еще.

Он подвинулся к Алене.

— Я не сказал тебе в прошлый раз... Мы ведь писали... по тому адресу. Сразу же, как тебя привезли.

— Никто не ответил? — медленно и словно сопротивляясь своей догадке, спросила Алена. И поднялась с дивана.

— Никто.

Глаза ее потемнели.

Валентин Кузьмич тоже встал и заходил по кабинету. Он чувствовал на себе ее ждущий взгляд и, чтобы только не молчать, чтобы скрыть свою беспомощность, заговорил торопливо:

— Этот человек мог... уехать в другой город, мог...

— Валентин Кузьмич, я пойду. Можно? — неожиданно сказала Алена, и он растерялся, остановился посреди комнаты.

— Куда пойдешь? Подожди.

Он хотел и не мог сказать ей обычных в таком случае успокоительных слов о том, что у нее есть друзья, есть родной дом. Как и у всех ребят этого дома, есть хорошее, интересное будущее... Он не сказал этих правдивых, правильных слов, потому что были они общеизвестны, потому что стоящее за ними казалось ребятам само собой разумеющимся.

В том, что чужие люди заботились о них, любили их как кровных детей, детдомовцы не видели ни подвигов, ни заслуг. А того, что страна, живущая на скудный паек только-только отгремевшего военного времени, отдает им самое лучшее, порой просто не замечали. И Валентина Кузьмича нисколько это не огорчало. Он не разделял мнения воспитателей, видевших в этом черствость и неблагодарность. Больше того, он радовался этой кажущейся неблагодарности и рассуждал по-своему. Он считал, что детдомовцы ведут себя точно так, как все нормальные дети в нормальных семьях. И это было для него важнее и ценнее всяких формальностей и условностей. «Разве дети испытывают благодарность к родителям за то, что их кормят и одевают? Разве сознательно принимают они родительскую заботу, доходящую порой до самопожертвования? Нет. Осознание, оценка этого приходят позже, возникают в душе повзрослевшей. Тогда появляется и благодарность — не та, легкая и обязательная, похожая на вежливость и потому холодноватая. А другая — самостоятельно и постепенно выросшая в этой повзрослевшей и поумневшей душе. И не просто благодарность. А чувство... Чувство благодарности».

— Я пойду, Валентин Кузьмич?

Он открыл перед ней дверь.

Почему-то она сразу, едва услышав, оттолкнула тогда, не приняла к сердцу его слова о письме, давно отправленном в Ленинград и оставшемся без ответа. Она даже не успела расстроиться — так мгновенна была ее реакция неприятия этого страшного известия.

Валентин Кузьмич был с ней добр и сдержан, как всегда со всеми ребятами. Он ни разу больше не заго-

ворил о письме, но Алена все-таки стала избегать его. Боялась: а вдруг спросит? Вдруг снова скажет что-нибудь и вспугнет прижившуюся в ее душе надежду. Конечно, она тогда так не рассуждала. Она не умела еще анализировать, прицениваться к словам и интонациям, угадывать их скрытый смысл. Но интуитивно она очень тонко и точно чувствовала.

Осень пришла с дождями, с заморозками. Похозяйничала несколько дней и отступила. Вернулось солнце, высушило и обогрело землю, прошило своими звонкими теплыми лучами окрестные леса, только что убранные поля, детдомовские корпуса и площадки.

Мальчишки опять гоняли по двору мяч, девчонки, где только могли, рисовали классы и до одурения прыгали на одной ножке, а входя в азарт, кричали и ссорились. Малыши собирали цветные стеклышки, менялись ими и смотрели через них на струящееся теплым прогретым воздухом отходящее лето.

Алена уже не собирала стеклышки, но, когда видела у других, обязательно просила посмотреть, подержать в руках, поносить в кармане.

И вот она сидела с мальчишками на коньке забора и рассматривала в разноцветные осколки окружающий ее мир. Рядом сидел Митька Круглый, брал у нее уже «просмотренные» стекла и, смешно жмуря один глаз и перекашивая при этом физиономию, подносил их ко второму, неестественно вытаращенному. Алена видела мягкую, наезженную подводами дорогу в поселок, и была эта дорога сначала желтой, потом — голубой, потом — фиолетовой. По дороге фиолетовой хворостиной фиолетовая тетка гнала фиолетовую корову... Фиолетовый цвет напоминал Алене чернила, школу, и она отняла от глаз стекло, отдала Митьке и взяла другое. Дорога стала тепло-розовой, очень красивой. И тетка, и корова тоже стали красивыми. Алена смотрела на них долго и видела, кроме того, красивое розовое небо с розовыми облаками и темно-розовую опояску дальнего леса. А потом далеко на дороге, в стороне автобусной остановки, увидела маленького розового человечка. И пока этот человечек шел и медленно, постепенно увеличивался, превращаясь в худого, высокого, явно приезжего мужчину, она не переменила стекла, хотя Митька Круглый настойчиво теребил ее за рукав, угрожающе шмыгал носом.

Мужчина вошел в детдомовские ворота, и тогда Алена посмотрела на дорогу через желто-зеленый бутылоч-

ный осколок. Митька Круглый, из-за Алениного упрямства видевший мужчину только фиолетовым, тотчас же прокомментировал его появление:

— Ревизор какой-нибудь,— всезнающе бросил он.— Этих ревизоров до черта развелось.— Он явно подражал кому-то из взрослых.— Ездют и ездют...— И стал смотреть на дорогу через необыкновенное тепло-розовое красивое стекло.

Утро следующего дня началось для Алены с того, что в спальную вошла Лилия Петровна. Девочки уже проснулись, и одни, одевшись, застилали кровати, другие только еще одевались, а некоторые таились под одеялами, притворяясь спящими.

Лилия Петровна прошла по старой, вытоптанной дорожке, застланной в проходе между кроватями, сказала, улыбаясь: «С добрым утром!» — и остановилась около Алены. Как-то особенно остановилась и особенно помолчала. Это заметила только Алена, другие девочки не обратили внимания. Смахивая приставшую ниточку, Лилия Петровна дотронулась до Алениного платья, и Алена вздрогнула и выронила расческу. Лилия Петровна сама подняла расческу и сама причесала коротко стриженные Аленины волосы.

И сказала негромко:

— Ты готова? Пойдем со мной.

Алена почувствовала, как сразу же, на какое-то мгновение у нее ослабли ноги. Ослабли настолько, что захотелось сесть, и она даже посмотрела на край только что застланной своей кровати.

— Пойдем,— все так же тихо повторила Лилия Петровна, слегка потянула ее за руку, и они, не вызвав ни малейшего любопытства девчонок, ничем их не насторожив, незаметно вышли из спальни.

Пока проходили коридором, двором, еще одним коридором — Алена ни о чем не думала. Просто шагала следом за воспитательницей и смотрела, как подпрыгивают и разлетаются на ее затылке мелкие жесткие кудряшки, похожие на туго скрученные спиралью проволочки. И только перед дверью директора ее обожгло беспокойство: «А вдруг плохое письмо? Вдруг там все умерли?»

Валентин Кузьмич был не один. В глубине кабинета, у окна, стоял тот самый «ревизор». Едва переступив порог, Алена остановилась и посмотрела на него исподлобья как на человека чужого и мешающего. Но «реви-

зор» остался все так же стоять у окна, а Валентин Кузьмич уже шел ей навстречу.

Все были озабочены — это Алена сразу почувствовала. Все были напряжены, как и она сама. Валентин Кузьмич старательно улыбался, но улыбка это была на его лице, как маска, которая мешает и которую хочется скорее снять.

Лилия Петровна не ушла, осталась около Алены и что-то ответила Валентину Кузьмичу вместо нее, а сама Алена хоть и видела говорящий его рот, никак не могла услышать. У нее часто и сильно стучало в висках, в ушах, даже в кончиках пальцев. Лилия Петровна стояла рядом и нервно, без надобности оправляла на ней платье.

Валентин Кузьмич опять наклонился к Алене, и она увидела его улыбку-маску совсем близко и неожиданно для себя спросила громко:

— Вы получили письмо? Да?

И услышала себя и испугалась, ожидая такого же прямого ответа.

Валентин Кузьмич зачем-то отошел к столу, а когда приблизился снова, лицо его было обычным — серьезным и добрым, и его не портила похожая на маску чужая искусственная улыбка.

Алена разжала пальцы: ладони были мокрые. Незаметно вытерла о платье. Услышала голос Валентина Кузьмича и обрадовалась ему.

— Сейчас я тебе все расскажу...

И он заходил по кабинету, впервые при Алене закуривая, нервно ломая незажигающиеся спички.

У Алены перестало стучать в висках и исчез страх, и робко засветилась всегда жившая в ней надежда.

— Да что же вы тут стоите-то все? — спохватился Валентин Кузьмич.— Давайте сядем. Давайте вот так...

Он придвинул стулья к дивану кружком, как бы приглашая этим всех на добрую неторопливую беседу, но никто не сел, и сам он продолжал суетливо, бесцельно двигаться. Наконец, тряхнув пачкой, выстрелил из нее еще одной тощей папиросой. Но курить не стал — бросил и пачку, и папиросу на стол. В который уже раз опять подошел к Алене, встретился с ней глазами и неожиданно улыбнулся своей собственной, открытой, немного застенчивой улыбкой. Улыбнулся свободно, хорошо, словно преодолев что-то и почувствовав облегчение. И Алена тоже улыбнулась. Просто так, в ответ на

его улыбку. И заметила краем глаза, как расслабилось и словно подобрело настороженное лицо «ревизора». И опять Алена села на краешек дивана, а рядом сел Валентин Кузьмич. Лилия Петровна тоже села на стул. И только «ревизор» остался стоять у окна.

Валентин Кузьмич взял Аленину руку, неуклюже погладил ее и, не переставая улыбаться, сказал:

— Ответ на твое письмо есть.

Она резко вскочила, но Валентин Кузьмич мягко усадил ее обратно.

— Подожди... Ты думаешь, письмо пришло? — догадался он.— Нет. Не письмо.

Он все гладил и гладил вцепившуюся в старый дерматин ее маленькую руку и, уже много раз испытавший волнение встреч, разлук, потерь, обретений, много раз переживший и радости и крушения ребячьих надежд,— робел и терялся перед еще одним изломом горькой детской судьбы. Он не умел сказать так, как хотел бы, и потому говорил не прямо, не определенно, а как-то вокруг, издалека, словно тянул время, чтобы и собеседника и самого себя успокоить перед трудными, решающими словами. Однако этим он только изматывал и себя, и других и не помогал, а скорее мешал, задерживал естественный ход событий.

— Не письмо, нет...— бесполезно повторял он.— Совсем не письмо.

Алена впилась в него лихорадочными глазами, а он, избегая ее взгляда, говорил:

— Вот увидишь, все будет хорошо. Ты только не волнуйся.

Лилия Петровна нетерпеливо поскрипывала стулом. Алена ждала.

— Я тебе сейчас все объясню. По порядку,— не мог остановиться совсем отвернувшийся от нее Валентин Кузьмич.— Там, в Ленинграде, действительно никого не оказалось.

Он говорил куда-то в сторону, но руку Алены не выпускал, и ей было тепло от его широкой сухой ладони.

— Письмо хотели возвращать, но о нем узнала знакомая той семьи, их бывшая соседка. И передала человеку, который приблизительно знал, в каком городе... Стали писать в адресное бюро. Потом...

Валентин Кузьмич окончательно увяз в собственных окольных фразах и беспомощно замолчал.

Алена медленно вытянула из ладони Валентина Кузь-

мича свою руку. Не отрывая от него ждущих глаз, поднялась с дивана.

— Ты подумай и все сама реши,— наставляя, сказал он и, окончательно обессилев от старания подготовить Алену, рубанул сплеча: — Вот он и приехал за тобой, Антон Николаич...

Он облегченно, обрадованно заулыбался Алене, а та вдруг заплакала. Беззвучно, тихо, как умеют плакать только взрослые, и сквозь слезы жалобно, устало спросила:

— А где же он?

Валентин Кузьмич взял ее за плечи и повернул к «ревизору».

— Да вот же!

Алена перестала плакать и в ужасе попятилась. Лилия Петровна удержала ее. А «ревизор» неуверенно двинулся к ним от окна.

Он не успел подойти, не успел ничего сказать, и Алена даже не рассмотрела его лица, она только услышала скрип старых половиц под его приближающимися шагами и, не владея собой, испуганная, побледневшая, выбежала из кабинета.

Никого не замечая, она пробежала коридорами, двором и, как была — в платье и туфлях,— упала на свою тщательно застланную постель.

Лилия Петровна пришла, когда Алена уже перестала плакать, но лежала все так же, опрокинувшись лицом в подушку, уставшая и ослабевшая от слез. Села к ней на кровать, спросила участливо:

— Завтракать пойдешь? Или тебе сюда принести?

— Не хочу,— сказала Алена в подушку и опять всхлипнула.

Лилия Петровна погладила ее по голове, приподняла лицо от подушки и осторожно кончиком простыни вытерла заплаканные Аленины щеки.

— Пойдем вместе. Сегодня пирог с яблоками...

И от этого ее ласкового участия, от бережного прикосновения ее рук Алена остро почувствовала жалость к самой себе, но сдержалась и больше не заплакала. Поднялась, пригладила смятую постель и пошла с Лилией Петровной в столовую.

Там уже шла уборка, и только маленький столик в углу у окна был накрыт. Лилия Петровна подвела Алену туда, и одновременно из другой двери подошли к этому же столику Валентин Кузьмич и тот самый мужчина.

На какое-то мгновение Лилия Петровна задержалась, и Алена приостановилась за ее спиной, но Валентин Кузьмич, заметив их, очень просто, будто ничего и не произошло, кивнул, приглашая сесть вместе. Они подошли, сели. Алена опустила глаза и не подняла их, пока перед ней не поставили тарелку с жареной рыбой и картофелем. Но и тогда она подняла глаза всего на уровень этой тарелки.

Все за столиком молчали и только, выбирая рыбу от костей, постукивали неуклюжими алюминиевыми вилками. Алена не ощущала вкуса, ела машинально, без всякого аппетита и хотела лишь одного — чтобы с ней не заговорили, чтобы вообще на нее не обращали внимания.

Все молчали, звякали вилками, и, когда молчание стало невыносимым, Валентин Кузьмич сказал:

— Сегодня все равно поезда нет. Только послезавтра. Утром.

Мужчина промолчал, и Валентин Кузьмич сказал снова:

— Я обычно с начальником станции заранее договариваюсь. Звоню ему. А то с билетами трудно.

— Позвоните,— коротко ответил мужчина, и Алена быстро взглянула на него.

Он тоже сидел, опустив лицо, и тоже вяло ковырял вилкой в тарелке. Она так же быстро взглянула на него еще раз и увидела пальцы, напряженно державшие вилку, высокий, рассеченный от переносья двумя ранними морщинами лоб и над ним густо-коричневые, тугие волны волос. Ей понравились его волосы, и она невольно удивилась этому.

Тетя Глаша принесла всем по стакану чая и по куску яблочного пирога. Недоуменно покосилась на Алену, но ничего не спросила и, забрав грязные тарелки, ушла.

— А то можно еще по другой ветке,— опять сказал Валентин Кузьмич.— Узкоколейкой до узловой, а там пересадка.

— Я подумаю,— сказал приезжий.

Алена немного успокоилась и яблочный пирог ела, уже ощущая его вкус.

Больше за столом ни о чем не говорили, только Лилия Петровна, когда Алена, доев пирог, украдкой облизала пальцы, спросила:

— Еще хочешь?

Алена хотела еще, но постеснялась признаться. Отрицательно мотнула головой.

— Тогда пойдем.

Они встали, а мужчины продолжали пить чай.

— Спасибо,— по-прежнему не поднимая головы, пробормотала Алена.

— На здоровье,— откликнулся Валентин Кузьмич.

Стараясь выйти из-за стола аккуратно и от этого нервничая, она неловко задела стул, и тот, невероятно громыхнув в пустой гулкой столовой, упал на пол. Алена покраснела, кинулась за стулом, но его уже поднимал приезжий мужчина и, подняв, наклонился к ней:

— Не ушиблась?

И Алена близко-близко увидела его глаза — такие же коричневые, как волосы, и отчетливые длинные дуги бровей: одна плавная, другая с неожиданным резким изломом.

— Нет, не ушиблась,— шепотом сказала Алена и, торопясь уйти, почему-то продолжала стоять и смотреть на сломанную и потому будто удивленную бровь, видя одновременно и пристальные коричневые зрачки.

Коричневые зрачки тоже смотрели на нее, и от них исходила какая-то добрая, влекущая сила.

— До свидания,— сказала Алена словно не отпускавшим ее коричневым зрачкам и растерянно оглянулась на Лилию Петровну и Валентина Кузьмича.

Дверь в комнату, где ребята обычно готовили домашние задания, была приоткрыта, и оттуда слышались шум, смех, обиженный визг девчонок. Лилия Петровна задержалась за дверью, а Алена вошла, предостерегающе прижала палец к губам, и ребята, сразу сообразив, что кто-то взрослый идет за нею следом, стихли, уткнулись в тетради и учебники.

Лилия Петровна прошлась по комнате, подсела к вертлявому, егозистому Метелину, заглянула в его неизменно грязную, закляксанную тетрадь.

Алена сидела впереди Митьки Круглого, и, хотя сейчас рядом с ним находилась учительница, он ухитрился настолько вытянуть под столом ноги, что своими растоптанными бахилами сорвал с Алениной ноги туфлю. Алена полезла под стол, но туфля была уже далеко, рядом с ногой Лилии Петровны. Алена поджала разутую ногу, оглянулась на Митьку. Он старательно смотрел на воспитательницу и прилежно слушал ее объяснения.

Алена наклонилась над раскрытой тетрадкой, посмотрела на ровные, пустые линеечки и подумала о том, что вот на таких же страничках, по таким же линеечкам она писала письмо. Очень давно. В конце зимы. И что теперь — осень, скоро снова зима, и что вот дошло все-таки ее письмо, и получилось так, как она хотела, а ей от этого нисколечко не радостно. Наоборот — беспокойно. И даже — страшно.

Лилия Петровна остановилась около нее, спросила с готовностью:

— Тебе помочь?

— Я сама, Лилия Петровна.

И воспитательница отошла, а она тут же забыла о задачке и все сидела над чистой страницей, подавленная и отсутствующая. Митька Круглый небольно пинал ее под столом, толкал кулаком в спину и наконец спустил ей за воротник липкий катышек жеваной бумаги.

Алена даже не пошевельнулась. И он сразу притих. Подпихнул под ее стол туфлю, успокоился.

Алена, так ничего и не написав, закрыла тетрадь и теперь смотрела через окно во двор, непривычно пустынный в эти часы. Ей почему-то захотелось еще раз, хотя бы издали увидеть приехавшего за ней мужчину. Чувство страха, вызванное его появлением, прошло. И, несколько успокоившаяся, Алена почувствовала робкое любопытство к человеку, которого раньше, совершенно не зная, считала братом.

Изо дня в день, в мыслях, в мечтах, в снах она видела его идущим ей навстречу — в военной гимнастерке, перехваченной широким ремнем, в сапогах и фуражке, красивого, улыбающегося, с орденами и медалями на груди. Он кричал ей: «Алена!», и она, счастливая, бежала к нему. А потом они, точь-в-точь как Валя Ветрякова с отцом, уходили рано утром к автобусной остановке. Брат держал ее за руку, Валентин Кузьмич и Лилия Петровна шагали рядом, а у ворот усадьбы, глядя им вслед, стояли все детдомовские...

Он оказался совсем не таким, этот человек, написавший для нее свой адрес.

«Почему же все так получилось? — по-взрослому подумала она и спросила себя:— А что, если он уехал?» И почувствовала, как скучно, тоскливо стало ей от этой мысли. И удивилась. Если бы она умела анализировать свое душевное состояние, она уловила бы в этой тоске

ощущение возможной утраты чего-то еще и не обретенного, а только желаемого.

Чувство тоски не проходило и будило в ней непонятное беспокойство. Желание еще раз увидеть приехавшего человека становилось навязчивым. Ей хотелось внимательно рассмотреть его лицо. Не так, как утром, в столовой, выхватывая нервными мгновенными взглядами то высокий лоб, то изломанную на взлете бровь. Ей хотелось послушать, как он говорит. «Позвоните...», «Я подумаю...», «Не ушиблась?» — это цепко, прочно записалось в ее слуховой памяти. Особенно последнее: «Не ушиблась?»...

Если было бы можно вернуть сегодняшнее утро, она хотела бы, чтобы оно вернулось. И чтоб все было так же. Чтоб Валентин Кузьмич после множества неопределенных слов сказал наконец: «Вот он и приехал за тобой. Антон Николаевич...»

По-взрослому подперев руками голову, Алена сидела одна в опустевшей уже комнате, заново переживая события прошедшего утра, а Лилия Петровна стояла в дверях, не решаясь ни уйти, ни окликнуть ее. Алена снова и снова слышала эту фразу: «Вот он и приехал за тобой...» Слышала, как из глубины директорского кабинета начинали медленно приближаться шаги. Она не пугалась и не убегала сломя голову, а шаги приближались и приближались, приехавший человек оказывался совсем рядом, смотрел на Алену коричневыми зрачками и спрашивал: «Не ушиблась?» И все обрывалось. А она хотела продолжения.

Весь этот день, после встречи за завтраком, Алена ждала, что ее снова позовут к Валентину Кузьмичу и возобновится, продолжится оборвавшийся по ее вине утренний разговор. Но никто ее не искал, и непонятное беспокойство, переполнявшее Алену, обретало совершенно определенный смысл: она боялась, что поезда, о которых шла речь за столом, уже увезли Антона Николаевича.

Следующим днем было воскресенье, и после завтрака все детдомовцы высыпали за ворота встречать школьных волейболистов. Те пришли под развернутым знаменем спортивного общества в сопровождении многочисленных болельщиков.

Пока команды готовились к игре, болельщики обеих сторон галдели, суетились вокруг площадки, с ними вместе суетились и детдомовская малышня, и девчонки,

обычно равнодушные к волейбольным поединкам.

Алена тоже вертелась около расчищенного, разделенного сеткой поля, высматривала среди ребят Лилию Петровну. Ей казалось: если чаще попадаться на глаза воспитательнице, она непременно что-нибудь ей скажет... Или спросит. Что-нибудь важное. Но Лилии Петровны не было, зато на поле, окруженный игроками обеих команд, стоял Валентин Кузьмич и призывно махал кому-то рукой. Алена проследила за его взглядом, приподнялась на носки и через головы стоящих впереди увидела ватагу мальчишек, обступившую со всех сторон Антона Николаевича. Он ответно махал Валентину Кузьмичу, но выбраться из крикливого, буйного окружения не мог, да, видно, и не хотел. Вместе с мальчишками он прошел ближе к площадке и остановился, продолжая весело с ними разговаривать. Алена пробралась ближе. Антон Николаевич над чем-то смеялся и дружелюбно трепал по волосам мельтешившего возле него Митьку.

И сразу же Митька Круглый стал ненавистен Алене, и она уже не могла без злобы смотреть на его сияющую, счастливую физиономию. А он как раз увидел ее, подбежал и похвастался:

— Антон Николаевич сегодня с нами на Ильинку пойдет. Раков ловить.

— Нет! — толкнула его в грудь Алена.— Не пойдет! — И губы у нее задрожали, запрыгали, а глаза налились слезами.— Не пойдет! Он не к вам приехал!

Митька Круглый испуганно попятился, покосился в сторону Антона Николаевича, но тот их не видел.

— Ты чего?

Но Алена уже не владела собой. Она наскакивала на Митьку, толкала его и кричала в исступлении:

— Нет! Нет! Не пойдет! Не к вам он приехал!

Растерявшийся было Митька рассвирепел.

— А тебе завидно! — крикнул он и тоже толкнул Алену.

Она расплакалась и, пряча мокрое лицо в ладонях, выбралась из толпы. Ребята, для которых драки и толкотня были делом обычным, не обратили на их стычку внимания, тем более что на поле уже началась игра. Однако Митька Круглый, повременив и поколебавшись, вышел все-таки вслед за ней из азартного круга болельщиков и поплелся через огромный двор за сарай в крольчатник.

Алена сидела на пустой старой клетке, ревела во весь голос, а на нее, перестав есть, смотрели круглыми красными глазами перепуганные кролики. Митька Круглый сел рядом, на острый, занозистый край клетки. Алена даже не подвинулась.

— Не реви,— сказал он примирительно.— Хочешь, и тебя на Ильинку возьмем.

Алена заревела громче. Переполнявшие ее чувства обиды и тревоги, напряжение вчерашнего дня, противоречия надежд, желаний и действительности — все это, сдерживаемое до сих пор едва нарождавшейся силой ее характера, теперь судорожно перехватывало горло и выливалось громкими врачующими слезами.

Шершавый край клетки впивался в Митькино тело через старенькие сатиновые штаны, он ерзал, рискуя занозить зад, но продолжал сидеть рядом с Аленой и ждал, когда она наконец проревется.

Алена слегка поутихла, и Митька тотчас же подтолкнул ее в бок.

— Подвинься.

И осуждающе, но незло сказал:

— Устраиваешь истерики. При людях.

— Ты же не знаешь ничего,— всхлипнула Алена.— Он же ко мне... Он за мной приехал.

Митька Круглый с интересом заглянул ей в лицо и, готовый включиться в игру, поощрительно поддержал:

— К тебе. И ко мне. Погостить немножко.

— Нет! — Алена вскочила и остановилась против Митьки.— Ко мне! Он — брат мой!

— Вре-е-ешь,— сполз с клетки оторопевший Митька.— Ох, вре-е-ешь...

Но Алена не стала ни уверять его, ни доказывать, сказала устало:

— Я его письмом разыскала.

И медленно пошла вдоль клеток, выставленных по случаю теплых дней на улицу.

Кролики, успокоившись, хрустели капустными листьями и смешно поводили ушами.

Митька озадаченно молчал.

— А почему вы даже... не разговариваете? — резонно спросил он наконец.

Алена повернулась и так же медленно пошла вдоль клеток обратно.

— Он... совсем не такой, как я думала,— доверительно призналась она.— Я боюсь...

Она остановилась и провела пальцем по ржавой решетке клетки, как бы повторяя ее узор. И наивно, робко спросила:

— А ты думаешь, он хороший?

— Антон Николаич? — переспросил Митька, подавленный серьезностью и значимостью разговора.

И не ответил. Все-таки он не мог ей поверить.

Много раз в детдом приезжали родственники и родители, и всегда ребята узнавали об этом сразу, и всегда те, за кем приезжали, становились центром внимания и зависти остальных. И ходили эти счастливчики, не переставая улыбаться, как должное принимали особое к себе отношение.

Митька Круглый присмотрелся к Алене: она ничуть не была похожа на тех счастливчиков.

— Врешь ты все это,— решительно заложил он руки в карманы и озорно повел своими бедовыми глазищами.— А если не врешь, пойдем к нему.

— Ты что! — замахала руками Алена и, забеспокоившись, не услышал ли их кто, посмотрела по сторонам.

Митька Круглый по-своему истолковал ее замешательство:

— Испугалась,— сказал он так, словно иного от нее и не ждал. И крупно, с достоинством зашагал от крольчатника.

И теперь уже Алена побежала через весь двор за ним следом, оскорбленная недоверием, обиженная, уязвленная. Она догнала его около гудевшей ребячьими голосами спортплощадки, схватила за руку и, расталкивая ребят, кинулась к наблюдавшему за игрой Антону Николаевичу. Подбежала и запальчиво, а вместе с тем умоляюще крикнула:

— Вы же мне брат, правда? Вы же за мной приехали?!

Антон Николаевич резко, стремительно обернулся, словно давно ждал этого ее отчаянного крика, прижал Алену к себе, а заодно прихватил и Митьку.

— Ну да! Ну конечно же! — торопливо, обрадованно проговорил он: — За тобой и приехал, Алена...

И с этого момента весь остаток дня они не расставались. Ходили на мелкую, тихую речку Ильинку, смотрели в поселковом клубе довоенный веселый фильм, а вечером играли в пионерской комнате в шахматы. Правда, Алена только следила за игрой, но это было равносильно ее непосредственному участию.

Когда прозвенел низкий, требовательный звонок — отбой ко сну — и ребята нехотя, с сожалением собрав шахматы, разошлись, Антон задержал Алену едва заметным, понятым только ею жестом.

— А теперь давай поговорим.

И сел к ней близко, обнял одной рукой.

— Тебе будет хорошо у нас дома,— сказал он просто.— Кончишь школу, пойдешь в институт...

— А где вы теперь живете? — спросила она, помня, что письмо добиралось до него почти полгода.

— Далеко. На Урале.

Алена посмотрела на Антона Николаевича серьезно:

— А вы... мой брат? Или папин?

Он тоже серьезно посмотрел на нее.

— Твой.

Помолчал. Поправил смявшийся белый воротничок. Провел ладонью по ее голове.

— А сейчас иди спать. Завтра нам рано подниматься.

Он сказал это так, словно все было решено и давно оговорено ими. И Алена послушно встала.

— А мне что-нибудь надо... взять с собой?

— Лилия Петровна, наверно, уже собрала,— лукаво, заговорщицки улыбнулся Антон Николаевич.

И Алене стало весело и легко, и захотелось скорее, сию же минуту, поехать с ним на Урал, о котором она ничего не знала, кроме того, что есть там Уральские горы и зимой бывает очень холодно.

Они прошли темным, пустым коридором, вышли во двор.

Она зачем-то вытерла о платье горячую, сухую ладошку, несмело протянула руку и в темноте сразу же нашла руку Антона Николаевича, протянутую ей навстречу. И, чтобы дорога через двор была дальше, чтобы дольше идти вот так — за руку, она пошла совсем-совсем медленно, и Антон Николаевич тоже пошел медленнее и сказал шепотом:

— Попадет нам с тобой. Ни в одном окне свету нет.

— Попадет,— весело согласилась Алена и мысленно счастливо повторила: «Нам с тобой».

Они дошли до спальни, Алена скользнула в комнату, а он еще постоял за дверью, и она чувствовала, что он стоит, а потом услышала осторожные, затихающие шаги. Она послушала их и, не зажигая света, не переставая улыбаться, разделась, забралась под одеяло,

И, уверенная в том, что до утра не сомкнет глаз, тут же заснула.

А утром ее разбудил шум в спальне. Девчонки, повскакав с постелей, еще не одетые, суетились и спорили. Алена тоже вскочила и уже готова была включиться в общий суетливый шум, но вдруг вспомнила, что это ее последнее утро в детдомовской спальне, и притихла. И девчонки сразу же, как только увидели, что она проснулась, смолкли. И смотрели на нее с любопытством и неумело скрываемой завистью. Они уже знали...

Потом все было как во сне, а вернее, как в Алениных самых радужных мечтах. К ней приходили проститься ребята из других групп, ей говорили приятные, ласковые слова, почти все что-нибудь ей дарили: кто — почти новый, только что начатый карандаш, кто — засохшую, сбереженную от праздничного чая конфету.

Валентин Кузьмич принес полосатый мешочек с ее детской одеждой и, не доверяя его Алене, отдал Антону Николаевичу. Лилия Петровна подарила книгу «Три мушкетера» и фотографию их группы, сделанную заезжим фотографом. Тетя Глаша испекла на дорогу яблочный пирог. Митька Круглый долго не показывался, а появившись в последний момент, торопливо сунул ей плоскую конфетную коробку, перевязанную веревочкой. Поймал вопросительный ее взгляд и стеснительно попросил:

— Не смотри сейчас, ладно?

Но Алена не утерпела. Как только он отвернулся, открыла крышку коробки, заглянула внутрь. Там, на тоненьком слое ваты, лежали разноцветные стеклышки. И среди них то, розовое, через которое она впервые увидела Антона Николаевича.

Наконец предотъездная процедура была закончена, и все детдомовцы высыпали во двор. Даже те, кто занимался с первой смены, прибежали запыхавшись,— не то отпросились, не то сбежали с уроков.

Валентин Кузьмич забросил в повозку вещи, подсадил Алену, кивнул Антону Николаевичу — мол, пора ехать — и взялся за вожжи. Кто-то открыл ворота, кто-то первым крикнул «Счастливо!», и все замахали руками, закричали прощальные слова. У Алены подкатил к горлу тугой комок, и она не могла кричать, а только махала, махала рукой и все высматривала среди столпившихся за воротами ребят тощего конопатого Митьку.

Лошадь бежала бойко, и толпа, и детдомовские ворота быстро отдалялись, уменьшались, уходили из Алениной жизни. И одновременно с этим уходила куда-то все утро согревавшая ее радость и поднималась затаившаяся до поры до времени холодная, как зимний сквозняк, тревога. А когда Валентин Кузьмич простился с ними возле автобуса, крепко обнял Алену и погнал лошадь назад, а автобус, натруженно гудя мотором и скрежеща изработавшимися металлическими суставами, рванулся вперед по дороге, Алене совсем стало грустно.

Автобус был переполнен. Антон Николаевич устроил ее третьей на сиденье возле худой, некрасивой женщины с заплаканными красными глазами, а сам встал около, оберегая от толкотни и давки.

Некрасивая женщина шепотом переругивалась с мужчиной, сидевшим у окна. Алене не было видно мужчину, только слышался простуженный, скрипучий его голос, раздраженно, зло отвечающий спутнице. Женщина сидела неестественно прямо, держала на коленях руки с желтыми плоскими обломанными ногтями и зажимала в одной истертый старенький кошелек. В ногах у них лежал мешок и позвякивал о ножку сиденья тусклый алюминиевый бидон.

Кондуктор стала кричать, чтобы передавали деньги на билеты, и некрасивая женщина, на полуслове замолчав, раскрыла кошелек и медленно, аккуратно, по одной вынула несколько серебряных монет. Пересчитала, подумала, достала еще бумажный рубль и закрыла кошелек. Обернулась, поискала кондуктора, обвела взглядом плотно сбившихся пассажиров, но деньги передавать не стала, а зажала их в кулаке и снова положила руки на колени. И снова заворчала на мужчину. А он, молчавший, пока она считала деньги, заскрипел, заогрызался в ответ.

Автобус долго шел без остановок, мотая, подбрасывая пассажиров, словно утрясал их, и остановился внезапно, резко, будто натолкнувшись на невидимую преграду.

— Загорать будем! — кинул шофер через плечо.— Опоздали.

И все стали смотреть в окна.

Алена тоже привстала, вытянула шею и увидела за стеклом широкую, отливающую свежей жестью реку, а на берегу — на деревянном причале и ближе, на доро-

ге — два грузовика, подводу и мужика с тележкой, нагруженной мешками.

— Слазьте все! — распорядилась кондукторша.— Очистите салон!

Выстрелила, резко раскрывшись, дверь, и под напором сразу зашевелившихся пассажиров вылетели на дорогу препиравшиеся с кондукторшей мужики. А потом уже полегче, потише стали вываливаться остальные, застревая, цепляясь друг за друга своей поклажей. Когда вышла Алена, на берегу уже топталось и сидело много народу. Так много, что невозможно было представить, чтобы их автобус-коробочка мог снова вместить всех. Антон Николаевич усадил Алену на чемодан, постоял возле нее, разминая в пальцах папиросу, сунул в рот, похлопал руками по карманам. Спросил стоявших поблизости:

— Прикурить не найдется?

И, заметив облачко папиросного дыма, направился к курящему. Алена оглянулась. Рядом, на порыжевшей, побитой траве, сидела, подобрав ноги, соседка по автобусу. Отвернувшись от нее, привалясь боком к тугому, полному мешку, хмуро свертывал самокрутку ее спутник.

Вернулся Антон Николаевич, пояснил:

— Паром будем ждать. Ты посиди, я узнаю, скоро ли.

И, спустившись к причалу, остановился в кругу мужчин.

Алене стало невесело. Не сознаваясь самой себе, она уже тосковала по детдомовским девчонкам, по Митьке Круглому, по большому веселому двору и красноглазым пугливым кроликам.

— Уйду я от тебя, Трофим,— вдруг громко сказала женщина и выпрямилась, словно хотела тотчас же встать и уйти.— Сил моих больше нет.

Трофим держал во рту незажженную «козью ножку».

— Ты уж один... Я этим автобусом обратно поеду.

Алена искоса заглянула в лицо Трофима и зябко поежилась. Худые запавшие щеки шершавились тусклой, серой щетиной. Низкий тяжелый лоб нависал над маленькими безбровыми глазками, а тонкий прямой нос и обветренные, красивой формы губы казались взятыми от другого лица.

— Ты только паспорт мне выложи,— настаивала женщина.

Трофим молчал. Всю дорогу огрызавшийся, он не проронил в ответ ни слова.

Кто-то громко, хрипато гаркнул: «Идет!» Люди на берегу оживились, и Алена тоже увидела медленно и немного наискосок пересекающий реку паром, похожий одновременно и на пароход, и на плот.

Паром привез на себе людей, подводы и потрепанную — заграничной марки — легковую машину. Грузовикам, пропуская все это на берег, пришлось попятиться, отойти задним ходом с причала вверх на дорогу, а потом медленно сползать обратно.

Наконец и грузовики, и подвода, и автобус, и двухколесная скрипучая тележка взобрались на паром. Паромщик махнул пассажирам:

— Айда!

Алена с Антоном Николаевичем так и пошли вслед за автобусными соседями и на пароме тоже устроились рядом. Настолько близко, что бидон приятно холодил Аленины ноги, а мешок упруго подпирал спину. Антон Николаевич старательно устраивал и усаживал Алену, и хотя ей уже надоело общество этой поссорившейся некрасивой пары и хотелось обойти, осмотреть паром, она послушно некоторое время посидела на чемодане, а потом все-таки поднялась, привстав на носочки, облокотилась о перила и стала смотреть в воду, а потом на берег и увидела на берегу торговку, разложившую прямо на траве, кучками, мелкие красные яблоки. Алена ощутила во рту их кисловатый вяжущий вкус и отвернулась, чтобы не дразнить себя.

Паром еще стоял. Паромщик обходил пассажиров, цепко оглядывая их багаж и коротко бросал:

— Рупь.

— Рупь двадцать.

— Полтина.

Все беспрекословно отсчитывали деньги, и паромщик деловито ссыпал монеты в коричневый, видавший виды командирский планшет. Бумажные купюры он аккуратно складывал и совал в другое отделение. Обрывал с желтого узкого рулончика маленькие, словно ненастоящие билеты, споро и точно отдавал сдачу.

Паром еще немного постоял, видно, дожидаясь бежавших к нему вдоль берега двух парней, и, дождавшись, медленно, плавно, едва заметно стал отваливать.

— Не ку-рить! — откуда-то издалека крикнул паромщик.

Мужики, притушив, попрятали по карманам цигарки, и лишь некоторые побросали за борт.

Антон Николаевич потоптался возле Алены, зацепил ботинком загрохотавший бидон и отошел, предупредив:

— Ты меня не теряй. Я здесь, рядом.

Все-таки ему было трудно с ней, Алена это чувствовала. И самой ей было трудно. Стояло между ними что-то разделяющее, настораживающее. Может, это была овладевшая ею сейчас тоска и пронзительное, острое чувство утраты... утраты всего привычного, теплого, удобного, что окружало ее в детском доме. Это чувство казалось бесконечным, как река, от берега которой едва-едва отходил паром, и Алена тонула в нем, в этом чувстве, беспомощная, одинокая, а другое — чувство приобретения было еще так мало, так непрочно и не проверено, что не могло оно противоборствовать тому, первому.

...Торговка все так же сидела на берегу и все так же кучками лежали на траве соблазнительные яблоки. Только стали они — и торговка, и ее товар — чуточку поменьше. И дорога, и деревянный причал тоже уменьшились. И лишь это да появившаяся полоса воды между берегом и паромом выдавали движение. Больше оно никак не ощущалось, и если бы Алена не смотрела в сторону берега, паром казался бы ей неподвижным.

— Что молчишь? — резко спросила женщина за ее спиной, и Алена невольно обернулась.

Она стояла, все еще сжимая в руке кошелек, а мужчина сидел прямо на палубе, отвернувшись и широко расставив согнутые в коленях ноги.

— Трофим,— уже без обиды, без злобы позвала женщина.— Я серьезно.

И тогда он молча, каким-то медленным, тяжелым движением достал из внутреннего кармана тощий бумажник, открыл, словно разломил на две половины, вынул оттуда серую книжицу паспорта и, не оборачиваясь, протянул ей через плечо.

Паспорт остался протянутым, словно повисшим в воздухе. Женщина испуганно и недоуменно смотрела на потрепанные серые корочки документа, зажатые в прокуренных, задубелых пальцах. Наконец она взяла паспорт, но никуда не убрала его, а продолжала держать, будто не знала, что с ним теперь делать.

Алена не поняла, а скорее почувствовала: с ее стран-

ными и недобрыми спутниками случилась беда... Вокруг были люди, очень много людей, и она ждала, что кто-нибудь подойдет, вмешается, успокоит некрасивую женщину, помирит ее с угрюмым мужчиной, но никто не подходил, не обращал на них внимания, и даже Антона Николаевича не было видно.

Паром шел по-прежнему тихо, и так же тихо плыла над рекой едва слышная песня. Алена не уловила, когда она возникла, не понимала, кто, где поет, только заметила, что тихая эта песня усмирила шум голосов.

Пел кто-то один, а все остальные слушали. Слушали по-разному. Кто — добрея и светлея лицом, кто — задумчиво-грустно, кто — растроганно, кто — непроницаемо. Но уже тем, что слушали, все они были сейчас вместе. И только застывшая с паспортом в руке женщина да все в той же позе сидящий ее спутник, видимо, ничего не слышали.

Стараясь разобрать слова, Алена подалась в сторону песни, нечаянно задела женщину, и та словно очнулась. Посмотрела на Алену, на притихших пассажиров, равнодушным взглядом смерила расстояние, оставшееся до противоположного берега, и услышала песню. И на какое-то мгновение словно забыла о своих неприятностях. Лицо ее стало спокойным, как будто отдыхающим от постоянного напряжения. Жесткие, обострившиеся черты ее лица чуть заметно смягчились. И хотя длилось это недолго, хотя женщина тут же вернулась к своей беде, она уже не была одна, не была сама по себе. Кто-то пел эту песню и для нее, и она слушала ее вместе со всеми.

Алена плохо понимала, о чем песня. Она никогда не слышала ее раньше и сейчас улавливала не все слова. Кто-то о ком-то грустил в этой тихой, чужой песне, кто-то хранил сказанные на прощание слова...

Сонно шелестела за бортом парома вода, неторопливо текла над водой песня, и Алене почему-то уже не было любопытно — кто певец. Это не имело значения. Просто ей было приятно слушать неназойливый, мягкий голос, и хотя он грустил, хотя он безнадежно кого-то звал, Алену этот голос успокаивал. Она опустилась обратно на чемодан и прямо перед собой увидела насупленное, серое лицо мужчины. Он сидел все так же, только обхватил руками колени, сцепил крючковатые желтые пальцы, смотрел куда-то поверх голов и слегка покачивался в такт песне. Алена невольно остановила

взгляд на его уродливых натруженных пальцах, заметила, что на правой руке вместо среднего и указательного торчат стянутые синими рубцами обрубки, и невольно опустила глаза. А когда подняла снова, пальцы вдруг резко разжались, мужчина встал и, повернувшись к своей спутнице, хмуро сказал:

— Будет тебе дурить-то!

И забрал из ее окаменевших рук паспорт, на ощупь спрятал в карман. Женщина посмотрела на свои опустевшие руки, на мужчину, оставшегося стоять рядом, и пошевелила губами, словно хотела что-то сказать, да раздумала. С лица ее постепенно, медленно сходило напряжение, а вместе с ним и озлобленность, и отчаяние. Оставалась только усталость — давняя, прочная, не от одного дня, а от многих нелегких лет. Усталость да какая-то почти детская виноватость.

— Успеем к поезду? — спросила женщина так, словно говорила: «Ты уж на меня не сердись, ладно?»

— Успеем,— примирительно ответил мужчина.

И хотя оба они больше ничего не сказали, просто — стояли и молчали, ждали, когда паром подойдет к берегу, Алена чувствовала: от этих людей ушло что-то плохое и смутное, раздражавшее их всю дорогу. И еще она чувствовала, что между этим их примирением и неторопливой грустившей песней есть какая-то связь. Ей вдруг захотелось увидеть человека, чья негромкая песня таила в себе удивительную, непонятную силу, какую-то добрую власть над людьми.

И она торопливо, опасаясь, что песня вот-вот кончится, пошла ей навстречу.

Она прошла всего несколько шагов и услышала песню совсем рядом. Облокотившись о высокий, обшарпанный борт, стоял среди пассажиров Антон Николаевич, смотрел на тихую, словно остановившуюся воду и негромко, будто вспоминая или раздумывая, пел самому себе.

Алена подошла совсем близко и замерла, боясь помешать песне. А Антон Николаевич увидел ее и, продолжая петь, притянул к себе. Она поднырнула под его руку и стояла так, пока не кончилась песня, пока не толкнулся, причалив к деревянным мосткам, медленный неуклюжий паром.

Обходя грузовики, потекли на берег пассажиры. Антон Николаевич подхватил чемодан и тут же поставил обратно.

— Совсем забыл! Я же тебе яблоки принес! Держи-ка...

И стал вынимать из карманов и ссыпать в подставленные Аленой ладони тугие мелкие красные яблоки. Те самые.

Алена разволновалась и, чтобы не показать этого, чтобы хоть чем-то заняться, налила в чью-то пустую чашку холодный кофе, выпила, сказала Виктору:

— Пойду, пожалуй, позову Люсю, неуютно мне с вами.

Но Виктор усадил ее обратно.

— Не надо. Дождемся Антона. А она пусть спит.

## Глава VI

Люся не спала. Она лежала, отвернувшись к стене, закрыв глаза, спрятав под диванную подушку руки и подогнув колени. Она согрелась, затихла, но забыться не могла и не могла «переключиться» на какие-нибудь «нейтральные», спокойные мысли. Иногда она начинала дремать, и тогда тревожные думы ее воплощались в видения. Подходил к ней вернувшийся из похода Санька и спрашивал: «Это правда, что отец едет в Париж? А как же он там петь будет? По-французски?»

Наклонялся над ней Антон, подтрунивал: «Ну, вот, скисла. Да по теперешним временам и не нужен никакой голос. Был бы микрофон».

Откуда-то звонила Алена, кричала в трубку: «Тут до меня слухи дошли... Неправда ведь это? Скажи, неправда?»

И через все это близко, назойливо наплывали большие удивительно круглые, чуть навыкате, глаза Геннадия. Они смотрели сочувственно и печально, а в зрачках плясали радостные веселые всполохи, и это было сначала ей непонятно. И удивительно. А потом стало понятно. И страшно. И дремота тут же прошла. Люся открыла глаза, стала рассматривать рисунок на диванной обивке и считать повторявшиеся в разных комбинациях ромбики и квадраты. Ромбиков и квадратов было много, она сбивалась, начинала считать снова, но потом ей это надоело, и она потрогала обивку дивана рукой. Обивка оказалась шершавой и теплой, нагретой светившим в окно солнцем. И Люся без всякого интереса подумала, что солнце — весеннее, на улице — первые ручьи...

И вдруг это ее почему-то забеспокоило. Что-то очень важное было связано у нее с весной. Что-то очень хорошее.

Солнце пригревало руку, и ее не хотелось убирать. А беспокойство росло, тревожило, и Люсе становилось необходимо выяснить, отчего оно. Казалось, для этого не хватает всего лишь какой-то мелочи, какой-то зацепки...

Она стала перебирать в памяти все весны, которые помнила, и сразу нашла...

Была одна такая весна. Нерадостная потому, что военная. Но все-таки — весна. С солнцем во все небо, с болтовней проворных ручьев, с тревожным, неосознанным ожиданием счастья, с надвигающимися экзаменами.

Консерваторию оберегали от постороннего шума и потому открывали окна лишь на одну сторону — в огромный, заброшенный за годы войны двор.

Даже входные двери стучали мягче. Даже Ванда разговаривала с комсомольцами спокойнее. И вдруг однажды в классы и коридоры влетел со двора чей-то озорной, дразнящий, словно бы захмелевший от весны, голос. Он пел что-то непонятное, скорее всего импровизировал без слов, подражал итальянским певцам, и казался беспредельным по своей силе и диапазону. И в классах оторвались от своих дел, прислушались, подошли к окнам, недоумевая, кто бы это мог петь и почему во дворе.

Выглянув в окно, Люся увидела там только столовских официанток и судомоек. Они стояли около служебного входа, среди пустых бочек и ящиков и, задрав головы, смотрели на окно соседнего с консерваторией госпиталя. Оно было распахнуто настежь. На подоконнике сидел парень в белой нижней рубахе, и около него, выглядывая во двор, стояли в таких же рубахах сияющие, довольные его товарищи. Они явно подзадоривали певца, да он и сам был в ударе и не только пел, но успевал еще и улыбаться, зазывно кивать обритой под нолевку головой и переговариваться с девчатами.

Они в ответ тоже улыбались ему, а когда парень кончил выводить замысловатые рулады — зааплодировали, закричали:

— Еще!

— «Огонек»!

— «Синенький скромный платочек»!

— «Чилиту»!

Парень намеревался было спеть еще, но кто-то там,

в госпитале, помешал. Внезапно все раненые повернули головы от окна, отошли. Певец успел еще раз улыбнуться, послать девчатам привет, и окно резко, видно рассерженно, закрыли.

Однако концерты эти продолжались и в последующие дни и начинались обычно с того, что кто-нибудь из столовских девчат кричал в раскрытое окно госпиталя:

— Рахмет! Янгиев!

Тотчас же появлялась над подоконником огромная, круглая голова. И не просто круглая, а даже вроде слегка приплюснутая и потому напоминающая формой ученический глобус. На бритой макушке головы красовалась черная, расшитая белым шелком узбекская тюбетейка и являла собой как бы один из полюсов с белыми пятнами неисследованных пространств.

— Салам! — отвечал Рахмет, кровать которого стояла у самого окна, и поудобнее устраивался на подоконнике.

Он готов был завести с девчатами длинный разговор, но они сразу просили:

— Позовите того, который поет.

— Ай-ай-ай,— качал своей удивительной головой Рахмет.— Не могу позвать. Нет его. На перевязке...

И, довольный, что остается единственным объектом внимания, щедро одаривал всех улыбкой.

Девчата весело переговаривались с ним и без конца просили:

— Рахмет, посмотри: не пришел он? Ну, который поет хорошо.

— Зачем смотреть? — невозмутимо говорил Рахмет, даже не оборачиваясь в палату.— Придет, сразу скажу.

Певец часто бывал то на перевязках, то на уколах, то в госпитальном клубе. Он бывал даже «у медсестры Зиночки». Обо всем этом добросовестно докладывал Рахмет. Очень он был непоседлив, этот поющий парень, хотя и торчал у него под мышкой край костыля, а одна рука висела на марлевой повязке.

Но когда он все-таки оказывался в палате, то пел по заказу девчат все, что они хотели. И, не замеченная никем, Люся слушала его, выглядывая из окна какого-нибудь свободного класса.

Заинтересовались певцом не только столовские официантки. Педагоги по вокалу, услышав его в первый раз, тут же позвонили начальнику госпиталя и, утвердив-

шись в догадке, что парень — не профессионал, попросили позволения увидеться с ним. Начальник отослал их к главврачу, а тот, поощрительно пробасив: «Займитесь, займитесь парнем — талант», разрешил свидание не раньше как через три-четыре месяца.

— Пусть пока лечится, отдыхает и ни о чем другом не думает,— твердо сказал он.— А там — пожалуйста...

Нетерпеливее всех ждала назначенного главврачом срока студентка Люся Зотова. Она не признавалась в этом самой себе, но с готовностью призналась бы любой из своих подруг, приди им в голову спросить ее об этом. Но подруги были сначала, как и она, заняты экзаменами, потом разъехались по домам, а когда вернулись, наперебой рассказывали о своих собственных переживаниях и тайнах, рядом с которыми Люсина выглядела никакой не тайной, а просто-напросто выдумкой.

Был еще человек, которому она могла бы сказать о парне из госпиталя,— Геннадий Корнев, с вокального. Но он досрочно сдал все экзамены и укатил с концертной бригадой филармонии в поездку по области и тоже вернулся поздно. И тоже переполненный впечатлениями, отягощенный нерассказанными историями и совершенно не способный никого слушать.

Наконец настал день, когда «представители консерватории» — заведующий кафедрой Черняхов, преподаватель по вокалу Вера Генриховна Рогова и член комсомольского комитета Люся Зотова — вошли в кабинет начальника госпиталя.

Черняхов поговорил немного о «святом долге» отыскивать таланты и давать им дорогу в жизнь, попытался расспросить начальника о парне с хорошим голосом, но тот рассказывать ничего не стал, а велел медсестре позвать Смолина.

Антон предстал перед ними в госпитальном одеянии — сером унылом халате, надетом на нижнее белье, удивленный, не понимающий цели их визита. А по мере того как цель эта прояснялась, удивлялся еще больше.

Начальник госпиталя, не вмешиваясь, сидел в сторонке, но уже тем, что не уходил, слушал и пытливо посматривал на Антона, выказывал некоторую свою заинтересованность.

Уважительно выслушав тучного, страдающего одышкой Черняхова и пропустив мимо ушей его замечание:

«Это первый случай, когда мы сами пришли к абитуриенту, молодой человек!», Антон сказал:

— Вы видите...— и показал глазами на палочку, в последние дни заменившую костыль, на безжизненно висевшую руку.

— Мы говорили с врачами,— пояснил заведующий кафедрой.— Нога у вас идет на поправку.

О руке он не сказал ничего: врачи не гарантировали возвращение ее к жизни.

— Вы ничем не рискуете. Не сможете петь в опере — возможна эстрада. Радио, наконец. Или преподавание...

— Я не учился музыке,— стоял на своем Антон.— Даже в детстве. Я слесарь. Рабочий. В восьмом классе ушел из школы. Заканчивал в вечерней.

— А почему ушли? — по-ученически привстав в огромном дерматиновом кресле, неожиданно для самой себя спросила Люся и вдруг, словно увидев себя со стороны, застеснялась и своего маленького роста, и белых косичек на острых нескладных плечиках.

Антон сразу и не заметил ее — он сидел боком к этому креслу, а Люся утонула в нем с головой и стала видна, лишь когда поднялась.

Вопрос смутил его. И само появление девушки смутило тоже.

Он неопределенно проговорил:

— Да, так... Ушел, и все.

— У вас была трудная жизнь? — с готовностью к сочувствию спросила она снова и уже больше не села, а продолжала стоять, и это означало, что вопросы ее только начались.

Это смутило Антона еще больше, он покраснел, беспомощно оглянулся на начальника госпиталя. Тот молчал, но глаза его лукаво смеялись.

— Не стесняйтесь, молодой человек,— попытался разрядить обстановку Черняхов.— Люся Зотова — из комитета комсомола. Хотя... Хотя это к делу не относится,— несколько осуждающе повернулся он к девушке.— Не все ли равно, почему ушел?

Люся сразу села и совсем спряталась в кресле, только сбитые носки парусиновых полуботинок, едва достававшие до пола, выдавали ее присутствие.

— Аттестат у вас, конечно, есть? — между прочим, чтобы чем-то сгладить неловкость, спросил Черняхов.

— Был,— неопределенно сказал Антон.

— Почему «был»? — удивилась в кресле невидимая Антону Люся.

— На передовой свидетельства не спрашивают,— сухо ответил ей парень.

— Ну, и что? — не поняла она.

— Сейчас аттестат и не нужен,— успокаивающе улыбнулся Черняхов.— Будете писать заявление, тогда и приложите.

— Не смогу.

— Почему же? — насторожился заведующий кафедрой.

— Мой дом в Ленинграде,— нехотя пояснил Антон.— Неизвестно, уцелел или нет.

— Добудете потом — представите,— заволновался Черняхов.— В крайнем случае — дубликат запросим. Из школы. Когда будет возможность.

— Скажите, а какие у вас были планы?.. На будущее? Ну, после госпиталя? — опять встала с кресла Люся и, уже понимая, что всем надоела своими вопросами, спросила еще: — Что вы собирались делать?

— Работать где-нибудь,— ответил парень. И пояснил с сожалением: — Воевать-то теперь нельзя. Списан.

— Так мы с вами договорились, молодой человек? — желая подвести черту разговору, добро, подбадривающе улыбнулся Черняхов.

— К сожалению, нет,— деликатно и вместе с тем твердо возразил Антон, относя это сожаление не к себе, а к уговаривающим его людям, к тому, что вот не может он сделать то, что они просят, ради чего пришли, потратили время.

— Что же вас смущает еще? — спросила до сих пор молчавшая Вера Генриховна.

Антон медленно, раздумывая, посмотрел на нее, на заведующего кафедрой, покосился в сторону затихшей Люси.

— Видите ли... Я бы, наверное, не смог петь... за деньги.— Он как-то через силу вытянул из себя эти слова.— Мне кажется... одно сознание того, что это — заработок, убивает песню.

Это было неожиданно. Черняхов и Вера Генриховна переглянулись, Люся высунулась из кресла и изумленно раскрыла на Антона и без того большие глаза.

— Ну, знаешь,— не выдержал начальник госпиталя.— А ты еще и философ. Формула твоя применима и к другим видам работы?

Он старался перевести разговор в шутку.

— Применима,— не принял шутки Антон,— ко всему, что — искусство. Табурет можно сколотить и за деньги.— Он был серьезен.— Только... Это мое, очень личное мнение.— Он как бы извинился.— И относится лишь ко мне. Я не осуждаю других.

— Вы, безусловно, одаренный человек,— серьезно сказала Вера Генриховна.— Вам когда-нибудь говорили об этом?

— Говорили.

— Кто? Где?

Антон пожал плечами.

— Многие говорили.

— Советовали учиться?

— Советовали.

— И что же?

— Да, вот... Это же.— Он покосился на начальника госпиталя и произнес на улыбке:— Моя фи-ло-со-фи-я.

— И никто вас не сумел переубедить?

— Не успел никто. Война началась.

Он сказал это обыденно, просто, и все невольно замолчали виновато и уважительно. А Смолин удивился внезапно наступившему молчанию и, растерянно оглядываясь, стал подниматься со стула.

— Сиди! — махнул на него начальник госпиталя, и Вера Генриховна, заметив это, попробовала улыбнуться.

— Если вы не возражаете,— совсем просто, доверительно сказала она,— мы как-нибудь поговорим на эту... философскую тему. Она имеет свою историю. А пока подумайте. Но не слишком долго,— заметила она уже деловито.— Экзамены через месяц.

И поднялась, стала прощаться.

С этого дня концерты из госпитального окна прекратились. Настойчивые зовы столовских девчат наталкивались на непреклонного Рахмета, который только разводил руками:

— Серьезный стал. Петь не хочет.

И он неизменно уходил от окна, а то и закрывал его наглухо. Девчата не знали, что теперь Антон стеснялся быть услышанным в консерватории, и грешили на «медсестру Зиночку».

Через неделю Вера Генриховна снова пошла в госпиталь, на этот раз одна. Она пробыла там часа два, а может и больше, вернулась в хорошем настроении и

сказала поджидавшей ее Люсе, что все в порядке, на экзамены его отпустят, а выпишут только в конце сентября.

И еще была весна. Ранняя...

Они шли с Антоном по вечерней, плохо освещенной улице, разбивали хрусткий ледок на редких, еще сиротливых лужицах и о чем-то говорили. Вернее, говорила Люся, как всегда, торопливо, запальчиво и, будто уставая от собственной болтовни, неожиданно останавливалась. Недолго помолчав, она тут же начинала говорить о другом и теряла всякий интерес к предыдущей теме.

Антон слушал ее и молчал. Молчал, молчал и вдруг остановился, круто повернул Люсю к себе, посмотрел на нее серьезно, словно запоминающе. И сказал так же серьезно, с оттенком недоумения:

— Знаешь, Люська, я тебя, наверно, люблю.

Он так и сказал: «Люська». И сказал: «Наверно».

Она подумала, что ослышалась. Но Антон все стоял и смотрел на нее, и Люся поняла: он на самом деле так и сказал. И тогда она удивилась. И даже обиделась. У нее задрожали губы, и в горле стало сухо. Она ничего не сказала, а медленно повернулась и пошла дальше. Антон еще постоял, догнал ее и взял за руку. И тоже не сказал больше ни слова.

Он так и вел ее за руку до самого общежития. А потом простился: «До завтра» — и ушел к себе.

А она вернулась на улицу, обошла дом со стороны двора, села возле груды камней на сложенные рядком кирпичи и стала думать об Антоне. Об Антоне и о себе. Стала обстоятельно, с подробностями вспоминать, как они сегодня шли, как он остановил ее, как сказал. И опять ее удивило и обидело это «наверно». Почему? Почему «наверно», когда она об этом давно знает. С прошлого года. С поездки в колхоз.

А утром, очень рано, когда все еще валялись в постелях, пришла Ванда и, дожидаясь, пока девчонки оденутся, принялась ходить взад-вперед, шумно задевая бедрами за кровати, стулья и тумбочки.

Все понимали, что пришла она не просто так, по пути, как забегали подружки, и потому следили за ней выжидательно, заранее обеспокоенные.

— Что-нибудь случилось? — не выдержала однокурсница Ванды, Лена Шарова, самая старшая и самая рассудительная из них.

И Ванду сразу прорвало:

— Случилось! Живете рядом, дверь — к двери, и ничего не знаете! А может, знаете, да молчите? Зотова, ты с ним все ходишь вместе — тоже не знаешь?

Люся испугалась не ее слов, не угрожающего тона, а какого-то своего предчувствия.

— И давно он по ночам исчезает?

— Не говори загадками! — прикрикнула Лена.

— Хорошо,— подошла к столу, как к трибуне, Ванда.— Не буду загадками. Нам стало известно, что студент Смолин...— она поискала слова и закончила обтекаемо: — Нарушает правила общежития.

Но на этом исчерпала свою сдержанность и стала говорить грубо, зло, торжествующе.

Она не была уже секретарем. Ее с шумом провалили на отчетно-выборном. Но тут же буквально через неделю как представительницу от студенчества ввели в состав месткома.

— Распустились! — кричала она.— Превратили общежитие...

Распахнула дверь, выскочила в коридор и стала стучать в комнату Антона. Он не отвечал. Она барабанила в дверь и удовлетворенно оглядывалась на сбежавшихся жильцов: «Убедились?»

Наконец Лена Шарова рванула ее за руку, втолкнула обратно в комнату, крикнула ей в лицо:

— Ну и что? Какое тебе до этого дело?

Спокойно говорить она уже не могла. Остальные девчонки, обычно робевшие перед Вандой, шумно возмущались ею, защищали Антона. Только Люся сидела на своей кровати и молчала.

— Он что, у тебя разрешения должен спрашивать?

Ванда не ожидала такого отпора от однокурсницы.

— Ты считаешь?..

— Я считаю — это его личное дело,— отрезала Лена.— Личное. Понимаешь?

Ванда застегнула пальто, поправила берет, обернулась с порога:

— Как только он появится...— и осеклась. Из конца коридора тяжелым, усталым шагом шел Антон, на ходу расстегивая шинель и стягивая ушанку. Не останавливаясь, он кивнул ей и всем, кого заметил за открытой дверью, сказал: «Здрасте!» — и, повернув ключ, вошел в свою комнату.

Ванда глубокомысленно помолчала и ушла, не простившись.

И с этого дня каждую ночь в половине двенадцатого Люся слышала стук Антоновой двери и его быстрые удаляющиеся шаги. И каждое утро ждала, когда шаги простучат обратно.

В консерватории она старалась с ним не встречаться. После занятий уезжала в поселок машиностроителей, к сестре, часто оставалась там ночевать. Но и туда увозила она свою беду. И там, затаившись в постели, она иногда плакала и корила себя за доверчивость и старалась вызвать в себе неприязнь или хотя бы равнодушие к Антону, но не могла. И тосковала о нем, потому что видела теперь реже. И беспокоилась, потому что не знала о нем даже самого малого: как сдал зачет, что сказали на врачебной комиссии.

Он заметил в ней перемену, спросил, что случилось, и Люся неумело и путано соврала о болезни сестры, о беспризорности племянников, а потом очень терзалась этим и боялась: а вдруг сестра и на самом деле заболеет?

Ванда помалкивала. И как всегда, когда «собирала компрометирующий материал», ходила мимо будущей жертвы не здороваясь.

Антон этого не замечал, а если и замечал, то не обращал внимания.

Люся избегала Ванду, но однажды та все-таки остановила ее и спросила многозначительно:

— Как там у вас?

— Как обычно,— попыталась уйти от разговора Люся.

Ванда задержала ее, сказала ликующе:

— Я узнала. Он к хлеборезке Маруське ходит!

И ушла, довольная произведенным эффектом.

Люся даже на лекцию не пошла. Уехала сразу к сестре, но и там оставалась недолго,— пошла бродить по улицам, забрела в кино, просидела сеанс, почти не глядя на экран, и поехала в общежитие. Она старалась не думать об Антоне и думала только о нем.

«Хлеборезку Маруську» Люся знала плохо — видела несколько раз в столовой, зато слышала о ней много. Рассказывали, что Маруська скупает продовольственные карточки, торгует продуктами и «выручает» студентов, отпуская им хлеб на несколько дней вперед. А то и на весь месяц. Более ловкие извлекали из этого

выгоду, а остальные «проедались» и после голодали, едва перебиваясь на столовской пшенной похлебке.

Красивая и нахальная, хитрая и вороватая, Маруська жила во дворе консерватории в каморке возле столовой и, бывало, зазывала к себе то консерваторских очкариков, то выздоравливающих и погуливавших парней из госпиталя. Она играла на гитаре, безголосо, но азартно пела лихие песни, а потом, захмелев, выгоняла всех и выла с причитаниями по своему жениху, погибшему в первый день войны на границе.

Женщины относились к Маруське брезгливо. Мужчины заступались. Люся ее жалела, потому что не могла забыть затравленного и вместе с тем оскорбленного гневного ее лица, когда на студенческой вечеринке подвыпивший преподаватель военного дела хватанул Маруську за высокую, дразнящую мужиков грудь.

Маруська оказалась среди студентов потому, что вечеринку Люсин — тогда еще первый — курс собирал в столовой официально, по случаю Нового года. И она хлопотала, помогая «отоваривать» собранные со всех талончики продуктовых карточек, используя при этом свои «связи». А потом накрывала столы, украшала елку, и ее, конечно, уговорили остаться. Даже просили петь. И она пела отчаянно, и легко плясала с этим преподавателем и трепака, и русскую, но вдруг оттолкнула его и с такой силой ударила по лицу, что у того из носа пошла кровь. Он, однако, не унялся, а, желая превратить инцидент в шутку, снова к ней подошел, вытянул за цепочку висевший под кофточкой медальон и сказал примирительно:

— Я не потому... Я вот этим интересуюсь. Какого красавца портрет на груди носишь?

И тут Люся увидела ее глаза. И испугалась их и впервые подумала, что Маруська, наверно, не такая, какой показывает себя на людях. И уже смотрела на нее не просто с любопытством, а сочувствующе, готовая вступиться.

Но Маруська умела за себя постоять сама. Она вырвала из руки преподавателя медальон, еще раз наотмашь ударила его по щеке и сказала люто, совсем по-мужицки:

— А за это я тебя, тыловую сволочь, убить могу!

Разорвала плотно сомкнувшийся около них круг любопытных и ушла, высоко подняв голову и до синевы закусив вызывающе припухшую нижнюю губу.

Иногда Люся пыталась представить Маруську и Антона вместе и не могла. Они как-то не совмещались в ее представлении. И это успокаивало. Слегка. Ненадолго. А потом ей опять виделось, как гордо, самостоятельно идет Маруська через разорванный круг любопытных, и начинало казаться: есть в ней такое, что могло бы поманить и привязать Антона.

В общежитие она добралась поздно, когда девчонки уже укладывались спать. Напилась не успевшего остыть чаю — кипятку, подкрашенного кофейным суррогатом, подслащенного кристалликом сахарина. Погрызла оставленную для нее Леной окаменелую галету. Чтобы не мешать остальным, набросила на матовый плафон лампы темный платок, оставив открытой небольшую, направленную на ее кровать полоску света, и легла прямо на одеяло, не раздеваясь, взяв с тумбочки лежавшую поверх других книгу. Она оказалась всего-навсего учебником по истории музыки, но Люся не стала ее менять, открыла наугад в середине, попробовала читать и не смогла. Ей вспомнилось, как в начале месяца Антон зашел и положил им на стол большую мясистую горбушу, улыбаясь при этом так счастливо, словно собственноручно выловил ее в городском пруду.

Спросил:

— Картошка у вас найдется?

И, услышав неуверенное «найдется», распорядился:

— Сварите уху, позовите меня в гости.

Это был царский подарок, и они не сразу решились его принять. Пытались вернуть рыбу обратно. И только когда Антон сказал «Отказываетесь? Тогда отнесу Родиону Ильичу», торопливо забрали приношение, засуетились, зазвенели кастрюлей, побежали к жене коменданта просить лавровый лист.

Получилась отменная уха. Все девчонки наперебой подкладывали Антону самые большие куски. А он смеялся и закрывал тарелку руками. И наконец, прихватив тарелку, сбежал от них к подоконнику и стыдил оттуда хозяек за плохую сервировку стола и отсутствие крахмальных салфеток. Наелись они тогда досыта.

Теперь Люся с ужасом подумала, что горбушу он принес... от Маруськи. И вспомнила еще несколько случаев его щедрости, безусловно, подозрительной для студента, жившего на скудный студенческий паек, на сти-

пендию, равную по рыночным ценам одному кирпичику черного хлеба.

Люся отложила книгу. Решительно встала, пригладила растрепавшиеся волосы и уже менее решительно прошла до комнаты Антона.

Постучала.

Он сразу открыл, и она остановилась на пороге, несколько растерявшись.

Постаралась совладать с собой и сказала как могла спокойнее:

— Я... хотела узнать... который час?

Антон привычным жестом высвободил запястье из обшлага гимнастерки, взглянул на часы.

— Без двадцати двенадцать.

С любопытством посмотрел на Люсю.

— Ты почему не спишь?

— Не хочу,— сказала она упрямо и вызывающе, стыдясь нелепости своего визита и все-таки продолжая стоять в дверях.

Он не пригласил войти, вообще не сказал ничего. Стоял раздумывая. Потом еще раз взглянул на часы и снял с гвоздя шинель.

— Ты куда уходишь? — спросила она покачнувшимся и сразу же выпрямившимся голосом.— Куда ты уходишь каждую ночь?

Он стоял, держа в руках шинель. Люся спрашивающе молчала.

Так с шинелью в руках он вышел в коридор, закрыл дверь.

— Почему?..— она хотела спросить, почему он скрывает от нее... Но не могла больше говорить. Закрыла рукой задрожавшие губы, метнулась к своей комнате.

— Ты в самом деле не хочешь спать? — спокойно, словно не замечая ее состояния, спросил Антон. И она остановилась в дверях, с надеждой и страхом оглянулась на него.

— Не хочу.

— Одевайся!

Не сознавая, зачем она это делает, Люся схватила с вешалки пальто, сдернула с лампы платок, выскочила к Антону.

— Свет погаси,— сказал он спокойно, надевая шинель, и в спокойствии этом ей послышалась отчужденность.

Люся вернулась, щелкнула выключателем и осталась стоять в темноте у стены, недоумевая: куда она собралась идти?

Ей было слышно, как в коридоре за дверью ее ждал Антон. Как он зажег спичку, видимо, закурил, и нетерпеливо прошелся взад-вперед около их комнаты. Ей казалось, что они стоят вот так — разделенные стеной и дверью — очень давно, и она никогда не выйдет к нему, а он так и уйдет, не позвав ее.

Антон прошелся еще — нетерпеливо, нервно, и, остановившись вплотную у двери, тихо постучал.

Она замерла.

Он открыл дверь и позвал:

— Люся!

Она промолчала, только еще плотнее прижалась к стене.

Он шагнул в комнату и, словно видел в темноте, сразу взял ее за руку и вывел в коридор. Так же — за руку — повел по улице, а она слегка отставала, и тогда он крепче сжимал руку и тянул ее, как капризного ребенка. Не оправдывался, не заговаривал. Она тоже ни о чем не спрашивала.

Подошли к консерватории, свернули за угол к воротам, ведущим во двор. И навстречу им от ворот шагнула Маруська в белом пуховом платке, повязанном поверх пальто.

Люся невольно остановилась, выдернула свою руку из ладони Антона.

А Маруська заступила им дорогу, поиграла концами платка и сказала укоризненно:

— С опозданием, Антон Николаевич!

— Нет,— возразил он.— На две минуты раньше.

Люсе был отвратителен этот их разговор, ей хотелось убежать, но Антон опять крепко взял ее за руку.

— Помощницу привел? — заметила ее Маруська. И засмеялась.— Мала больно.

И вдруг спохватилась, сказала им обоим:

— Здравствуйте.

— Здравствуй, Мария,— дружески ответил Антон.

А Люся под Маруськиным взглядом почувствовала себя действительно маленькой. И слабой. И несчастной. Почувствовала себя в нелепой, оскорбительной зависимости от того, что сейчас еще скажут друг другу Антон и Маруська.

Но они ничего больше не сказали. Маруська, давая

дорогу, отошла от ворот, а Антон завел упирающуюся Люсю во двор. Там было совершенно темно, только из раскрытой двери подвала падала на ступеньки полоса неровного, дрожащего света. И угадывалась внутри гудящая жаркая топка котла.

Антон подвел Люсю к ступенькам, ведущим в подвал.

— Вот сюда я и хожу. По ночам...— Притянул ее за плечи, обнял. Рассмеялся.— А ты думала?..

— Антон? — спросил голос из дверного проема.— Ты?

— Я, Платоныч,— отозвался Антон.

Платоныч поднялся из подвала, но, увидев его с Люсей, повернул обратно.

— Не тороплю. Не беспокойся.

— Только не говори никому,— попросил Антон.— А то до Веры Генриховны дойдет. Кроме Михеева да тебя, никто из наших не знает.

Люся уткнулась лицом в его шинель — грубую и шершавую — и улыбалась, и ничего не хотела говорить. Антон погладил ее по голове, оторвал лицо от шинели и поцеловал в щеки, в глаза, в нос. Потом нашел губами мочки ушей и одну за другой поцеловал их. Люсе стало щекотно и смешно. Она замотала головой. Антон снова поймал губами ее ухо, тихонько поцеловал и сказал шепотом:

— Я тебя, конечно, люблю. Слышишь?

Люся приподнялась на носки, дотянулась до Антонова уха и тоже сказала шепотом:

— Слышу.

И тогда он резко, больно, словно не совладав с собой, прижал ее к себе и поцеловал так, что оба они задохнулись. И долго потом стояли, обнявшись, не в силах отойти друг от друга.

— Платоныч! — позвал Антон, и Люся услышала, как перехватило у него горло.— Я сейчас,— кивнул он и сбежал в подвал.

— А мне можно?

— Не надо,— обернулся Антон,— здесь грязно.

Но Люся все-таки спустилась следом и остановилась в дверях.

На нее пахнуло жаром, и она захлебнулась горьковатым, едким дымом. Чтобы не закашляться, открыла рот, глубоко вдохнула горячий воздух и ощутила во рту, в горле колкую угольную пыль.

«Да ему же нельзя! — испугалась она и только тут поняла, почему Антон попросил: «не говори в консерватории». Если узнает его педагог по вокалу...»

Антон протянул Платонычу папиросы. Тот взял две. Одну сразу же ловко кинул в рот, прижал обведенными угольной пылью губами. Другую заложил за ухо. Сказал:

— В долгу не останусь.

Прихватил обгоревшую с одного конца длинную лучину, добыл ею огонь из топки и блаженно раскурил папиросу.

— Платоныч,— попросил Антон.— Ты уж извини: девушку вот сейчас провожу и вернусь. Полчаса, не больше. Я тебя завтра раньше сменю.

— Валяй! — благодушно разрешил Платоныч.— Дело молодое.— И, покачиваясь на коротких ногах, одетых в резиновые чуни и стеганые матерчатые бурки, отошел ко второй топке.

— Не надо провожать,— тихо, чтоб не слышал Платоныч, сказала Люся.— Я с тобой... Мне даже интересно.

— Ну нет! —возразил Антон, и Платоныч, уловивший, о чем речь, покровительственно поддержал его.

Люся постеснялась настаивать, хотя уходить от Антона ей совсем не хотелось. И задерживать уставшего старика тоже было неловко.

— Я одна добегу,— решилась она.— Мне не страшно.

— И бегать не надо! — неожиданно зазвенел в котельной Маруськин голос.— И в аду этом торчать ни к чему! Айда, у меня переночуешь.

Она прошла мимо Люси, крикнула:

— Кочегарщики! Огонька дайте!

И сама той же длинной лучиной взяла из топки огонь ловко, привычно — видно, была здесь, в котельной, частым гостем. А закурила неумело. Закашлялась.

— Табак переводишь,— проворчал Платоныч и даже отвернулся, чтобы не видеть, как сгорает в ее накрашенных губах хорошая папироса.

— Не твой. Собственный,— беззлобно огрызнулась Маруська и подошла к Антону.

— Ну, дак чего?

— Не знаю,— замялся тот.— Удобно ли?

— Удобно! — заверила Маруська.— Места хватит.— И только тогда обратилась к Люсе:

— Пойдешь?
— Не знаю,— замялась и она.
— Зато я знаю,— решила за них Маруська.— С работы сменишься — в окно стукнешь,— бросила она Антону и, выходя из подвала, прихватила Люсю за рукав: — Айда, что ли!
— Я пошла! — только и успела крикнуть Люся Антону.
— Спокойной ночи! — отозвался он, уже скинув и шинель и гимнастерку.
— Он бы тебя стесняться стал,— сказала Маруська, когда они поднялись во двор.— Работа-то трудная.
И Люсе понравилось, как она это сказала — просто и доверительно. И как, приглашая ночевать, обращалась не к ней, а к Антону, уверенная, что тот должен решать за нее.
Люся шла за Маруськой по темному замусоренному двору и представляла себе, как утром снова увидит Антона. Очень важно было увидеть его скорей.
Комната у Маруськи была маленькая и удивительно чистая. Льдистой голубизны потолок, такие же стены, белые занавески на единственном, будто только что вымытом, окне и высокая железная кровать с кружевным подзором до самого пола и крахмальными, расшитыми чехлами на спинках. Горкой лежали прикрытые накидкой пышные, сдобные подушки, а розовое пикейное покрывало было застлано без единой морщинки.
— Есть хочешь? — спросила Маруська, когда Люся сняла пальто и осторожно повесила его на самодельную — гвоздики на деревянной планке — вешалку.
Люся не знала, хочет она есть или нет, но отказалась.
— Ну, смотри,— сожалеючи пожала плечами Маруська, давая этим понять, что угостить гостью у нее есть чем.
Она сняла и аккуратно сложила покрывало, взбила подушки. Довольная, обернулась к Люсе. И вдруг заметила, с каким замешательством, даже страхом смотрит та на богатое двухспальное Маруськино ложе. Изменилась в лице, бросила резко:
— Не думай! Я тебе на кушетке постелю.
И начала раздеваться. А Люся сразу почувствовала себя здесь неуютно и одиноко. Села на краешек стула и, стараясь не смотреть в сторону пышной кровати,

принялась разглядывать фотографии и открытки, кнопками прикрепленные к стене. Но места в комнате было так мало, что она не могла не видеть Маруську, а та раздевалась, ничуть не стесняясь ее, словно бы даже хвастаясь своим телом. Наконец она постелила и на кушетке и только тогда задернула занавески. Сказала Люсе:

— Ложись. Чего присмирела?

И, звякнув цепью, подняла гирю ходиков.

Сама она легла не сразу. Достала из комода какой-то лоскут, с треском разорвала его на узкие полоски и накрутила на них волосы. Сверху повязала косынку. Потом посидела на кровати, задумавшись, сняла с себя медальон, потерла его краем простыни и раскрыла. И стала рассматривать то, что было внутри, так внимательно, будто видела это впервые. Потом закрыла медальон, положила его под подушку и как-то странно глянула на Люсю, словно удивилась ее присутствию.

Шел уже второй час ночи, когда они погасили свет, и Люся подумала, что Антону там, в кочегарке, и жарко, и душно, а угольная пыль вредна для голосовых связок. Представила, как он огромной совковой лопатой кидает в топку каменный уголь, и от внезапной догадки даже села в постели.

— Марусь! Да ведь у него же рука больная!

— Ну, да,— согласилась Маруська.

— Как же он?

— Приспосабливается. Говорит, для руки даже хорошо. Тренинг, что ли?

«Да откуда ты знаешь?» — хотела возмутиться Люся, но сдержалась и только сказала: — И зачем это ему вздумалось? Устает. Голос еще испортит.

— А ты небось с папой-мамой живешь? — язвительно откликнулась с высоких подушек Маруська.— Обедаешь каждый день?

Люся осталась сидеть, только натянула на озябшие плечи одеяло. Отца у нее давно не было, а мать работала медсестрой в подмосковном госпитале. Однако старшая сестра как могла помогала Люсе.

— Думаешь, четыреста граммов чернушки для молодого мужика — еда? А приварок этот столовский? В мирное время бездомный кобель есть не станет.— Она помолчала, прислушалась.— Спишь, что ли?

Люся шмыгнула носом. Говорить она не могла.

— А теперь — рабочая карточка. Трудно, конечно,

зато сытнее. Перебьется. Ты хоть знаешь, что он учебу бросать хотел?

— Не знаю,— испугалась Люся.— Почему?

— Да все потому. Придет на урок по пению, а его эта ваша старая учительница и спрашивает: «Ел сегодня»? — «Нет,— говорит,— не успел». А какой там «не успел»,— нечего было утром-то поесть. Она в авоську лезет, вынимает кастрюльку: «Пока не съедите, заниматься не будем!» Он — ни в какую. Она — чуть не в слезы. Когда желудок пустой — диафрагма не держится,— со знанием дела пояснила Маруська.— Дыхание получается короткое. Не споешь так, как надо.

— Боже мой! — только и могла произнести Люся, ошеломленная и тем, что рассказала Маруська, и тем, что она все это знала, имела какое-то право на сочувствие и, быть может, чем-то помогала Антону.

— Однако спать давай,— категорически рассудила Маруська.— Мне в семь часов заступать.

— Давай,— потерянно откликнулась Люся.

Маруська круто, шумно повернулась, пружины отозвались тоненьким, звонким скрипом. Не жалобным, а скорее веселым, как будто радостно им было покачивать и беречь красивое Маруськино тело.

А Люся осталась сидеть в каком-то тревожном оцепенении. Ей совсем не хотелось спать, не хотелось даже двигаться. Она была и счастлива, и несчастлива. И Антон был ей удивительно близок, необходим и в то же время неразгадан. Она верила ему сейчас больше, чем самой себе. Но Маруськина осведомленность сбивала ее с толку и ставила под сомнение даже то, в чем сомневаться было нельзя.

— А ты давно его знаешь? — не сдержавшись, спросила Люся, и Маруська опять круто повернулась и даже приподнялась в постели, а чуткие матрасные пружины снова развеселились.

— Давно. Еще когда он в госпитале из окна пел.

Они обе помолчали. Люся — испуганно, ожидающе. Маруська — наслаждаясь ее смятением.

— Больше меня не буди,— притворно рассердилась она. Однако не выдержала: — Ладно уж!.. Не подумай чего. Лейтенант тут один ко мне ходит. Из госпиталя. Дружок его. Так он и рассказывал.

...Весеннее солнце все еще грело руку. А квадраты и ромбики на диванной обивке тепло золотились и словно бы оживали. Люся подумала, что Антон, наверно,

вернулся, и встала, чувствуя себя так, как будто и в самом деле только проснулась, только что очнулась от тяжелого, беспокойного сна. Не дожидаясь, когда ее позовут, пошла домой и, едва открыв дверь, поняла, что он действительно дома. Не потому, что на вешалке висело его пальто, а по веселому, шутливому настрою голосов, заполнивших теперь всю квартиру. Она заглянула в комнату, где оставляла притихших, подавленных, говоривших полушепотом гостей, и увидела, что окно раскрыто настежь; шторы, как парус, полны упругим ветром, и солнце хозяйничает вовсю, высветляя стены, углы, вещи. А по веселому, праздничному паркету бегает, ухватив кусок колбасы, разбуженный и потому недовольный Василь Василич.

Навстречу Люсе кинулась Алена. Обняла ее молча, поцеловала.

Подошел Антон, быстро, внимательно глянул в лицо, развел руками:

— Не дали тебя разбудить...

Она попыталась что-нибудь прочесть в его глазах — надежду, тревогу, крушение надежд — и ничего не прочла. Глаза смеялись, весело, ободряюще говорили с ней. Любили ее.

Она побоялась спросить его о самом главном и только старательно улыбнулась.

— Давно пришел?

— Минут двадцать...

— Поел?

— Погоди.

И заговорщически вывел ее из комнаты.

— Не знаешь, кто этот полковник?

Люся была рассеяна, когда Виктор представлял ей гостя, и сразу же забыла фамилию.

— Они там все в заговоре. Молчат. Велят самому узнать. Он один пришел? Назвался тебе?

— Нет. Его привел Виктор.

Антон посерьезнел.

— Или разыгрывают, или...

Он не договорил, ушел к гостям, но тут же вернулся, подталкивая впереди себя упирающегося Михаила, и распорядился торжественно:

— Люсёныш! Бери Мишку в подручные, иди жарь бифштексы!

— Откуда они у меня?

— В холодильнике. И потом огурцы из карманов

вытащи. В пальто. И скажи, что я молодец. Полчаса в очереди выстоял. Знал, что у вас тут пьянка.

Даже ей стало весело. Она подхватила под руку Михаила, надела ему на кухне фартук, вручила нож и приставила к сковороде караулить, чтобы бифштексы не пережарились. А сама налила молоко прибежавшему на запах мяса Василь Василичу и начала накрывать в комнате большой стол — обстоятельно и продуманно, как это делала только по праздникам.

Она расставляла тарелки, рюмки, звенела ножами и вилками и слушала, как подтрунивал Антон над Аленой, как Виктор рассказывал старый-старый, «бородатый» анекдот и с удовольствием сам над ним посмеялся. А потом внезапно наступила какая-то неестественная, многозначительная тишина, и Люся оглянулась на гостей.

Незнакомый полковник и Антон — оба очень серьезные — стояли друг против друга посреди комнаты, и глаза их, встретившись, словно высекали невидимую вольтову дугу: так велика была сосредоточенная в их пристальных взглядах сила угадывающей, вопрошающей мысли.

Виктор подошел к Люсе, взял из ее рук вилки, положил на стол и остался стоять рядом, обеспокоенно, стерегуще наблюдая за полковником и Антоном. Геннадий, собравшийся куда-то звонить, теперь стоял, изумленно глядя на них, и трубка в его руке надоедливо, монотонно гудела. Встревоженная Алена выпрямилась в кресле и готова была вот-вот тоже подняться.

— Антон! — не выдержал Виктор.

Но тот отстраняющим жестом остановил его. Сказал полковнику тихо, одними губами:

— Младший лейтенант. Из училища...

Полковник молчал, отвечая только глазами, и Антон еще какую-то долю секунды смотрел на него и, окончательно утвердившись в догадке, повторил:

— Младший лейтенант... Шатько.

И оба они одновременно раскинули руки, обнялись крепко и молча, и лица при этом оставались напряженными, даже строгими.

Отпустили друг друга и обнялись снова. А потом, пряча глаза, оба бросились за сигаретами. Затянулись торопливо, нервно и лишь после первых затяжек снова посмотрели друг на друга и тогда заулыбались, загово-

рили, зашумели. И радостное, нервное их возбуждение передалось всем.

— Как ты здесь? Откуда? Где остановился? — забросал Антон полковника вопросами, и тот едва успевал отвечать.— В гостинице? Останешься у нас! Завтра свободен? Отлично.

И начинал:

— А ты помнишь?..— и тут же обрывал себя: — Потом. Ладно. Люсь! Постелешь нам обоим в Санькиной комнате — всю ночь будем говорить. Виктор, оставайся и ты. Не можешь? Ну, шут с тобой! Без тебя даже лучше...

В той же самой комнате сидели те же самые люди. И то же несчастье связывало их мысли. Но все теперь было по-другому. Применительно к Антону несчастье казалось опасным, но все-таки слабым врагом, не способным одолеть — не способным даже надломить! — мощную, полную жизни, богатую и щедрую его натуру. И потому теперь даже Геннадию были нелепы его собственные слова: «Потерял... Антон потерял голос». Конечно же нет! Не потерял. Отдал... Подарил... Раздарил людям. Щедро и радостно, не заботясь о том, насколько его хватит. И от прикосновения к его бескорыстному таланту кто-то, быть может, стал чище. Кто-то — счастливей. Кто-то — добрее... Но и это не все. Ведь Антон талантлив не только голосом. И, значит, щедрости его не настал конец.

Геннадий не удивился своему открытию. Не удивился и тому, что вечно жившая в нем зависть к Антону не умерла со смертью Антонова голоса. Она, как цепкая, долгая болезнь, укоренилась в Геннадии так прочно, что могла умереть только с ним вместе. И, чтобы успокоить ее, оказалось недостаточно радости от сознания исполнившейся мечты. Да, он не будет больше дублером. Не будет числиться во втором составе, и отныне все премьеры, все аплодисменты и цветы будут его...

Геннадий разволновался настолько, что не мог спокойно сидеть, делать вид, что участвует в разговоре. Налил себе в кофейную чашку ликеру и, удивив всех, торопливо выпил один.

...Да, он не будет больше во втором составе их театральной труппы! Но так же, как Антон, потеряв голос, остается талантливым, он, Геннадий, обретя место премьера, остается... во втором составе. Он знал теперь

это совершенно точно. Знал, что не только в театре, в самой жизни есть люди первого и второго состава. Они сами поступками своими, помыслами, чувствами причисляют себя к одному из них. И перейти из второго в первый в жизни много трудней, чем в театре.

Где, когда, почему он определил себя в этот «второй состав»? Как сделал первый к нему шаг? С чего началось это? Может, с той самой брони, хранившей его все военные годы? Может, с того дня, когда провожали на фронт так и не вернувшуюся домой Зойку? Может, еще раньше?

— Я пойду! — резко поднялся он и сдвинул, почти отшвырнул ногой помешавшее шагнуть кресло.

— Будем обедать! — остановила его Люся.

— Я пойду! — повторил Геннадий и прошел мимо нее.

— Поешь и пойдешь,— рассердилась Люся.

— Не приставай,— тихо сказал Антон и вышел за Геннадием.

— Волнуешься?

Тот кивнул.

— Репетиция была?

Тот кивнул снова

— Я через пару часов приду — пройдем второй акт. он трудный! Люсь! — вернулся он из прихожей.— У тебя вечером в театре что есть?

— Урок с Белопольской. В восемь пятнадцать.

— Пойдем пораньше — Генке поможем.

И категорически, весело заявил Шатько:

— Тебя с собой заберем. Идет?

Геннадий ушел. Все сели за стол, и Люся, немного подумав, убрала оказавшийся лишним прибор.

Михаил принес с кухни на большом блюде исходящие жаром и ароматом бифштексы. Рядом с жареной румяной картошкой и нежной зеленью парниковых огурцов они были великолепны, как с натюрморта кисти настоящего мастера. Михаил заправским официантом обошел всех, орудуя одновременно ложкой и вилкой, разложил бифштексы в тарелки. Рюмки уже были полны.

— За что? — покосился на свой коньяк Виктор.

Ему не успели ответить: зазвонил телефон.

Антон вздрогнул, рванулся к трубке, и все поняли, что он ждал звонка.

Сказал напряженно:

— Да. Слушаю.

И через паузу, очень медленно:

— Хорошо. А когда?

Потом долго молча слушал, и напряжение не исчезало, а в уголках рта появилась едва заметная горькая улыбка.

— Я верю в чудеса. Они бывают на свете. Иногда...

Он кинул мгновенный, какой-то растерянный взгляд на Люсю, и она сразу насторожилась, словно бы защищаясь, вскинула к груди руки. Но Антон улыбнулся успокаивающе. И Люся невольно тоже улыбнулась.

— Рискнем, конечно,— сказал Антон в трубку как-то слишком торопливо, вроде бы не дослушав.— Да, да. Понял. Во вторник. После двенадцати...

Он осторожно положил трубку и медленно провел рукой по гладкому аппарату. Вернулся к столу.

Поймал взгляд Люси, сказал ей:

— Зоя Сергеевна.

И, заметив, как все беспокойно и ожидающе на него смотрят, пояснил:

— Будет оперировать.

Сел на свое место и как ни в чем не бывало обратился к жене:

— Люська! А хлеб?

Она поднялась из-за стола, но не уходила. Ждала от него еще что-то. И он сказал легко, весело, словно это не имело к нему отношения:

— Рядовые врачи иногда решительнее светил. Им легче прощают ошибки. Так за что же мы выпьем?

И взял рюмку.

Алена открыла рот, намереваясь что-то сказать, но раздумала и только незаметно вздохнула.

— За то, что...— начал было Шатько, и все повернулись к нему.

И тогда он поднялся — высокий, прямой, с молодым еще, но усталым лицом, где-то успевший загореть на раннем весеннем солнце.

— Как ты сказал, Антон? Бывают на земле чудеса?.. Вот за это.

Они встретились взглядами, понимающе кивнули друг другу, и Антон согласился:

— Можно.

И пока все поднимали рюмки, пока пили и торопливо закусывали, пока никто не смотрел на него, Антон успел подумать, что чудо, наверное, не состоится. Но

если бы оно произошло... Он обязательно отыскал бы старые ноты и спел ту песню из далеких ушедших лет, когда Санька был еще маленьким, а белобрысая Алена, влюбившись в преподавателя физики, тайком от всех стала красить свои коротенькие бесцветные ресницы. Ту песню, о которой просила Люся: «Ну, спой. Выучи. Для меня». (Она больше никогда не говорила так: «для меня».) Он тогда весело отмахивался, обещал и забывал. А вот теперь, кажется, ничего не желал сильнее, чем обрести голос хотя бы только для этой — одной-единственной песни. Он помнил из нее только слова: «...еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена».

# РАССКАЗЫ

## САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ИЗ НАС

Мы вместе живем в студенческом общежитии: я, Рита, Зоська и Валентина. Живем в одной комнате, учимся на одном курсе. За четыре года мы очень свыклись, сдружились. Каждая знает все о своих подругах. Письма из дому мы читаем вслух, посылки открываем торжественно, когда все в сборе, лакомимся домашней снедью поровну. Мы вместе готовимся к семинарам и экзаменам, читаем — по кругу — одни книги, всей комнатой бегаем в кино. А когда получаем стипендию — обязательно отправляемся в кафе и заказываем на четверых неповторимо вкусный торт из мороженого.

Вечером к нам заходят ребята — однокурсники. Заходят, чтобы попросить конспекты лекций или чаю для заварки. И не уйдут, не поговорив с Зоськой... о поэзии. Это чтобы подразнить ее. Разговора такого Зоська как огня боится. Еще на первом курсе оставила она случайно в аудитории заветную свою тетрадь — толстую, в клеенчатом переплете. Даже мы не знали прежде о существовании этой тетради, не догадывались, что Зоська пишет стихи.

Ленька Попков, которому попала тетрадь в руки, не только прочел ее всю, от одной клеенчатой корки до другой, но даже выписал себе целые страницы, вызубрил стихи наизусть и распевал на мотивы популярных песен. Конечно, он рассказал о тетради всем ребятам. Да если бы только рассказал... Он устроил у себя в комнате коллективную читку и потом что-то вроде читательской конференции. А в комнате у Леньки — восемь человек. Да еще из соседних ребята набрались.

Зоська как узнала обо всем этом — убежала из общежития и три ночи у своей двоюродной тетки ночевала. Хоть кто на ее месте убежал бы. Стихи-то ведь были любовные. Только для себя написанные. И как раз этому самому Леньке больше половины посвящено было...

Ровно в двенадцать мы выставляем ребят за дверь. Валентина выключает радио и гасит свет. Ее кровать

дальше других от штепселя, но выключает радио и свет непременно она. Потому что никто из нас троих этого не сделает. В двенадцать не хочется еще спать, а по радио передают ночью такие интересные концерты!

Очутившись в постелях, мы обязательно сначала помолчим, а потом кто-нибудь не выдержит и заведет разговор. В темноте мы больше всего говорим... о любви. Рита начинает расхваливать преподавателя политэкономии Степана Антоныча, от которого она без ума и которого я, Зоська и Валентина ненавидим за строгость. Потом Валентина своим спокойным грудным голосом обязательно скажет что-нибудь очень хорошее о своем Борисе. И еще добавит, что любовь — это самое что ни на есть дорогое, прекрасное чувство. Именно оно делает человека счастливым.

Валентина говорит о любви тепло-тепло, и мы знаем, что при этом она хорошо, светло улыбается.

Каждый раз ее возмущенно перебивает своим резким пронзительным голосом Зоська. Зоська теперь никого не любит, а Леньку Попкова «презирает за подлость». Волнуясь и раздражаясь, она кричит, что парни все дряни, хвастуны и обманщики, что не под силу им такое большое чувство, как любовь. Что любить их не за что и она никогда в жизни никого, кроме мамы и нас троих, не полюбит.

Наконец распалившаяся Зоська гневно умолкает, и я чувствую, что тоже хочу сказать о своем...

Ко мне почему-то подруги относятся несерьезно. Я знаю об этом и всякий раз робею перед тем, как решусь сказать им о самом сокровенном. Бывает, и совсем промолчу. В таком случае они сами спросят:

— Ну а тебе, Тоська... Кто опять понравился?..

Я открываю душу. Говорю честно, что понравился теперь комсорг с исторического факультета, что, конечно, он красивее и умнее Жени Мохова и если пригласит меня когда-нибудь в кино или театр, непременно пойду.

Мне никогда не дают договорить до конца. Зоська срывается с постели, перебегает ко мне и под самым ухом начинает заклинать:

— Господи! Девочки! Ну посмотрите на эту дуру!..

В комнате темно, и посмотреть на меня, конечно, невозможно.

— Что ты, Тоська, за человек?! — не унимается Зоська и протягивает руку к самому моему носу.— Как ты,

мерзавка, можешь семь раз на неделе влюбляться!..

Я отстраняю лицо, потому что Зоська, если взволнована, отчаянно жестикулирует.

Она опять наступает, опять кричит, что я дура и что благодаря таким, как я, наши институтские парни слишком много о себе думают.

Я лежу у самой стенки, помалкиваю и с нетерпением жду, когда наконец Зоська устанет кричать и оставит меня в покое. Но Зоська — самая говорливая и крикливая из нас. Если ее не остановить, может, наверное, до утра ругать, стыдить и размахивать руками перед моим носом.

— Зоська! — говорит наконец Валентина.— Иди к себе. Не мешай спать.

Она говорит это и спокойно, и властно. Так, что ослушаться нельзя. Зоська поднимается с моей кровати и, шлепая босыми ногами, бредет к себе, в дальний угол комнаты.

Больше уже никто не произносит ни слова. Я даже стараюсь не дышать — будто сплю. А то Зоська опять может привязаться.

После такого разговора мне всегда становится грустно и одиноко. Во мне поднимается обида на девчат, и я даю себе слово не рассказывать больше им о своих сердечных делах.

А утром Зоська первая о чем-нибудь меня спрашивает, сама наливает чай, намазывает мне булку маслом и разрешает — если я действительно пойду когда-нибудь с комсоргом в театр — надеть ее модный спортивный костюм с тремя замками-«молниями» на курточке.

Я пытаюсь отвечать как можно сдержаннее, замечаю, между прочим, что в спортивных куртках, на сколько бы замков они ни застегивались, в театр идти неприлично. Налитый Зоськой чай пью будто нехотя и оставляю недопитым... Но когда Зоська за пять минут до начала лекции начинает рыться в тумбочке и не находит там тетрадей, учебников, авторучки,— мне становится ее жалко. Я бросаюсь по очереди ко всем другим тумбочкам, перерываю их вверх дном и обязательно нахожу все Зоськины вещи. На то, чтобы отругать ее за неаккуратность, уже не остается времени. Мы бежим через двор в учебный корпус и с улицы слышим заливистый нетерпеливый звонок.

Рита и Валентина давно в аудитории. Они уходят вдвоем, не дожидаясь нас, и всякий раз, когда мы опаз-

дываем, возмущенно шепчутся и бросают на нас уничтожающие взгляды.

Так мы и живем. Вернее, так мы жили прежде до нынешней осени. В сентябре, в первые дни занятий, у нас произошло вот что.

Утром, когда мы с Зоськой еще пили чай, а Валентина и Рита собирались идти в институт, в дверь громко постучали. Рита открыла, вышла в коридор и тут же весело крикнула:

— Валентина, пляши! Телеграмма...

Валентина тоже вышла в коридор, потом вернулась сияющая. Положила на ближайшую к двери кровать книги, спокойно раскрыла телеграмму и переменилась в лице. Потом испуганно взглянула на нас и, как была — без книг, без шапки,— выбежала на улицу.

Мы растерялись. А когда выбежали следом, Валентины во дворе уже не было. На лекциях в этот день ее не было тоже.

Она вернулась домой ровно в двенадцать и, не взглянув на нас, сразу же выключила радио, погасила свет. Пальто сняла в темноте, на ощупь прошла к своей кровати, разделась и, не обронив ни слова, легла. Мы тоже промолчали и уснули на этот раз, так и не поговорив о любви.

Утром Рита напрямик спросила Валентину:

— Что в телеграмме?

Валентина долго молчала, и мне представились в это время самые ужасные картины. Тяжело заболела мама... Попал под трамвай ее младший шустрый братишка... Умер Борис!.. При этой мысли я ощутила вдруг такой холод, что схватила со спинки стула Зоськин шерстяной платок и закутала в него плечи.

Валентина молчала, и Рита с мольбой в голосе упрашивала ее:

— Скажи, не скрывай от нас... Может, помочь сумеем...

— От кого... телеграмма? — вставила осторожно Зоська.

Валентина опустила глаза.

— От Бориса...

Мне стало еще холоднее.

— Ну?..— чуть слышно проговорила Рита.

Валентина с трудом подняла голову и так же, с трудом, улыбнулась.

— Что «ну»?.. Пишет: приеду скоро...

Валентина прятала от нас глаза, и мы чувствовали, что она нас стесняется, боится расспросов. Даже любопытная Зоська и та смолчала. Я видела, каких усилий ей это стоило.

Возникла неловкая пауза, и, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Рита громко и чересчур заинтересованно спросила Валентину:

— У нас по политэкономии лекция сегодня или семинар?

Мы все четверо прекрасно знали, что семинар. Рита сама накануне весь вечер в читальном зале готовилась.

— Ой, правда, ведь семинар! — как бы спохватилась Валентина.— А я чуть конспекты не оставила...

Тетрадь с конспектами лежала у нее под руками, и, конечно, она не забыла бы взять ее.

Дипломатический ход удался. К разговору о телеграмме мы больше не вернулись. Валентина посмотрела на нас благодарным взглядом. Поправила перед зеркалом волосы, накинула плащ и, как всегда, дождавшись Риту, ушла на лекции.

Только закрылась за ними дверь — Зоська всплеснула руками.

— Ты подумай: приезжает! А на Валентине лица нет. Будто не радость, а несчастье свалилось на нее. Странная...

Действительно, Валентина вдруг стала совсем другой, странной... Прежде она все-все рассказывала нам о себе и своем Борисе. Рассказывала теплым, спокойным голосом. Читала нам письма Бориса и даже свои письма к нему.

Мы знали, что встретилась с ним Валентина два года назад в Горьком, когда проходила там практику. Они жили в одной гостинице. Часто виделись. Познакомились и стали вместе проводить длинные летние вечера. Катались в воскресенье по Волге, уезжали купаться на Моховые горы.

Валентина рассказывала нам тогда в письмах о хорошем товарище, интересном человеке — Борисе Петровиче Черных. Расхваливала его прекрасную профессию архитектора, восхищалась умением Бориса держаться с людьми, его порядочностью, неподдельным вниманием к ней.

Потом вдруг Валентина перестала упоминать в письмах имя своего нового знакомого, и мы поняли, что она — влюбилась. Стала писать нам коротенькие

записочки с восторженными фразами о хорошей погоде, прекрасной Волге, интересной практике.

Обычно сдержанная и далекая от сентиментальностей, она называла нас ласковыми именами, пересыпала коротенькие письма множеством восклицательных знаков, а в конце обязательно писала «целую» и еще какие-нибудь нежности.

Вернулась Валентина из Горького светлая, восторженная, счастливая. Всех нас расцеловала, всем преподнесла подарки. Такой мы ее никогда прежде не видели. Я подумала даже, что от дружбы с Борисом в ней, Валентине, прибавилось душевной щедрости.

Рита тогда посмотрела пристально в искрящиеся Валентинины глаза и добродушно покачала головой:

— Девочки! Да ведь с ней что-то случилось...

— Слу-чи-лось! — весело согласилась Валентина.— Ой, что случилось!..

И она рассказала нам тогда о своей любви. О Борисе.

Такое случилось с Валентиной впервые. Гордая и самолюбивая, она иронически относилась к ухаживаниям наших институтских ребят. Была доброй и внимательной к товарищам и круто менялась, доходила до грубости в отношении к тем, кто пытался перешагнуть черту товарищества.

Я обвиняла Валентину в черствости и бессердечии, доказывала, что поступает она эгоистично. Я и до сих пор считаю, что нельзя не щадить хороших человеческих чувств, надо обходиться с ними осторожно и бережно. Конечно, девчата над этими моими убеждениями только смеются. На тебя, говорят, случайно кто-нибудь взглянет, а ты потом всю ночь не спишь. О любви фантазируешь...

Меня удивляло, что Валентина как-то уж слишком дорожит своим будущим, не появившимся еще чувством. Словно лишь кто-то один во всем мире достоин будет ее внимания, ее любви. И этот единственный человек должен быть особенным: умным, талантливым, красивым, мужественным... По крайней мере, не таким, как ребята с нашего курса. Я считала, что такого человека ей не встретить, и в душе очень жалела подругу. Плохо ведь, если она проживет всю жизнь не любя. А Валентина и так старше нас всех. Ей уже двадцать шесть лет.

...Мы с Зоськой подивились странному поведению

Валентины. Решили, что она растерялась и испугалась от счастья. Наверное, бывает так в жизни: ждет человек своего счастья, мечтает о нем, зовет его, видит, какое оно должно быть. А придет к нему это счастье, и окажется вдруг, что оно больше, огромней, чем виделось издали. И человеку вдруг начинает казаться, что не вместится оно, такое, в его сердце. Как перед таким счастьем не растеряться, как не испугаться его!..

Мне кажется, есть даже люди, которые от большого счастья откажутся. Откажутся и возьмут себе маленькое, удобное, на которое другой не позарится, за которое не надо драться, которое просто-напросто... дешевле стоит... Это я не о Валентине говорю. Это я так, к слову.

А ей... ей, по-моему, большое счастье, большое чувство — по плечу.

...На лекцию мы с Зоськой в этот раз опять опоздали.

— Когда же он наконец приезжает? — теребили мы Валентину.

И она всякий раз неопределенно отвечала:

— Скоро... В этом месяце.

Зоська беспокоилась больше других. Выпросила у технички два чахлых цветка и поставила их на подоконник. Купила репродукцию «Неутешное горе» Крамского, вставила в рамку и повесила над кроватью Валентины. Я как глянула на эту репродукцию, так и обмерла. Стоит убитая горем женщина в черном платье и грустными глазами смотрит на нас с Зоськой.

— Ты с ума сошла! — только и проговорила.

— Не выбрала,— тихо сказала Зоська.— Там только одна эта картина и была.

Зоська сама была расстроена, и я не стала ругать ее. Попросила только:

— Сними сейчас же. Видишь ведь — не подходит.

Зоська сняла, и на месте картины осталась черная дыра от вбитого гвоздя. Это было еще хуже. Она стала замазывать дыру разведенным зубным порошком. Штукатурка отвалилась еще больше. Зоська нервничала. И наконец вскипела:

— Подумаешь — не подходит! Это же произведение искусства! Классика!

И она снова повесила «Неутешное горе» над кроватью самой счастливой из всех нас, Валентины Семеновой.

...Зоська еще раз спросила: «Когда?», и Валентина ответила наконец: «Завтра!»

На завтра мы все готовы были встречать Бориса. Поезд из Ленинграда приходил в шесть вечера, а в четыре Зоська уже вертелась у зеркала, примеряя то мой берет, то Ритину шляпку, то свою клетчатую косынку. Она все не могла решить, что ей лучше, нервничала, меняла прическу. Рита не выдержала и зло заметила:

— А ведь ты, Зоська, между прочим, совсем не признаешь мужчин. И понравиться никому не хочешь...

Зоська покраснела, швырнула на стол Ритину шляпку.

Меня возмутили Ритины придирки.

— Человек всегда должен стремиться к красивому. Во всем. Даже в прическе...— вызывающе сказала я ей.— Великий русский писатель Чехов...

— Помолчи! — отмахнулась от меня Рита.— Без тебя знаю!

Я все-таки сказала, что о красоте говорил Чехов. И еще добавила, что Борису, конечно, приятнее будет найти Валентининых подруг привлекательными. А в подтверждение слов надела свое самое красивое платье и даже приколола к нему букетик искусственных фиалок.

Рита тоже, хотя и ворчала, надела новый костюм, а под жакет — исключительно для красоты — голубой капроновый шарфик.

Мы были готовы. А Валентина еще не пришла из института.

Наконец она появилась. Недоумевающе оглядела нас, пожала плечами. А когда поняла, нахмурилась.

— Не надо, девочки. Не ходите со мной.

Мы ее уговаривали, упрашивали, обещали, что будем держаться в стороне, даже к вагону не подойдем. Валентина стояла на своем:

— Я одна... иначе он будет чувствовать себя... неловко.

И мы остались. Рита сняла с себя голубой шарфик и грустно сказала:

— Пожалуй, Валентина права... Получилось бы, что смотрины устроили.

Мы не обиделись на подругу. Мы хорошо знали: Валентина умница, чуткий, тактичный человек. Она делает как лучше.

Зоська взяла из нашей общей кассы денег и убежала в кафе покупать в честь приезда Бориса торт из мороженого. Рита принялась наводить порядок на тумбочках, а я пошла к уборщице тете Кате просить на вечер ее новый чайный сервиз, который три дня назад мы купили ей в складчину на день рождения.

Комната наша давно уже сияла чистотой, стол был накрыт, посредине его стояла коробка с тортом. Мы сидели, смотрели на часы, на двери, на торт, друг на друга. Мы ждали и не могли дождаться.

Часы показали восемь, потом — девять. Зоська сбегала за ворота и вернулась скучная: «Не идут!» Торт потек... Решили, что опоздал поезд.

В десять Рита вывалила из коробки бесформенную массу в глубокую тарелку, и стол сразу утерял свою праздничность.

Валентина пришла в одиннадцать. Пришла одна, с огромным букетом цветов в руках.

Остановилась у двери усталая и, мне показалось, виноватая. Тихо улыбнулась, обняла нас с Зоськой за плечи.

— Хорошие вы мои...

Сказала она это с грустью, и я поняла так: Валентина печалится о том, что неизбежно расставание с нами. Не может же она, выйдя замуж, оставаться в общежитии.

Понемногу мы привыкли к мысли, что Борис в общежитие не зайдет. Решили, что Валентина стесняется показать ему нашу тесноватую комнату, старые кровати, покрытые жесткими «солдатскими» одеялами. А может быть, стесняется и нас показать. Мы с Зоськой, пожалуй, произвели бы невыгодное впечатление... Недаром Рита говорит про нас, что в обществе себя держать не умеем.

За собой я, правда, не замечала такого, а вот Зоська действительно не умеет.

Ну а меня Валентина, наверное, решила заодно уберечь от нового увлечения. Вдруг ее Борис мне понравится...

В общем, получалось, что Валентина нам, лучшим своим друзьям, вроде бы не доверяла. Это было обидно. Но главное — счастье подруги. И перед этим теряли значение всякие там наши обиды и мелкие переживания.

С приездом Бориса Валентина заметно отошла от нас. Она часто уходила из общежития сразу после лекций, а возвращалась поздним вечером. Обязательно улыбающаяся и немного задумчивая. Обязательно с букетом цветов.

Если мы спрашивали, где была, отвечала нехотя и коротко:

— В кино... в парке...

С кем, мы не спрашивали. Было ясно, что с ним, с Борисом. И кто подарил цветы — тоже не спрашивали.

Зоська обычно брала эти цветы из рук Валентины, подравнивала стебли, наливала в стеклянную банку воды и ставила свежий букет на тумбочку перед кроватью нашей счастливой подруги. Те цветы, что были принесены накануне, переставляла с Валентининой тумбочки к кому-нибудь из нас. Таким образом на пятый день после приезда Бориса появились цветы и около моей кровати. Правда, они уже начинали увядать, но даже на такие было приятно смотреть. Приятно... и немного грустно. Мне ведь еще никто никогда не дарил цветов. А цветы — это... очень красиво.

Серые суконные одеяла уже не так безобразили нашу комнату. Каждый, кто входил, прежде всего замечал цветы.

Чтобы выглядели они еще наряднее, Зоська купила в универмаге красивую фарфоровую вазу. Купила, не спросив нас, хотя деньги взяла из общей кассы. Объяснила потом свой поступок довольно просто:

— Скажи вам — так не позволили бы. Рита скупая. Валентине неловко соглашаться. А с Тоськой все равно никто не считается...

Рита недовольно закусила губу, но ругать Зоську не стала. Я рассмотрела вазу, и мне она понравилась. Валентины дома не было. Мы, конечно, определили эту вазу под цветы на ее тумбочку. И договорились: если Валентина будет уезжать из общежития, подарить ей вазу насовсем.

В воскресенье я увидела на тумбочке у Валентины дорогие духи. У меня таких, конечно, никогда не было. Да и не только у меня... Обычно мы покупали в день получения стипендии на всех четырех один флакон цветочного одеколона. Да и душились-то им только Валентина и Рита. Мы с Зоськой забывали.

Я поняла: дорогие духи на тумбочке у Валентины — подарок Бориса.

...Сколько себя помню, я всегда презирала подарки и подношения. Мне казалось, делают их, чтобы подкупить, задобрить человека, расположить к себе. В моем представлении подарки походили на взятки. И только к маминым подаркам я относилась свято. Радовалась им, принимала с огромной благодарностью, ждала их. Потому что считала: только мама может быть бескорыстной. Впрочем, кроме мамы мне в детстве никто ничего не дарил. Может быть, потому, что, кроме мамы, у меня никого не было.

Рита часто говорит, что у меня «нездоровые убеждения». И удивляется: откуда они? Убеждение относительно подарков, наверное, тоже «нездоровое». Но что поделать... Я и сейчас не люблю их. И еще не люблю людей, которые дешевую вещь, подаренную из приличия в день рождения, ценят дороже сердечного поздравления и неподдельно искренних пожеланий.

Помню, еще в детстве я на этой почве поссорилась со своей лучшей подругой Иринкой. Весь февраль мы тайком копили деньги, чтобы купить к Восьмому марта подарки мамам. Экономили на завтраках в школе, не ходили в кино. Утром накануне торжественного дня вместе отправились в магазин. И тут оказалось, что на накопленные деньги не купить того, что я хотела бы подарить маме.

Подружка выбрала чайную чашку с розовыми цветочками и позолотой по краям и такое же блюдце. А я все стояла возле витрины ювелирных изделий и рассматривала невиданной красоты ожерелье. Прежде я считала, что такие драгоценности носят только сказочные царевны... Иринка с трудом оттащила меня от витрины, и мы попали в отдел тканей. Тут мне понравился голубой шелк в крупных белых горошинах. Я представила себе маму в нарядном платье из этого материала. И мне очень захотелось, чтобы оно у нее было.

Иринка опять дергала меня за рукав, недовольно ворчала, наконец оттащила и от этой витрины. Привела в галантерейный отдел, ткнула пальцем в застекленный прилавок. Там среди ремней, пряжек и бритвенных приборов лежал кожаный кошелек для мелочи.

— Возьми, как раз денег хватит! Если маме не подойдет, тебе отдаст...

А мне так хотелось подарить маме что-нибудь красивое!..

— Ну чего молчишь? — сердилась Иринка.— Иди плати...

Я оттолкнула Иринку, выбежала из магазина и разревелась. Так без подарка, зареванная, и пришла домой. Повисла у мамы на шее и сквозь слезы еле проговорила: «Поздравляю...»

Я вспомнила все это, когда посмотрела на духи, купленные Борисом. Наверное, он выбирал для Валентины так же, как тогда я для мамы: самые хорошие, самые тонкие, самые дорогие. Я поверила: этот подарок — от души. И мои «нездоровые убеждения» впервые пошатнулись.

До стипендии оставалось три дня, а в кассе нашей насчитывалось всего четыре рубля восемьдесят копеек. Никогда не занимавшаяся хозяйством Рита сказала, что мы с Зоськой эти последние деньги растранжирим на один обед и всем нам придется потом «сосать лапу». Сказала сердито и велела где-нибудь найти для нее закрытую хозяйственную сумку, потому что сейчас же пойдет на рынок. Рита решила сама готовить обеды, пообещала, что будут они вкуснее и дешевле столовских.

Я вытряхнула из конфетной коробки все наше состояние и еще раз пересчитала.

Вошла Валентина. Она была задумчивая и смущенная, улыбалась одними губами. Полистала какую-то книгу, перевесила Ритин жакет с одного стула на другой, опять полистала книгу...

— Ты будешь сегодня дома? — удивилась я.— Разве с Борисом никуда не идете?

— Почему? — насторожилась Валентина.— Идем...

И она стала собираться. Переодела платье, переплела косы. Я забыла о строгом наказе Риты найти закрытую сумку, смотрела на Валентину и немножко завидовала. Мне тоже хотелось вот так, как она, собираться, идти...

Валентина была уже готова, но уходить не торопилась. Подошла ко мне, помолчала и, смущаясь, спросила:

— Ты мне... не дашь из наших общих взаймы? Послезавтра верну.

Не знаю, как бы поступила Рита, а я снова вытряхнула из коробки деньги и сказала:

— Бери.

Мало ли что: может, Валентина маникюр захотела сделать или завивку.

Она отложила в сторону трехрублевую бумажку и взяла остальное: металлический рубль, три двадцатчика и двадцать копеек медью.

А вечером меня совершенно неожиданно пригласил в кино Гриша Таранец — тот самый комсорг с исторического. Вдруг пришел в нашу комнату, пошарил в карманах, достал билет, положил его передо мной на стол и очень просто предложил:

— Пойдем в кино, Тоня.

Я сначала подумала, что он шутит. Но Гриша смотрел на меня без малейшей насмешки, вполне серьезно.

Я взяла билет и сказала, что пойду с удовольствием.

Гриша ушел, и я увидела, что в комнате кроме нас была Зоська. Она вошла незаметно. Откровенно говоря, я даже обрадовалась, что она присутствовала при том, как комсорг с исторического приглашал меня в кино. И хотя Зоська все слышала, я не утерпела, похвасталась:

— Иду сегодня в кино. С Гришей.

— С Гришей и... с удовольствием! — зло отозвалась Зоська.— До чего же ты глупая все-таки! Парень не успел рот раскрыть, а ты: «С удовольствием!»

Зоська безнадежно махнула рукой и смерила меня презрительным взглядом.

— Уважающая себя девушка на первый раз от приглашения отказалась бы.

— Почему? — испугалась я.

— Из приличия...

— Зоська! — взмолилась я.— Да ведь он мне нравится.

— Тем более...

Нет, ее никогда ни в чем не убедишь, эту Зоську. И никому в споре она не уступит. Я это хорошо знаю и всегда умолкаю первая. И на этот раз оставила последнюю ее фразу без ответа, хотя поругаться с Зоськой очень хотелось. Не согласна я, чтобы перед человеком, к которому хорошо относишься, кривить душой!

И я стала собираться. Совсем как Валентина. Перед

зеркалом причесала волосы, чуть-чуть подушилась ее дорогими духами, переодела туфли.

Зоська сердито наблюдала за мной, потом с шумом раскрыла шифоньер, достала свою модную спортивную курточку с тремя «молниями». Курточка эта очень мне нравится и, говорят, очень идет мне. Зоська ее страшно бережет, на лекции не носит, а когда вешает в шифоньер, прикрывает сверху куском марли.

Она положила курточку на мою кровать и сказала:

— Надевай уж... Только замки не испорти.

Мне, наверное, надо было отказаться, но я не могла. Очень хотелось в этот вечер быть наряднее, выглядеть лучше, чем всегда. Я сказала Зоське «спасибо» и взяла курточку.

Пока сидели в кино, я все думала, куда мы пойдем после сеанса: по домам или еще по городу погуляем. И о чем Гриша будет со мной разговаривать... Изредка я незаметно, краешком глаза смотрела на его лицо, и в темноте оно казалось мне таким же мужественным, как у героя фильма. Мне очень хотелось Гришу о чем-нибудь спросить. Хоть о чем, лишь бы спросить и услышать, что он ответит. Но спросить было не о чем...

После кино мы действительно пошли погулять. Было еще тепло. Ярко горели уличные фонари, светились рекламы и вывески. Только что прошел дождь, и все эти многоцветные огни отражались во влажном асфальте. Осенний город выглядел праздничным. И настроение у меня было веселое, хорошее. Совсем праздничное.

Гриша рассказывал о каком-то своем товарище Викторе. Говорил, что это прекрасный человек, и обещал меня с ним познакомить. Мне было совсем не до Виктора и не хотелось ни с кем больше знакомиться. Но я слушала внимательно и охотно признавала все достоинства Гришиного товарища.

Пережидая поток машин, мы остановились на углу. Поставив прямо на панель плетеные корзины, женщины продавали цветы. К ним подходили прохожие, спрашивали цену и отходили. Покупали цветы немногие. Я нарочно отвернулась от цветочниц, чтобы Гриша не подумал... чтобы ему не пришло в голову купить букет. И вдруг среди чужих голосов я отчетливо услышала голос Валентины:

— Сколько стоит?

Я обернулась и увидела ее. Совсем рядом. Она была

одна и стояла спиной ко мне. Цветочница рылась в корзине, доставая букет, а Валентина отсчитывала деньги. Я случайно заглянула через ее плечо и остолбенела. Валентина платила за цветы теми деньгами, что взяла у меня: металлический рубль, три двадцатчика и...

— Остальные у меня копейками, извините,— сказала она чуть слышно и высыпала женщине на ладонь медяки, которые я собрала днем из всех наших карманов.

Поток машин кончился. Гриша тянул меня за руку и продолжал весело о чем-то болтать. Но мне он вдруг стал чужим и далеким. Я не хотела больше идти с ним. Не могла...

Женщина пересчитывала мелочь, а Валентина стояла возле нее с опущенной головой.

Я не вытерпела и обняла подругу за плечи. Она вздрогнула, обернулась...

Цветочница подала букет, Валентина взяла его машинально, не глядя. Я заметила, что она закусила губу, и даже тогда, при вечернем освещении, было видно, как побледнело ее лицо.

Мы оставили Гришу одного. Молча перешли улицу, оказались на бульваре. Сели на скамейку под тревожно шуршащими кленами. Рядом весело бил подсвеченный снизу фонтан, вода его казалась то зеленой, то розовой, то сказочно голубой. Гуляли пары. Откуда-то доносилась музыка. Город все еще выглядел праздничным...

Валентина сидела прямая, неподвижная и невидящим взглядом смотрела на причудливую игру света и водяных брызг. На коленях у нее лежал букет белых астр. Было что-то отчаянно гордое во всей ее фигуре: в строгом повороте головы, напряженном изгибе рук... Прохожие невольно обращали на нее внимание и, пройдя, оборачивались.

И вдруг словно сломилось у нее что-то внутри. Безвольно упали руки, ссутулились плечи, соскользнули с колен и рассыпались по влажной земле белые астры. Валентина припала к моему плечу и горько, навзрыд заплакала.

Я гладила ее мягкие волосы, а сама с трудом сдерживала слезы. И если бы не сдержалась, было неудивительно. Плакала Валентина! Мы никогда раньше не видели в ее глазах слез.

Она медленно выпрямилась, подняла на меня свои серые добрые глаза, до самого дна полные тоски и горя. Посмотрела грустно и пристально. Я не выдержала ее взгляда.

— Что с тобой?..

Не отвечая, Валентина открыла сумочку, вынула аккуратно сложенный листок бумаги и подала мне. Это была та самая телеграмма.

На узких бумажных ленточках выстроились друг за другом аккуратно напечатанные слова: «Приехать не могу прости меня прощай будь счастлива».

Я смотрела на рассыпавшиеся у наших ног астры, и у меня не было желания поднять их. Мне казались эти цветы ненастоящими.

## НЕОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

На маленькой станции сошли молодые геологи, веселые попутчики от самой Москвы, и Дубов остался в купе один. Прикрыл дверь, погасил свет, выключил радио, лег и до самого подбородка натянул жесткое дорожное одеяло. Ехать оставалось часа три, можно было подремать.

Спокойно, добродушно разговаривали колеса, словно упрашивали его уснуть. Упрашивали терпеливо, настойчиво. А когда он начинал дремать, постепенно смолкали.

Сквозь дремоту проступали какие-то мысли — неясные, нестройные. Даже не мысли, а видения, воспоминания. Постепенно они приобретали последовательность, и Дубова обступали далекие знакомые образы. Он открыл глаза, закурил, но так и не смог освободиться от воспоминаний. Цепкие, тревожащие, они уводили Дубова в прошлое, на пятнадцать лет назад.

...Снег. Крупный мокрый снег... Он плотней и плотней опутывает вокзал, притихшие на путях составы, закрывает струящимся снежным пологом привокзальные улицы, силится потушить мерцающие огни дальних проспектов. Будто какие-то сказочные рыбаки-великаны, воспользовавшись темнотой и непогодой, пой-

мали весь огромный город в свои волшебные сети. Сквозь густое студеное сплетение снега и ветра с трудом пробивается свет перронных фонарей — неяркий, мутный. Мутными кажутся лица столпившихся у вагона провожающих, мутной, даже подтаявшей с краев выглядит стылая луна. Во всем этом туманном заснеженном мире ясными кажутся только Сережкины глаза.

Он стоит рядом и улыбается.

Чуть поодаль, кутаясь в воротник пальто, переминается с ноги на ногу Феня. Она в коротких резиновых ботиках и, конечно, замерзла. Дубов в который раз жмет им обоим руки и почти упрашивает:

— Ну, пожалуйста, ребята... Бегите домой.

— Уйдем,— соглашается Сергей и упрямо добавляет: — Когда поезд тронется.

Феня молчит. Она, пожалуй, за то, чтобы скорей попрощаться, пожелать Дубову доброго пути, быстро поцеловать в щеку и убежать домой. Потихоньку от Дубова теребит Сергея за рукав, часто заглядывает на перронные часы.

Дубову жаль Феню, он искренне беспокоится, как бы она не простудилась, и вместе с тем чувствует еле заметное раздражение, почти неприязнь к ней. Но он пересиливает себя, берет Феню под руку, просит:

— Фенечка, вам холодно... Не томитесь, ступайте домой.

Он хочет поймать другой рукой и Сергея, повернуть обоих лицом к выходу, подтолкнуть и строго скомандовать. Но Феня вырывается, выглядывает из воротника и смеется.

— Что вы, Николай Трофимыч, ничуть не холодно!

Дубова и эта ее фраза раздражает — она, пожалуй, неискренняя, и смех кажется неестественным.

— Врешь ведь,— добродушно ухмыляется Сергей и бросает беспокойный взгляд на короткие Фенины ботики.— Я и то страшно замерз. Но пока поезд не скроется, не уйду. Не хочу уходить.

Он грустнеет, закуривает.

— Писать вы, конечно, не будете.

— Почему? — пытается возразить Дубов.

Но Сергей упрямо, почти сердито повторяет:

— Не будете! Так вот: не пишите. Необязательно. И телеграмм праздничных не присылайте...

— Что ты? — испуганно восклицает Феня.

— Подожди... Правда, Николай Трофимыч. И телеграмм не надо. Не угадаешь ведь по бумаге — от души или так, из приличия, она послана.

Феня снова дергает Сергея за рукав, беспокойно следит за выражением лица Дубова. А он слушает и не сводит с Сергея пристального взгляда.

— Лучше так: будете помнить... будете любить — приезжайте!

Сергей вдруг прячет глаза и протягивает для пожатия руку. Дубов смотрит на этого парня в потертой ушанке, в выгоревшей солдатской шинели, на протянутую ему руку — без перчатки, мальчишески узкую, покрасневшую от мороза... Смотрит и силится сдержать волнение. Или нет... Не волнение. Его не сдержать. Силится сдержать слезы.

Дают отправление. Сергей поднимает голову, и Дубов встречается глазами с его открытым взглядом.

— Товарищ пассажир! — кричит обеспокоенная проводница.— Останетесь!

Сергей бросается к Дубову, и тот крепко-крепко, до боли в руках, обнимает парня. Потом спохватывается, притягивает к себе Феню, обнимает и ее.

— Ну, ребята... Прощайте! Будьте счастливы!..

Оглушительно ревет паровоз, и Сергей переспрашивает:

— Что, Николай Трофимыч? Что вы сказали?

— Желаю счастья! Будьте счастливы! — силится перекричать гудок Дубов.

Феня быстро целует Дубова в щеку, а Сергей снова поднимает на него свои ясные, открытые глаза. Дубов замечает вдруг, что глаза тревожные, в них будто смятение, будто нерешенный вопрос...

Поезд трогается, Дубов вскакивает на подножку. Заснеженный перрон, талые фонари, Сергей и Феня медленно плывут назад. Сергей что-то кричит, срывает с головы ушанку, машет ею. Дубов замечает, как сердито Феня вырывает из рук Сергея шапку и надевает ему на голову. Сергей машет рукой.

Поезд набирает скорость, минует стрелки, пригородные мосты, вырывается на простор.

Долго стоит Дубов на ветру у открытой двери, долго смотрит в темную, мутную от густого снега, студеную ночь. Долго видит серые доверчивые глаза Сергея и не может понять: отчего в них тревога, что они спрашивают?.. Долго слышит глуховатое, неловко и неуверен-

но сказанное: «...будете любить — приезжайте!» Долго не может побороть волнения.

Закуривает. Чувствует, как дрожат руки.

Вспоминает сердитый жест Фени. Вырвала шапку, надела Сергею на голову... Значит, заботливая. Дергала его за рукав, хотела уйти... Наверное, потому что боялась — Сергей простудится.

Дубов постепенно успокаивается, уверяется в мысли, что приедет — непременно приедет! — в этот город через два-три года. Хоть на неделю. К ним — к Сергею и Фене.

...Уснуть он так и не смог. Колеса уже не пели колыбельной песни, а отстукивали что-то энергичное, бодрое. К Дубову пришло хорошее настроение. Даже в пустом купе ему больше не было одиноко. Место общительных молодых геологов заняли явившиеся из воспоминаний Сергей и Феня.

Они ехали с ним оставшиеся три часа, до самого города — большого уральского города, где Дубов не был пятнадцать лет.

Он вспомнил их свадьбу, на которой был кем-то вроде посаженого отца. Раскрасневшаяся от танцев и выпитого вина Феня тогда обняла его за шею и горячо прошептала:

— Вы мне как отец, Николай Трофимыч... Счастье помогли найти.

Сергей держался несколько отчужденно. Краснел, когда кричали «горько!», если очень настаивали, смущенно целовал невесту. Казалось, он был подавлен этим торжественным событием и еще не осознавал своего счастья.

«Молодость не знает настоящей цены счастью,— с легкой грустью думает Дубов.— Даже больше: что счастье, а что — только радость, не всегда отличить может... Так и Сережка. Упирался, словно щенок, когда его за шиворот к счастью тащил. Любви настоящей не верил, Феню чуть было не оскорбил на всю жизнь. А теперь...»

И Дубов ощущает радостную гордость от сознания, что Сережка Грохотов, бывший слесарь и задиристый комсомольский секретарь, оказался талантливым человеком, стал профессиональным художником. Одна его картина лет восемь назад получила вторую премию на

Всесоюзной выставке и долгое время экспонировалась в Третьяковской галерее. Дубов тогда зачастил в Третьяковку, подолгу простаивал перед Сережкиным творением.

Это был знакомый, родной сердцу уральский пейзаж.

Ничего затейливого, оригинального не было в этой картине. Она даже не сразу привлекала внимание. Подходили скорее не к ней, а к висевшей рядом другой картине, яркой по краскам и большой по размерам. Но, окинув беглым взглядом эффектную картину-соседку, посетители задерживались у работы малоизвестного автора.

...Словно могучие косматые мамонты, вздыбились на горизонте горы... В распадке между ними игриво петляет быстрая речушка. Берега ее — неровные и крутые — обступают сосны. Они наклоняются своими кронами над обрывом и купаются отражениями в прозрачной синеватой воде.

Дубов смотрел на угрюмые, дремучие горы, ослепительно голубой просвет неба и не только узнавал раннее уральское утро — он ощущал свежесть этого чудесного утра, чувствовал здоровый смолистый запах соснового леса, слышал, как добродушно ворчит, спотыкаясь о камни, шаловливая горная речушка.

«Сережка, бесспорно, талантлив!» — каждый раз, уходя из Третьяковки, решал Дубов. И снова с гордостью и удовлетворением вспоминал о том, что именно он, Дубов, начальник цеха, в котором работал слесарем-сборщиком Сережка Грохотов, заставил этого парня окончить художественное училище. А ведь и тут упирался. По-щенячьи, всеми четырьмя лапами...

Если Дубов встречал в Москве приехавших с Урала и знавших Сергея, он подробно, с пристрастием расспрашивал о нем. Общие знакомые говорили обычно, что Сергей живет хорошо, Феня здорова, дочь Татьянка учится во втором... третьем... наконец в четвертом классе... Еще говорили, что Сергей — третий год член горкома партии.

Дубов отмечал про себя: «Молодец! — и снова гордился: — Знал, кого рекомендовать в партию!»

...Шустрая проводница приоткрыла дверь, просунула в купе лукавое личико и предупредила:

— Через десять минут — ваша станция. Не забудьте...

Дубов поблагодарил, шутливо посожалел, что не может быть попутчиком лукавой проводницы до самого Владивостока, и стал собираться.

Было одиннадцать, когда он ступил на тот самый перрон, где в далекую смутную студеную ночь провожали его Сергей и Феня.

Постоял, подумал, что в такой поздний час, пожалуй, неудобно вваливаться в чужой дом без предупреждения... Но что значит «неудобно» и всякие там условности, когда речь идет о дорогих сердцу людях! Дубову не терпелось увидеть, обнять их, спросить: «Как?.. Как жили вы все эти годы?» Не терпелось посмотреть Сережке в глаза: какие они? ясные?

Он отыскал автомат, торопливо набрал номер телефона дежурного по горкому, узнал адрес Грохотова, взял такси и очень скоро оказался перед дверью его квартиры.

Открыл Сергей. Взглянул и сразу узнал Дубова. Без слов, крепко, по-мужски обнялись. И только потом поздоровались. Дубов с силой сжал руку Сергея. И так, не разжимая рук, не говоря ни слова, взволнованные и растерянные, они стояли в прихожей, не замечали, что раскрыта дверь и с лестницы тянет холодом.

Зашуршали, приближаясь, шаги, раздвинулась портьера, и из комнаты в прихожую вошла полная, грузная женщина. Она мельком кивнула Дубову, строго посмотрела на Сергея; громко хлопнув, закрыла дверь и снова ушла за портьеру. Дубов проводил ее внимательным и недоуменным взглядом. Сергей заметил этот взгляд и весело рассмеялся:

— Николай Трофимыч, не узнали?..

И, не переставая смеяться, он громко позвал:

— Феня!..

— Феня? — переспросил Дубов.

Он узнал... Он узнал ее сразу, но не поверил, что узнал. Она показалась ему другой. Не только изменившейся внешне, а именно — другой. Посторонней...

— Феня! Иди сюда!

Феня вернулась в прихожую.

— Узнаешь?

Нет, она не узнала. И только, когда гость предста-

вился, назвав себя по имени и фамилии, всплеснула руками:

— Неужели? Николай Трофимыч, что же вы стоите? Сергей! Проходите в комнату... Да ничего, не вытирайте ноги, завтра все равно ковры чистить:

Да, ему обрадовались. Обрадовались искренне, он почувствовал это. Феня усадила его на диван, затормошила, засыпала вопросами. В короткие паузы между вопросами и ответами восклицала восторженно:

— Подумать только! Николай Трофимыч приехал!..

Сергей сидел у стола напротив, курил папиросу за папиросой и жадно слушал. Он не смеялся, не вскрикивал, как Феня, от радости, не метался бесцельно по комнате... Он молчал.

А потом заговорил. Глухим от волнения голосом, неровным, непослушным.

— Я вас все эти годы... очень ждал.

Он смял недокуренную папиросу, взял другую.

— Очень...

— И я ждала! — весело перебила Феня.— Все думала, вдруг вернетесь в наш город, да еще с семьей... Вот интересно было бы посмотреть!..

Сергей опять замолчал, а Феня схватила Дубова за руку и потащила показывать квартиру. Она не переставая говорила. Рассказывала, как полгода втайне от Сергея надоедала директору завода — да-да, того самого завода, где Дубов был прежде начальником цеха, а потом директором, а Сережка — слесарем-сборщиком. Где работала Феня. Надоедала вежливо и настойчиво. Просила квартиру. Доказывала, что трех комнат для семьи художника из четырех человек недостаточно.

— Ему ведь, Сережке, полагается дополнительная площадь,— пояснила она — Как художнику, как творческому лицу.

Феня оглянулась на дверь гостиной, где остался Сергей, и тихо, заговорщически добавила:

— Я ему, Валентину Павловичу, теперешнему директору, в знак благодарности даже одну Сережкину акварель подарила. Маленькую такую, невидную: сосна на скале и небо. Больше ничего. Да и небо-то серое. Месяца три назад подарила. Сережка даже и не хватился.

Дубов сначала с любопытством рассматривал удобную, просторную квартиру. Заходил вслед за Феней в

ванную, в кухню, послушно заглядывал в кладовую и стенные шкафы.

— Здесь Татьянка с бабушкой,— пояснила хозяйка и приоткрыла дверь в темную комнату.— Спят... Завтра познакомитесь. А мама узнает. Она вас помнит, конечно.

Они прошли дальше, через коридор, и оказались у комнаты, вход в которую закрывали яркие, абстрактного рисунка портьеры. Феня слегка подтолкнула Дубова и зажгла свет. Вспыхнула какая-то огромная причудливая люстра, заиграла хрустальными подвесками, звездочками, сосульками. Феня восхищенно спросила:

— Нравится?

— М-да-а...— неопределенно протянул Дубов — Эффектно.

— Ну вот! А Сережке не нравится.— Она капризно скривила губы.— Ему вечно не нравится то, что я куплю.

Комната была увешана коврами, полочками, фотографиями Фени. В ней стояли две деревянные кровати, шифоньер, зеркальный трельяж, желтые плюшевые кресла и розовый пуфик.

— Мои владения,— шутливо пояснила Феня.— Сережка эту комнату не любит. Капризничает... Так с комсомольских лет к уюту не привык. Безвылазно в своем «фонаре» сидит. И обставить его не дает... А теперь сюда, Николай Трофимыч.

Следующая маленькая комната, по словам Фени, предназначалась для гостей: если случится заночевать, если нагрянет кто из другого города. Феня убедилась, что он обвел глазами шелковые шторы на окнах, мебель, стены, и с удовольствием сказала:

— Вас сюда поселю.

Дубову уже надоело ходить по квартире. Когда хозяйка потянула его смотреть купленный на днях кухонный комбайн, гость взмолился:

— До завтра... До завтра, Фенечка. Ей-богу, устал. Ты лучше мне еще раз... Сережку покажи.

Сергей все сидел у стола, на том же месте. Пепельница ощерилась окурками, в гостиной было сизо от дыма.

...Поужинали, распили бутылку вина. Феня ушла приготовить для гостя постель, и только тогда Сергей поднял на Дубова глаза.

Да, они были ясные... Сережкины. Только... только будто что-то потухло в них. Или нет! Он просто устал, наверное. Третий час ночи. Если бы не внезапный гость,

Сергей, конечно, уже спал. «Нет-нет,— уверял себя Дубов,— глаза не потухшие, не тоска в них, а самая обыкновенная человеческая усталость. Как и сам я, Сергей сейчас просто хочет спать...» И словно в ответ на эти раздумья Дубова Сергей встал из-за стола, потянулся.

— Вам пора отдыхать, Николай Трофимыч.

Со свежим полотенцем в руках вошла Феня. Накинула его Дубову на шею.

— Ступайте в ванну и — спать!

Он повиновался.

Комната «для гостей» выглядела необжитой и чем-то походила на Фенину спальню. Не то фотографиями, украшавшими стены, не то коврами. А скорей всего тем, в каком сочетании были расположены вещи, какие преобладали тона.

В этой нежилой комнате Дубову показалось одиноко. Он долго не мог уснуть и поймал себя на мысли, что ждет... ждет, чтобы Сергей заглянул к нему.

Когда наконец услышал приближающиеся к двери осторожные Сережкины шаги, обрадовался.

Сергей приоткрыл дверь, просунул голову, тихо позвал Дубова.

— Заходи, заходи,— торопливо отозвался тот.— Зажигай свет.

— Николай Трофимыч... идемте ко мне!

И пока Дубов соображал, что это могло означать: «ко мне», Сергей мигом свернул постель, схватил в охапку и понес в гостиную. Там за огромным комбинированным шкафом оказалась еще одна дверь.

— Будете спать на тахте, ладно? А себе раскладушку принесу.

— Только... Феня-то как? — смущенно произнес Дубов.— Потеряет тебя...

— Не потеряет. Я часто... Работаю допоздна... здесь и сплю. Чтобы не тревожить.

Пока Сергей приносил откуда-то алюминиевую раскладную кровать, застилал ее, пока ходил умываться, Дубов разглядывал его комнату.

У дальней — теневой — стороны стояла широкая низкая тахта, небрежно застланая ярким клетчатым пледом. Рядом с ней нелепо в угол были задвинуты письменный стол, кресло и странная, похожая на софит, переносная лампа на длинной ножке, с самодельными

щитками, регулирующими свет. Всю стену до потолка занимали застекленные книжные стеллажи. В разных местах на полу, прислоненные к стене, стояли рулоны бумаги, холста, пустые деревянные рамы.

Остальная, большая часть комнаты была совершенно пуста, только между двумя широкими окнами, расположенными под углом друг к другу и образующими, если смотреть на них с улицы, нечто похожее на фонарь, стоял, повернутый к стене, мольберт. И рядом — перепачканная красками табуретка.

Дубов прошелся по комнате. Покосился на мольберт. Остановился у письменного стола. На нем в беспорядке лежали книги, письма, альбомы с карандашными набросками, несколько явно ученических рисунков с одной и той же натуры: перспектива городской улицы с подъемом. Видно, это была нелегкая задача — изобразить подъем.

Сергей поставил раскладушку рядом с тахтой, придвинул софит, опустил все его щитки, включил вместо большого верхнего света.

— А у тебя и правда тут не очень уютно,— не удержался Дубов.— Феня-то права.

— А! — отмахнулся Сергей.— Было бы удобно. Впрочем, я здесь редко пишу. Так, заготовки делаю, к занятиям готовлюсь... А работаю в мастерской при художественном училище. Я там рисунок веду.

Свет от софита мягким, размытым кругом ложился на пол между тахтой, раскладушкой, слабо освещая «жилую» часть комнаты. Остальное пространство тонуло в темноте, только от окон — незашторенных, непривычно голых, пустых,— исходило какое-то странное матовое свечение, неестественное и едва уловимое.

— Что у тебя за стекла? — удивился Дубов.— Матовые, что ли?

— Обыкновенные.— Сергей тоже посмотрел на окна.— Папиросной бумагой заклеены. Южная сторона. Солнце мешает.

Дубов не понял.

— А я думал, чем светлее, тем лучше.

— Конечно,— согласился Сергей.— Только свет должен быть не прямой, не резкий, не забивающий глаза и краски, а мягкий, спокойный. Лучше всего — верхний.

Они понимали, что говорят не о том.

— Сам, что ли, придумал? — после длительной паузы спросил Дубов.— Бумагу-то...

— Чужое изобретение,— вздохнул Сергей.— Старо как мир.

Они долго молчали, потом погасили свет, пожелали друг другу доброй ночи, затихли. Но затихли ненадолго. Убедившись, что ни ему самому, ни Сергею в эту ночь все равно не заснуть, Дубов заговорил о главном:

— Что ты сейчас... творишь, Сергей? Рассказывай.

— Сейчас?

Сергей приподнялся на локте, закурил.

— Сейчас — ничего.

Он затянулся. Огонек папиросы разгорелся и осветил лицо. Брови сошлись на переносье, лоб рассекла складка.

— Почему?..

Дубов произнес это неожиданно громко, с нескрываемым удивлением.

Сергей промолчал. А когда Дубов повторил вопрос, нехотя ответил:

— Творческий спад. Бывает с человеком такое.

— А ведь я видел твое «Таежное утро» в Третьяковке. Хорошо!..

Сергей оживился.

— Правда? И на самом деле понравилось? А ведь эта картина — одна из первых. Я после нее... Впрочем, завтра заберу вас в мастерскую, покажу. Правда, и тут кое-что есть.

Он вскочил. Зажег большой свет, подошел к мольберту, повернул его.

Дубов увидел неоконченный портрет мужчины. Высокий умный лоб, иссеченный ранними морщинами, добрые, внимательные глаза, крутой подбородок, крупные узловатые руки...

— Интересный человек,— пояснил Сергей.— Начальник смены коммунист Федор Петрович Батов. Непростой и нелегкий характер... Так и назову картину: «Коммунист Федор Батов». Вот только не выходит. Чего-то не могу уловить. Это сделал в прошлом году. С тех пор не двигается.

Он повернул мольберт обратно рисунком к стене, постоял около него задумавшись.

— А знаете, Николай Трофимыч, в Третьяковку, в зал картин художников Урала, Сибири и Востока, одну мою акварель посылают. Говорят, лучшая из прошлогодних работ. Уверяют, будто в ней... «море настроения»...

Он подошел к столу, открыл верхний ящик. Порылся в нем, не нашел. Открыл другой...

Дубов ждал, а Сергей перерывал один за другим ящики письменного стола и не находил. Торопливо закурил, снова открыл верхний ящик. Он тщательно перебирал эскизы, листы бумаги с какими-то записями, выкладывал все это на стол. А Дубов внимательно следил за ним и думал не о том, что Сергей взволнован, обеспокоен, что он потерял какую-то нужную вещь и не может найти... Он смотрел на его широкие плечи, туго обтянутую майкой крепкую спину, следил за его движениями, с удовольствием отмечал, что возмужавший, окрепший Сергей по-юношески ловок и строен. Даже то, как задорно он встряхивал головой, когда спадали на лоб растрепавшиеся волосы, очень напоминало двадцатилетнего Сережку.

Дубов улыбнулся своим мыслям, а Сергей зло чертыхнулся и швырнул на пол охапку бумаг.

— Что ты?..

— Пропала... Акварель пропала! Та самая...

Парень открыл дверь и уверенно переступил порог кабинета.

— Сергей Грохотов. На пять часов вызывали.

Дубов пригласил сесть. Сергей прошел к столу четкой походкой, прямой, подтянутый. Уже это понравилось начальнику цеха и расположило к парню. Дубов достал папиросы.

Сергей взял, сдержанно поблагодарил.

И это понравилось.

Дубов не любил, когда словам благодарности сопутствовали дежурные улыбки, не терпел людей, которые, сказав «спасибо», в дополнение изображали это спасибо на своем лице.

— Ну, Сергей, давай... говори о себе. Все. С того дня, с какого себя помнишь.

Дубов закурил тоже и сел напротив.

И Сергей рассказал. Как работал на подмосковном заводе учеником слесаря, как семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт, был ранен, лежал в госпиталях.

— С кем дружишь? — спросил Дубов и внимательно посмотрел на Сергея.

Сергей опустил глаза.

— Друзья... были.

— Были? — осторожно переспросил Дубов.

— Погиб Степан... Вместе работали, вместе воевали. Я ему жизнью обязан. Потерял Гошку Соловьева — дружка со школьных лет... И потом... Аннушка... девушка такая была. Хорошая... Товарищ...

Сергей слегка покраснел и, уже не спрашивая разрешения, взял из раскрытой коробки папиросу.

Потом говорили о разном. О литературе, политике, о новых работах заводского КБ.

К Дубову приходили мастера и рабочие, о чем-то спрашивали, что-то требовали, сообщали. Одни сердились, другие казались веселыми. И он отвечал им то коротко, то пространно, отчитывал или приветливо жал руку. Ему звонили по телефону, и он отвечал. Сергей много раз порывался уйти, но Дубов останавливал его, и Сергей оставался. Пережидал телефонные звонки, посетителей, и разговор продолжался.

Так обстоятельно, по душам Сергей, пожалуй, только со Степаном говорил. Да и то однажды, на фронте, когда им, разведчикам, перед большой операцией двое суток отдохнуть дали.

Заглянула и, извинившись, ушла уборщица тетя Катя. Тихо стало в соседней — через стенку — комнате парткома. Сергей наконец решительно взялся за шапку. Дубов тоже встал, оделся. Вышли вместе.

— Значит, говоришь, были друзья,— в раздумье, с ударением на слове «были» произнес Дубов, когда спускались по лестнице.

— Были...— ответил Сергей и как-то странно замолчал, словно не окончил, а оборвал фразу, не договорив.

— Что были, хорошо. А что сейчас нет, худо,— покачал головой Дубов.— Без друзей человек в сто раз беднёй нищего.

И добродушно потрепал по плечу.

— Не унывай. Будет! Будет у тебя здесь, в уральском краю, и дружба и любовь настоящая.

А Сережке хотелось сказать этому человеку, что не только будет,— есть! Есть у него уже друг... Человек, которому он теперь все доверит, которого уважает не только потому, что слышал о нем много хорошего от рабочих, и не потому, что Дубов на двадцать лет его старше. Этому человеку он, Сережка, теперь очень и очень верит.

Пройдя заводоуправление, остановились. Дубов пер-

вым протянул для пожатия руку и задержал в ней Сережкину.

— Выходит, от комсомольской работы не отказываешься?

— Выходит, так.

Они простились, но никто не уходил первым.

— Тебе в какую сторону? — спросил Дубов.

Сергей замялся.

— В котором общежитии живешь?

— На Заводской улице.

— Трамваем поедешь?

— Да нет, я сейчас в цех пойду. У нас Грищук заболел. Вместо него поработаю.

— Тогда идем вместе,— рассмеялся начальник цеха.— Я ведь только тебя проводить. Тоже домой не иду.

Сергея избрали комсоргом цеха.

До предела загруженный собственными делами, Дубов находил время помочь парню в комсомольской работе. Делал это осторожно, порой незаметно для Сергея: учил его собранности, организованности, принципиальности. Все, что имело отношение к комсоргу, теперь касалось и начальника цеха.

Это шло не только от симпатии, которую Дубов испытывал к недавнему фронтовику. Его тянуло к Сергею какое-то, очень похожее на отцовское, чувство. Дубов понял это, когда случайно увидел очень интересные рисунки Сергея и обрадовался им так, как если бы они принадлежали сыну. Никогда не пользовавшийся никакими связями, он на этот раз трижды ездил к директору художественного училища, с которым мельком познакомился на городском партийном активе, и упрашивал его принять Сережку учиться в середине семестра.

Директор не устоял перед его настойчивой просьбой. Для Сережки устроили что-то вроде творческого экзамена и приняли условно. Сергей два раза сходил на занятия — его подменил в цехе слесарь из другой смены,— а больше в училище и не показался.

С большим трудом Дубову удалось уговорить его начать учиться со следующего года. Парню было очень трудно и работать в цехе, и три раза в неделю — с пяти до десяти вечера — заниматься в училище. Но Сережка делал успехи. Директор Дворца культуры усиленно

приглашал его работать художником, уверяя, что занят он будет в три раза меньше, чем на заводе. Однако Сергей не соглашался уйти из цеха.

В общем, он радовал Дубова. И только однажды огорчил. Нет, «огорчил» — не то слово...

Дубов второй месяц работал директором завода. Он сутками пропадал в цехах, и кабинет его постоянно был закрыт. Только сегодня в двери с наружной стороны торчал ключ. Дубов против обыкновения сидел в кабинете. Окна были раскрыты настежь. Теплый ветер трепал легкие белые занавески, пахло свежей травой и цветущими липами.

Директор завода разговаривал с Москвой.

В кабинет вошла рассыльная Феня, постояла у стола. Дубов сдвинул брови, жестом выпроводил ее за дверь.

Он разговаривал долго, нервничал, кричал, что из-за нехватки специальных сортов резины попадает под угрозу особый заказ.

Он забыл о Фене. И только когда получил заверение, что резина будет завтра же доставлена самолетом из Средней Азии, когда поблагодарил, повесил трубку и вышел в приемную,— заметил ее.

Феня сидела в кресле, склонив голову к самым коленям и уткнувшись лицом в ладони. Плечи ее часто вздрагивали.

— Что еще? — изумился Дубов.— Феня, что с вами?

Она молчала.

Дубов сел рядом.

— Что случилось?

Феня в ответ всхлипнула и подняла на него заплаканные глаза.

— Николай Трофимыч, несчастье у меня!

— Боже мой! — развел руками директор.— Такая молодая, цветущая девушка не может быть несчастной...

— Еще шутите,— горько вздохнула Феня и опять разрыдалась.

Дубов знал, что мать и сестра у нее здоровы, живут вместе с Феней, и потому ничего трагического не предполагал.

Ему не хотелось с ней разговаривать. Он не симпатизировал ей.

Когда-то Феня работала в его цехе буфетчицей. За какие-то коммерческие махинации ее уволили, и после этого она долго не показывалась на заводе. Потом пришла с повинной к начальнику ОРСа, просила, чтобы взял работать хотя бы уборщицей в столовую. Но в столовую он ее не взял, а устроил в цех. Из цеха она каким-то образом перебралась в заводоуправление рассыльной при директоре.

Пересилив себя, Дубов подал Фене стакан воды.

— Успокойтесь. Объясните, в чем дело?

— Любовь у меня... несчастная,— проговорила наконец Феня и залпом выпила воду.— Взять бы да умереть лучше...

Дубов вернулся в кабинет, Феня вошла за ним следом.

Как мог мягче, он сказал ей:

— Любовь — всегда счастье, если это на самом деле любовь.

— Ну, да! — в отчаянии выкрикнула Феня.— Счастье!.. Он эту мою любовь ногами топчет. А ведь, может быть... может... ребенок появится...

Она снова спрятала лицо в ладони и заплакала так громко, что Дубов невольно оглянулся на дверь.

Он встал, походил взад-вперед по кабинету, потом остановился перед Феней и строго спросил:

— Почему ко мне с этим своим делом пришла?

— Потому что он только вас послушаться может.

— Кто он?

Феня выпрямилась и вызывающе бросила:

— Сергей Грохотов, вот кто!

Он прибежал, запыхавшись.

— Что, Николай Трофимыч? — и, выравнивая дыхание, пояснил: — На соревнование парашютистов едем.

— Садись.— Дубов закурил и впервые не протянул коробку Сергею. Снял телефонную трубку.

— Феня, спуститесь вниз, скажите ребятам — пусть едут одни, Грохотов занят.

Сергей метнул на Дубова быстрый взгляд и все понял.

— Это к лучшему...

Дубов зло швырнул трубку.

— К лучшему, что вы знаете,— с трудом закончил Сергей.

Избегая взгляда Дубова, он медленно прошел к столу.

— Выкладывай! — рявкнул Дубов.— Все как есть. Начисто...

Он вдруг ссутулился, низко опустил голову, сжал в кулаки лежащие на столе руки. В глазах загорелись колючие, враждебные огоньки.

— Я... не виноват, Николай Трофимыч! — чуть слышно произнес Сергей.

— Врешь! — стукнул по столу Дубов. Таким Сергей никогда не видел его прежде. Даже при самых яростных спорах он умел сохранять спокойствие, умел слушать собеседника, сам учил выдержке Сергея, ругал его за то, что часто срывается, по-мальчишески кричит, злится.

Сергей замолчал. Замолчал и Дубов. Злые огоньки словно погасли: глаза спрятались под нахмуренными, строго сдвинутыми бровями.

— Ну, говори...

Говорить было трудно. Комкая в руках кепку, глядя в пол, Сергей рассказал, как впервые в жизни... напился.

— Вечеринку собирали девчата из заводоуправления. Парни присоединились: Вася Грищук, Иван Симоненко... Меня пригласили. Я и не думал идти, да они вечером всей компанией в общежитие нагрянули. Упрекали, что, мол, от ребят откалываюсь, повеселиться с ними зазорным считаю, Феня, так та даже заявила: «Что ему наша компания? Вот если бы директор завода позвал, на крыльях бы полетел!» Мне как-то неловко стало. Пошел... Собрались у Фени. У нее самая подходящая квартира: просторная, и соседей нет. Я голодный был. С утра как замотался — пообедать не успел. Ну, наверное, и опьянел сразу. Только и помню, как за стол садились. Больше ничего. Утром проснулся... в постели. И она рядом. И в комнате больше — никого. Я и встать-то не знал как. А она лежит, улыбается. Доброго, говорит, утра...— Сергей покраснел, смолк.— Я с тех пор... избегать ее стал. Неприятно было встречаться. Вчера, когда дежурил в комитете комсомола, пришла, отыскала меня, сказала, что любит. Плакала. Угрожала... А сегодня ее мать была.

Дубов приподнял голову, устало попросил:

— Хватит. Иди...

Сережке стало трудно жить. Он чувствовал это на каждом шагу. Разбирали на комитете нечестный поступок подравшегося «по пьянке» Виктора Сердюка, а он, Сережка, думал о себе, принимал полные горячего воз-

мущения речи членов комитета в свой адрес. Боялся поднять глаза.

Возникала необходимость зайти в заводоуправление, и он сталкивался с Феней. Нужно было решить трудный вопрос, и он не мог обойти кабинет Дубова.

Ко всему этому прибавилась другая забота. Надвигалась заводская отчетно-выборная комсомольская конференция, и Сергея предполагали рекомендовать комсоргом завода.

Да, жить стало сложнее. Мысли словно бы измельчали: все они сводились к неприятной истории. Не хотелось работать, не тянули книги. Даже в училище он теперь занимался нехотя.

Он ненавидел Феню, презирал себя, стыдился людей, боялся Дубова. Это было отвратительно. С этим необходимо было покончить.

Он постучал и вошел к директору завода. Дубов поднялся навстречу, и Сергей заметил, как радостным блеском засветились его глубокие, темные глаза. Но только на миг. Он словно потушил радость. Сел, отложил бумаги.

— Пришел... все-таки!..

— Николай Трофимыч, как быть? Может, на комитете рассказать? Пусть разберут, пусть отругают. Пусть что-нибудь скажут наконец!..

— Скажут только одно,— спокойно произнес Дубов,— надо жениться.

У Сережки похолодели руки.

— Как?..

— Очень просто. Зарегистрировать брак в загсе и отпраздновать свадьбу.

— Что вы, Николай Трофимыч! Без любви?!

— А ты, сопляк, что такое любовь — знаешь?

Нет, Дубов жестокий и черствый человек! Сергей теперь очень хорошо это чувствует. Он уже жалеет, что пришел сюда...

— Знаешь? — требовательно переспрашивает Дубов, и Сергей неуверенно отвечает:

— Кажется... кажется, знаю...

Он вспоминает тоненькую, гибкую Аннушку. Золотистая коса перехвачена белой лентой. Глаза серые, ласковые... хорошие. Аннушка идет с ним рядом по избитой колесами и подковами мягкой лесной дороге. Идет на расстоянии шага, и он, Сережка, никак не решается переступить этот шаг. Платье на Аннушке бе-

лое, нежное, по нему словно рассыпаны мелкие голубые васильки.

Она босиком. Загорелые ноги ступают легко и быстро. Сергей несет босоножки. Несет осторожно, с удовольствием, потому что эти пыльные, стоптанные, с оборвавшимися ремешками босоножки — Аннушкины. Наверное, ему и платье кажется красивым потому, что на Аннушке.

— Сережа,— осторожно и как-то очень тепло спрашивает она,— а в следующее воскресенье пойдем?

— Конечно! — восклицает Сережка и чувствует себя самым счастливым на всем белом свете.— Конечно, пойдем!

— ...Кажется! — зло передразнивает Дубов, и от его голоса исчезает солнечный день, мягкая лесная дорога, тоненькая большеглазая Аннушка.

— Я у них дома был,— говорит Дубов.— С Фениной матерью познакомился, с сестрой. По-моему, хорошие люди. В семью тебя ждут.

...За окном, оказывается, хлещет дождь. Сергей и не заметил, как исчезло солнце и нахмурилось небо. Дождь косой, унылый, холодный. Дубов еще что-то говорит, но Сергей не слышит.

...Где-то на запасных путях стоит эшелон. В теплушке темно и душно, а на улицу носа не высунешь: дождь. Сергей стоит, прислонившись лбом к холодному, влажному брусу двери, и смотрит, как набухают лужи, темнеют, покрываются сизыми, маслянистыми пятнами шпалы. На сердце невесело. Ребята в вагоне тоже присмирели. Переговариваются шепотом.

Дадут отправление, и состав уйдет от станции родного подмосковного городка в дождь, в ночь, в войну. Сергей не может оторвать тяжелого взгляда от размытой земли и вдруг видит, как по этой земле ступают быстрые, легкие, загорелые ноги. Он поднимает глаза и не верит им. Перепрыгивая через шпалы, лужи и рельсы, к эшелону бежит... Аннушка, закутанная в плащ, в опущенном по самые брови капюшоне. Она еще издали замечает Сергея, откидывает капюшон, машет рукой.

Сергей оглядывается на ребят — они все толпятся теперь у двери теплушки,— наклоняется и неловко протягивает Аннушке руку. Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, она тоже подает руку и вздрагивает от резкого пронзительного свистка. Состав трогается. Сергей

держит Аннушкину руку и не может ничего сказать. Смотрит в глаза — и грустные, и счастливые — и не знает, о чем спросить.

— Добрый путь,— шепчет Аннушка.— Возвращайся...

— ...Ты ведь комсомольский вожак,— зловеще гудит голос Дубова, и опять исчезает Аннушка, ускользает из Сережкиной руки ее маленькая теплая ладонь.— Этого не забывай. На тебя в цехе ребята равняются. Верят тебе. За настоящего человека считают...

— Николай Трофимыч!..— В голосе Сергея отчаяние.— Николай Трофимыч! Но ведь это нечестно: без любви и — на всю жизнь вместе!

— А бросить ее теперь, по-твоему, честно?

Теперь Феня с особенным рвением выполняла все просьбы Дубова, прибегала за советами, стремилась постоянно быть на глазах. Дубов не мог разобраться, искренне ли это. Но стал относиться к ней лучше, чем прежде. Он верил, что она любит Сергея, и находил даже, что любовь эта облагораживает Феню.

Совсем другого мнения придерживался парторг сборочного цеха Остапенко. Он заявил Дубову, что со стороны Фени это шантаж, что на любовь здесь нет и намека, просто двадцатишестилетней женщине, однажды уже неудачно выходившей замуж, надо «пристроиться». А Сережка — парень «перспективный».

— И вообще, противна мне эта твоя подопечная,— откровенно говорил Остапенко Дубову.— Я бы на твоем месте не сводничал, а посоветовал бы устроить товарищеский суд. Кстати, твоей подопечной не впервой это...

— Перестань! — сердился Дубов.— Пусть Сергей отвечает за свои поступки!

— Эх! — вздыхал Остапенко.— Погубишь ты парня своими авторитетными советами...

А однажды разговор на эту тему принял неожиданный оборот.

— Знаешь, Николай,— сказал в раздумье Остапенко,— мне начинает казаться, что в этой неприятной истории ты идешь на сделку с собственной совестью. Ты боишься, как бы обыватели, осудив Сергея, не задели и твоей чести. Ты поступаешь нечестно, Николай!..

Они были старыми друзьями, и это давало им право

говорить резко, прямо, не опасаясь обидеть друг друга.

— А если бы он был твоим сыном?

— Я заставил бы его жениться! За свои поступки пора отвечать самому! — отрезал Дубов.

— Сергей тебе очень верит,— горько сказал Остапенко.— Не забывай этого...

Строгие убеждения Дубова и настойчивость Фени делали свое дело. Сергей принуждал себя думать, что она добра, неглупа. Он поверил, что впервые в жизни к Фене пришла любовь, и стал считать себя не вправе разрушить это святое чувство.

И, постепенно привыкая к мысли о женитьбе, он чувствовал, что ему легче становится жить. Он прямее смотрит в глаза ребятам, ему проще встречаться с Феней, его опять тянет к Дубову, а комсомольские дела начинают снова волновать, сгорчать, радовать. Его перестала пугать предстоящая конференция.

«Может, и прав Дубов,— раздумывал он,— что тогда, в юности, не любовь была, а мираж. Мечта о любви...»

Сближаясь с Феней, Сергей старался уйти, убежать от воспоминаний о тоненькой большеглазой Аннушке.

Наконец наступил день, когда Сергей на тревожный, вопросительный взгляд Фени ответил твердо:

— Возьми завтра с собой паспорт. После работы в загс пойдем.

Феня обняла его за шею, несмело поцеловала.

Потом была свадьба. Сергей отговаривал Феню, не хотел шума и торжества вокруг их женитьбы. Но Феня настояла на своем.

— Пусть будет как у всех,— сказала она.— Зачем от людей прятаться?

И Сергей сдался.

У Фени в семье начались хлопоты. Феня, ее мать, сестра, соседки, знакомые, дальние родственницы где-то что-то «доставали», «отоваривали». Сергею это не нравилось. Он отдал Фене все деньги, какие у него были, даже занял еще у ребят, но наотрез отказался идти к начальнику ОРСа просить талоны на вино, на продукты. Феня фыркнула, передернула плечами, но настаивать не стала. Потом выяснилось, что ходила сама.

Свадьба не принесла Сергею радости.

За столом оказалось так много незнакомых лиц, что он растерялся. Какие-то люди тянули к нему руки для пожатия, передавали Фене свертки с подарками, поздравляли, смеялись, пили... Не было ребят из комитета комсомола, не пришли Сережкины товарищи по сборочному цеху.

Единственным близким во всей этой огромной компании был Дубов. Он сидел недалеко от Сергея и весело ему подмигивал. Когда незнакомый мужчина с мясистым красным лицом, огромной лысиной и толстыми волосатыми руками поднял над головой полный вина стакан и хрипло прокричал: «За молодых, за их счастье!» — Дубов встал, потянулся рюмкой к Сергею.

— За счастье.

Сергей поднялся навстречу. Рюмки звякнули тоненько, жалобно, вино сплеснулось и залило скатерть. Сергей поймал беспокойный взгляд Фени, смутился и залпом осушил рюмку. И почему-то вдруг отчетливо увидел Аннушку. Весело сощурившись, она стояла на мягкой лесной дороге босиком, залитая солнцем, и красивое белое платье делало ее похожей на невесту. Она была далеко, в прошлом, но Сергея уже не покидало ощущение, что Аннушка где-то здесь, что она пришла на его шумную, пышную свадьбу и наблюдает за торжеством своими большими чистыми глазами.

Феня протянула через стол руку, взяла солонку и опрокинула ее на винные пятна.

— Чтобы следов не осталось,— озабоченно объяснила она.

Дубов жил в доме Грохотова почти неделю. Целыми днями он пропадал на заводах, в горкоме партии, на стройке нового крупного предприятия и приезжал домой только поздно вечером. Сергей неизменно встречал его легким укором:

— Опять допоздна... Ну, когда же я вас в мастерскую свожу?

— В воскресенье,— весело отвечал Дубов.— В воскресенье я — твой на все двадцать четыре часа.

Они пили вечерний чай, читали газеты, иногда смотрели телевизор, вспоминали общих знакомых и по первому требованию хозяйки расходились спать.

Дубов все время чувствовал, что Сергей с ним сдержан, что он словно откладывает большой откровенный

разговор. После бессонной ночи в день приезда они так ни о чем толком и не поговорили, и Дубову далеко не все было понятно в жизни Сергея, в его работе и в нем самом.

Он успел заметить, что жизнь в доме неинтересная. Он ловил себя на том, что не знал, о чем говорить с Феней, если случалось быть с нею в отсутствие Сергея. И если разговор все-таки происходил, то был он самым что ни на есть банальным: о погоде, о том, что в магазинах появились наконец фрукты, о преимуществах стиральной машины, о сварливых соседях.

Иногда он опрометчиво делал шаг в сторону — спрашивал о Сережкиной работе, затевал разговор о его картинах или пытался поделиться какими-то своими наблюдениями, мыслями о непростых, о сложных явлениях жизни. Делал этот опрометчивый шаг и... оступался. Фене становилось скучно, неинтересно. Она пыталась изобразить на лице улыбку и внимание, часто кивала головой, говорила: «Да-да... конечно... интересно... удивительно». А он видел ее пустые, равнодушные, без искорки любопытства, радости или грусти глаза и спешил выбраться на затоптанную, исхоженную, узкую тропинку бесполезных пустых слов, фраз, разговоров. Иногда он пытался заинтересовать ее воспоминаниями.

— Встретил сейчас в подъезде мужчину с покупками,— говорил Дубов.— Кудлатый такой, на Василия Пономарева похож. Феня, вы Василька из механического помните?..

— В нашем подъезде? — оживлялась Феня.— С покупками? Кто это может быть? Николай Трофимыч, а пальто на нем синее?

— Право, не заметил. Темное какое-то.

— А на котором этаже встретился?

— Кажется, на втором.

— Наверное, к Жуковым опять! — и она кричала так, чтобы было слышно на кухне: — Мама, у Жуковых праздник, что ли, какой? Или Галина Петровна нового знакомого завела?

Дубов порывался уйти в свою комнату, но Феня останавливала его.

— Скажите, Николай Трофимыч, а покупки какие были: мелкие или что-нибудь большое завернуто?

С Сергеем она тоже говорила в основном о соседях, деньгах, покупках.

Дубов заметил, что Феня заботилась о муже: в доме готовились кушанья, какие любил Сергей, галстуки его были тщательно проглажены, рубашки накрахмалены, носки аккуратно заштопаны.

И еще Дубов заметил, что в доме у Грохотовых не бывает друзей. Приходят по вечерам Фенины подруги с мужьями, усаживаются за большим столом в гостиной и допоздна играют в карты или лото. Сергей сидит тут же со скучающим видом; и если случится в этот момент прийти домой Дубову, обрадованно бросает карты, выскакивает из-за стола. А вот друзей, появлению которых Сергей бы искренне радовался, Дубов не видел.

Все, даже малейшие подробности жизни этой семьи, интересовало Дубова. Он не мог не сознаться себе, что слишком пристрастен. Может, находись Дубов в доме кого-нибудь другого, он очень многого и не заметил бы.

Наступило воскресенье. Еще лежа в постели, Дубов услышал, как Феня просила Сергея напилить дров для ванны. Он быстро встал, оделся и, выходя из комнаты, весело потер руки.

— Дай-ка, Сергей, и мне старую телогрейку.

Феня было воспротивилась этому, заявила, что Дубов — гость и его дело отдыхать. Но Сергей отрезал:

— Не гость, а свой человек. Пошли, Николай Трофимыч!

Работали они весело. Сергей острил и смеялся над своими остротами громче Дубова. Потом сбросил куртку, остался в свитере. Взял топор, вышел из дровяника расколоть чурки. А Дубов присел на козлы, закурил.

В тесной клетушке деревянного сарайчика было темно. Освещался только один угол, напротив раскрытой двери. Там, у самой стены, Дубов и заметил прикрытую запыленным холстом раму. Он откинул холст и замер в недоумении. На картине была изображена тоненькая белокурая девушка. Босиком, в легком белом платье. Она прислонилась к стволу молодой березки, гибкой и стройной, как она сама. Запрокинув голову, щурясь от солнца, девушка весело смотрела вдаль, словно ждала: вот-вот появится из этой далекой дали что-то очень для нее дорогое...

Тщательно были выписаны только лицо и фигура девушки. Березка, трава, солнечное весеннее небо —

все лишь намечалось мазками, тенями. Неоконченная картина уже местами потрескалась, кое-где потускнели, поблекли краски.

— Вот и готово,— бодро крикнул Сергей, входя в дровяник.— На ванну хватит. Теперь — про запас!

Он увидел раскрытую картину и смолк. Подошел. Забросил ее холстом. Поймал настойчивый, вопросительный взгляд Дубова и недовольно ответил:

— Недописал вот... тоже

— Почему в сарае? — изумился Дубов.

— Феня ее не любит, эту картину. Она и вынесла,— нахмурившись, пояснил Сергей.

После завтрака они съездили в мастерские, где Сергей показывал не столько свои работы — их было немного,— сколько работы других местных художников. Туда ему позвонили из театра и пригласили приехать посмотреть, как выполняются по его эскизам декорации к новому спектаклю.

— Очень хорошо! — обрадовался Дубов.— Едем...

Сергей замешкался.

— Да-да... только...

— Что еще?

— Только... Фене придется позвонить.

— Зачем? — изумился Дубов.— Не потеряет же она нас.

— Нет... Но она будет опять упрекать, что ее не позвали.

Сергей подошел к телефону, снял трубку. Потом посмотрел на Дубова и махнул рукой.

— Ладно! Не скажу, что в театр ездил.

В театре их уговаривали остаться, посмотреть дневной спектакль. Настроение у Дубова было воскресное, и он с удовольствием бы принял предложение. Но Сергей взглянул на часы и покачал головой.

— До начала — пятнадцать минут. Феня не успеет. А если без нее, скандал обеспечен.

Она встретила их настороженно. Спросила Сергея:

— Где был?

— В мастерских. Ты же знаешь.

— Из мастерских два часа как уехал. Я звонила.

Она стояла перед Сергеем и смотрела на него округ-

лившимися, холодными глазами. Дубова будто не замечала.

— Из мастерских уехал в театр,— стараясь сохранить спокойствие, пояснил Сергей.

Феня подняла редкие брови и раздраженно переспросила:

— В театр?

Сергей повесил пальто, добродушно ответил:

— Там декорации пишут по моим эскизам. Вот и пришлось поехать. Режиссер попросил...

— Мог бы позвать меня,— зло заметила Феня и тут только оглянулась на Дубова.— Николай Трофимыч! Что же вы не раздеваетесь? Проходите...

Они вошли в гостиную, и разговор о театре возобновился.

— Говоришь, приняли эскизы? Интересно...

И в глазах Фени мелькнул такой неподдельный интерес, что Дубов почувствовал угрызение совести. «Да, надо было за ней заехать,— подумал он,— или позвонить, чтоб в театр приходила».

Феня подошла ближе к Сергею, примирительно посмотрела на него и, не скрывая радости, сказала:

— Это замечательно, что приняли! В театре ведь много платят!..

Сергей сдвинул брови, пинком открыл дверь в свою комнату.

— Сережа! — крикнула Феня вдогонку.— Я записала там. Заказ на вешалки... Двести штук.

Сергей вернулся.

— Какие вешалки?

— Видочки овальные... Помнишь, однажды рисовал? Они потом в вешалки для полотенец вставляются. Артель «Краснодеревщик» заказывает. Сам директор звонил. Завтра материал привезут.

— Да ты... что? — Сергей резко шагнул к Фене, и Дубов увидел, какой злобой зажглись его глаза, как нервно заходили на щеках желваки.— Я же просил! — раздражаясь, выкрикнул Сергей и остановился. Сделал над собой усилие, закончил фразу почти спокойно: — Я же просил: что касается моей работы, никогда не вмешиваться, не решать за меня.

И совсем примирительно добавил:

— Позвони директору, извинись...

Феня, считая, по-видимому, что угроза миновала, властно и грубо перебила его:

— Но ведь там...

Она слегка покосилась на Дубова и недовольно отвернулась.

— Знаю! — опять теряя спокойный тон, взревел Сергей.— Там хорошо платят! Но мне надоели эти дурацкие ремесленные поделки! Слышишь?..

Он нервно прошелся из угла в угол просторной, увешанной коврами гостиной и, задыхаясь от злобы, повторил:

— На-до-ели! Слышишь? На-до-ели!..

Дубов не узнавал его искаженного, побагровевшего лица.

— Но я же... дала согласие! — повысила голос Феня.— Неудобно теперь...

— На-до-ели! — крикнул Сергей и яростно пнул постланный на полу ковер.— На-до-ели! — повторил он и затравленным волком оглянулся на Фенины вышивки, полочки, фотографии, развешанные по всем стенам. Потом остановился у окна, прислонил разгоряченный лоб к холодному стеклу.

Феня притихла и вышла из комнаты. Почувствовав, что ее нет, Сергей обернулся, смущенно и виновато взглянул на Дубова. Они оба молча вошли в комнату Сергея.

Сергей плотно прикрыл дверь. Сели на тахту. Закурили. Серьезно и выжидательно посмотрели друг другу в глаза. Сергей первым отвел взгляд. Стряхнул пепел, медленно произнес:

— Николай Трофимыч...

Дубов понял, что сейчас состоится разговор, для которого Сергей так долго ждал его, бывшего своего наставника. Очень ждал...

— Николай Трофимыч!

Он сжал руками виски, уперся локтями в колени и долго сидел молча, словно прислушиваясь к своим мыслям. В коридоре раздался звонок. Сергей вздрогнул.

Было слышно, как торопливо прошла к двери Феня, открыла и голосом, полным недоумения и скрытого неудовольствия, произнесла:

— Кажется... дома...

По-видимому, она тут же взяла себя в руки. Потому что в следующий же миг приветливо, нараспев сказала:

— Проходите!.. Проходите, пожалуйста! Раздевайтесь.

Этот седьмой день пребывания Дубова у Сергея все окончательно объяснил. Стали понятными и значительными все мелкие и немелкие события, спокойные и озабоченные разговоры, равнодушные и заинтересованные взгляды. Этот седьмой день оказался тяжелым, неприятным и, наверное, неизгладимым для Дубова.

... Николай Трофимыч снова лежит на широкой тахте, Сергей — на раскладушке. Свет погашен, но глаза обоих открыты. Сергей зажигает спичку и снова закуривает. Он беспрестанно курит. Дубов заметил это сразу, как только приехал. Да и сам-то он в эти дни, кажется, стал больше курить...

Что же произошло?

Пожалуй, ничего особенного.

Пришли Роговы, хорошие знакомые Сергея и Дубова еще по заводу.

Пришли потому, что узнали о приезде Николая Трофимовича.

Феня начала готовить угощение.

Сразу завязался непринужденный, интересный разговор. Аркадий Рогов, сохранивший за эти пятнадцать лет веселый характер и прежнее остроумие, говорил образно, метко, увлекательно. Вера — его жена — была под стать мужу. Обнаружилось такое неподдельное, тонкое понимание друг друга, при котором разговор на любую тему понятен и приятен каждому собеседнику.

Дубов заметил, как развеселился и потеплел Сергей. Забавно жестикулируя, он рассказывал о недавней встрече с известным западным художником, посетившим Урал, и при этом хорошо, открыто смеялся. Потом вскочил со стула, убежал к себе и вернулся с большой тетрадью в яркой многоцветной обложке. Тетрадь, подаренная Сергею художником, была заполнена рисунками.

— Этот мой новый знакомый — модернист! — с добродушной насмешкой пояснил Сергей.

Вера раскрыла тетрадь и неуверенно перевернула ее вверх ногами.

— Не понимаю...

— И я тоже! — отозвался Сергей.— А между прочим, это «Зимний пейзаж».

Другие «пейзажи» и «фантазии» были еще сложнее: в нелепых сочетаниях прямых и кривых линий, хитрых

сплетениях окружностей, квадратов, мазков, пятен невозможно было увидеть что-нибудь определенное.

Сергей заговорил о состоянии живописи на Западе, от живописи перешли к литературе.

Дубов слушал взволнованного Сергея, наблюдал, с какой добротой, уважением и лаской смотрит на него Аркадий, ловил восхищенный взгляд Веры и опять, как тогда, давно, испытывал чувство гордости за него — умного, увлеченного, интересного человека. Вера с чем-то не согласилась, и Сергей приволок стопу английских газет, нашел две статьи и в подтверждение своих мыслей довольно бойко прочел их.

— Ты... это... когда? — изумился Дубов.

— Так, между делом,— смутился Сергей.— Сначала уроки брал, а теперь иногда сам по словарям занимаюсь. Редко только.

Наконец пришла Феня. Поставила на стол последнее блюдо и села рядом с Сергеем. И у него мгновенно сошла с лица открытая улыбка, глаза поскучнели. Заметно поскучнели и Роговы и сам Дубов.

Феня расправила на лиловом платье розовое жабо, выпрямилась и тоном радушной хозяйки попросила:

— Кушайте, пожалуйста.

И с этого мгновения весь вечер Дубов чувствовал, как некстати здесь Феня, как лучше было бы, если бы она опять ушла в кухню или отправилась спать.

Разговор не клеился. Оказалось, Феня не понимала шуток, обижалась на них. Все стали неестественно вежливы, все старались быть с Феней внимательнее. И в этом старании было столько принужденности, столько обидной снисходительности...

Дубов заметил, что Феня ревнива и подозрительна. Она буквально сразила злым взглядом Сергея, когда тот выбрал для Веры самое красивое яблоко. Вера, одетая в легкую блузку, стала зябнуть, и Сергей, заметив это, принес для нее плед. Феня закусила губу.

Было скучно, и, чтобы хоть как-то развеселиться, включили проигрыватель, завели «танцевальные» пластинки. Аркадий подошел к Фене, а Сергей пригласил на танец Веру.

И пока они танцевали, Феня следила за Сергеем и Верой настороженным взглядом. После этого Сергей больше не подходил к Вере. Уныло и обреченно, утратив вдруг и легкость и хорошее настроение, он танцевал с женой. Словно отбывал наказание.

Дубов сидел в углу и с пристрастием рассматривал Феню. Теперь он находил, что она неприятная. Безвкусное лилово-розовое платье еще больше подчеркивало дефекты ее расплывшейся фигуры. На шее болталась какая-то золотая подвеска, жирное запястье стягивал браслет, на коротких пальцах играли кольца. Все эти украшения не украшали, а лишь кричали о достатке. Больше того: дорогие вещи выглядели на Фене дешевыми подделками. Волосы ее прежде казались ему тонкими, а теперь он заметил, что они редкие. Даже имя, ее собственное имя, теперь не подходило к ней. «Феня» должна быть доброй, мягкой, приветливой... А эта — злая, завистливая, недалекая...

Дубов был настолько пристрастен, что даже устыдился самого себя. Торопливо, настойчиво стал перебирать в памяти ее хорошие качества, убеждать себя, что они очень значительны.

Вот и сейчас Сергей в белоснежной рубашке. Подбородок подпирает хорошо накрахмаленный воротничок. Платок, которым он вытер лоб, свеж, возможно, даже надушен. Заливная рыба была приготовлена превосходно... Маринованные грибки... Все это, безусловно, очень приятно. Но что еще?.. Что?.. Он, Дубов, просто не знает всего... Ведь что-то, что-то их связывает!.. Ах, да!.. И Дубов опустил седую голову.

Дочка... Танюша...

Но двенадцатилетняя Танюша уже сейчас очень похожа на Феню. Это тоже не понравилось Дубову. Криклива, завистлива, подозрительна. Устроила Сергею скандал за то, что тот не одобрил Фенину мысль: купить девочке к дню рождения уже присмотренные в магазине позолоченные часики.

— У Гали Фроловой есть! — кричала она. И Феня вызывающе подтверждала:

— Да, есть!

— У всех есть! — канючила Танюша.

— У всех...— угрожающе повторяла Феня.

Феня сама занималась воспитанием Танюши и воспринимала любое вмешательство Сергея как посягательство на ее материнские права. А так как она не работала, то, естественно, была с дочерью больше времени, влияла на нее, передавала свой характер, привычки, наклонности.

И кончился вечер неприятно. Роговы стали собираться домой.

Дубов захотел проводить их, Сергей тоже присоединился.

Он подал Вере пальто и тотчас услышал дрожащий голос:

— На минутку... пойди сюда...

Он ушел следом за Феней в комнату. Вернулся нескоро, с жалкой виноватой улыбкой. Развел руками и смущенно пояснил:

— Феня... помочь просит... Вы уж меня... извините...

— Ничего, ничего... не провожайте,— спохватилась Вера.— Мы быстро доберемся. Еще трамваи ходят...

А Аркадий посмотрел на Сергея с грустью и сожалением.

— Ладно... доброй ночи.

...Сергей не спит. Снова зажигает спичку, снова прикуривает. О чем он думает?..

Дубов лежит не шевелясь, смотрит на лунный свет, смутно сочащийся сквозь папиросную бумагу окон.

Так прошел вечер... А что было днем? Босоногая светлая девушка на потрескавшемся запыленном холсте... Неоконченная картина.

Неоконченная картина, как несбывшаяся мечта. Светлая... Сережкина...

Дубову становится душно. Он расстегивает ворот рубашки, садится на постели. А Сергей молчит. Молчит и курит. Почему он молчит?

...В первый день искал акварель. Ту, что у директора. Сказать ему? Поговорить с Феней?.. Показывал другую картину. Портрет. Тоже неоконченный... Дубов видел потом на заводе этого начальника смены Федора Петровича Батова. Он такой, как на портрете Сергея. Впрочем, нет, не такой, Сергей сам говорил, будто чего-то не хватает, не получается. Чего же?

Дубов вспоминает добрые, внимательные глаза, умный лоб... Приветливое, открытое лицо... А еще?..

Федор Петрович заходил при нем в кабинет к директору. Защищал парня, которого за брак собирались уволить с завода. Доказывал, что технология этой операции устарела, что ее пора пересматривать. Возмущаясь, говорил:

— Парень зарабатывает гроши, вот и гонит количе-

ство, вот и выходит брак. А работник он стоящий. Помочь надо...

Директор стоял на своем: «Бракодел»... А Батов — на своем. И была в его лице кроме доброты и честности неодолимая твердость. Решительность... Вот! Вот чего не хватает в портрете!..

Дубов порывается к Сергею, сбивчиво, взволнованно говорит:

— Решительности!.. Слышишь, Сережа? Решительности не хватает!

Сергей продолжает курить и отвечает леденяще спокойным голосом:

— Знаю. Не хватает...

От его голоса и от такого ответа Дубову становится страшно. Он догадывается: Сергей не понял его, ответил своим мыслям.

А мысли ему не дают спать, выходит, те же, что и Дубову.

— Сережа,— с отцовской нежностью говорит Дубов и слышит, как ломается и дрожит его собственный голос.— Сережа?..

Сергей молчит, и Дубов больше, чем слов, боится этого молчания.

— Что будет дальше?

Не своим, совершенно чужим голосом Сергей с трудом отвечает:

— То же самое. Я не могу поступить нечестно.

— А жить вот так, с нелюбимым, с чужим человеком... Всю жизнь... честно?

Дубов подходит к Сергею, словно хочет в темноте увидеть его лицо.

— Скажи, честно?..

Он трясет Сергея за плечи и отпускает внезапно, будто чего-то испугавшись. Лоб покрывает испарина.

...Большой кабинет. Сережка сидит в кресле напротив и в отчаянии выкрикивает эти же самые слова.

Или нет! Это не Сережка. Это парторг Остапенко. И он вовсе не сидит в кресле, а нервно ходит по кабинету. «Погубишь ты парня своими авторитетными советами,— раздраженно говорит он.— И вообще в этой неприятной истории ты идешь на сделку с собственной совестью!»

Сердце колотится так громко и часто, словно хочет вырваться, хочет уйти от Дубова, оставить его одного

с его разумом, совестью, которые, кажется, никогда его не подводили.

«Не подводили? — мысленно спрашивает себя Дубов.— Никогда?»

Память лихорадочно подсказывает горькие и радостные события, называет имена, вызывает из прошлого давно забытые переживания. Память будто раскрывает перед Дубовым огромную книгу его собственной жизни, торопливо листает страницы, и на каждой из них — что-то очень значительное.

Фронт... Смерть сына... Гибель жены... Самоубийство попавшего в плен брата...

А рядом — горе чужих людей: однополчан, земляков, сослуживцев. Чужих по крови и очень родных сердцем.

Много горя. Но больше все-таки радости. И радость эта — отражение счастья тех, «чужих», которые очень близки сердцу.

Спасенные, выведенные из окружения двенадцать солдат, чуть было не погибшие от голода и отчаяния... Возвращенная к жизни семья Вагиных, оставшаяся после войны без отца и без дома... Ценнейшее изобретение безвольного и застенчивого Дорохова, чуть было не загубленное подлецом — начальником БРИЗа и бюрократами из главка...

А сколько мелких, будничных дел, светлых и нужных, сделавших десятки людей чуточку счастливее! Дубов никогда прежде не вспоминал, не думал об этом. Все было в порядке вещей, все казалось обыденным.

Да, совесть чиста, разум служил верно. Не было в жизни больших ошибок. Не было... Кроме — одной. Непоправимой!

Дубов задыхается.

Он снова закуривает, ходит по комнате и никак не может успокоиться. А Сергей не встает, чтобы помочь. Он, конечно, не знает, не догадывается, что ему плохо.

Не зажигая света, Дубов одевается, торопливо проходит через гостиную, на ощупь находит свое пальто, шляпу... Он не может больше оставаться в этом доме. Щелкает автоматический замок, за спиной Дубова надежно закрывается дверь.

На улице снег, ветер, тусклый холодный рассвет. Расстегнутое пальто путается в ногах, наспех надетая

шляпа спадает на самые брови. Дубов идет наугад, еще не решив куда: на завод, в гостиницу, на вокзал?..

Вспоминает осунувшееся, растерянное лицо Сергея, стоящего перед ним в большом директорском кабинете, слабую надежду в его доверчивом, обращенном к нему взгляде и отчаяние в глуховатом, перехваченном спазмой голосе: «...без любви и — на всю жизнь...» И так же отчетливо видит самого себя — брезгливо жесткого, уверенного в своей правоте, подавляющего авторитетом, возрастом, положением и ...доброжелательностью. Искренней. Ведь он, Сережка, все эти годы несчастлив, обжигает мозг беспощадная мысль.

Ветер сыплет в разгоряченное лицо мелким, острым снегом, шуршит сухими осенними листьями. Холод проникает под самое сердце. Да, да, я всегда был с ним искренним. И желал добра. Я... любил его! Дубов хочет оправдать, защитить себя — и не может. Потому что сейчас он уже не тот — непогрешимый, всесильный, присвоивший себе право распоряжаться чужой судьбой. Прожитая жизнь во многом его изменила. Он теперь не так самоуверен, знает в себе обидные слабости... И, сегодняшний, он готов предъявить себе, прежнему, большой счет за ту самую слепую доброжелательность и за непозволительное, запретное прикосновение к чужой судьбе.

Он зябко передергивает плечами, стягивает под горлом расстегнутый воротник, мысленно обрывает себя и жестоко поправляет: не прикосновение, нет. Вторжение! Волевое вторжение в чужую судьбу. Как мог? И вдруг обрушивается на Сергея. Раздраженно, обвиняюще. А как он смог? Столько лет. Без любви. И устыдился себя: бог мой, о чем это я? Но опять настойчиво: не встретил другой женщины? Умной. Светлой. Красивой. Под стать самому? А если встретил? Если настанет день, когда больше не сможет лгать — себе, другим?

Пальцы не слушаются — никак не могут застегнуть пуговицу на воротнике. В горле до боли сухо. А если уйдет? Из этого многокомнатного дома, где ковры, хрустальные люстры и кухонные комбайны, где обеды всегда вовремя и по воскресеньям гости? Бог мой, да при чем здесь ковры и гости? Он уйдет из дома, где до сих пор правит его судьбой тот, прежний Дубов. До сих пор! Сколько понадобилось лет, чтобы увидеть содеянное — со стороны. Впрочем, нет. Время тут ни при чем. Он всегда видел их — Сергея и Феню — с расстояния. Даже когда рядом жил и работал. Даже когда сидел за их

свадебным столом. И только сейчас... Очень близко увидел. Через увеличительное стекло своей совести...

Если... если уйдет? — цепко, неотвратимо стучит, бьется в его мозгу вопрос, требует немедленного ответа. И тот возникает словно бы сам собой, помимо сознания Дубова: пусть... пусть уйдет!

Пустынным улицам подмигивает ненужный в глубокой ночи светофор. Ветер не унимается. А ведь сбежал, признается себе Дубов и оглядывается назад. Малодушно, постыдно сбежал.

Он останавливается на перекрестке. Куда теперь?

СОДЕРЖАНИЕ

**Повести**

Петька Терехов едет на БАМ 4
Портрет на солнечной стороне 84
Первый шаг 107
О «трудной» девчонке и «Полонезе» Огиньского 125
Во вторник после двенадцати 149

**Рассказы**

Самая счастливая из нас 286
Неоконченная картина 301

Эльза Александровна Бадьева

**ДОПУСК НА МАГИСТРАЛЬ**

Редактор Н. И. Трубникова
Художник Е. В. Северухин
Художественный редактор О. И. Журавлева
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Е. И. Ерина, А. В. Маркин

ИБ № 1179

Сдано в набор 28.07.83 Подписано в печать 10.01.84. НС 12005. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 17,6. Усл. кр.-отт. 18,0. Уч.-изд. л. 18,1. Тираж 80 000. Заказ 471. Цена 80 коп.
Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

80 коп.

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1984


Эльза
Бадьева
ДОПУСК
НА МАГИСТРАЛЬ